

Дневник

Quod sentimus loquamur,
quod loquimur sentiamus!

VEcordia

Извлечение R-DARBI1

Открыто: 2008.03.16 01:35
Закрыто: 2008.12.20 01:35
Версия: 2017.04.15 18:00

ISBN 9984-9395-5-3
Дневник «VECORDIA»

© Valdis Egle, 2017

ISBN
Сборник. «Труды»

© разный



В.Лактионов.

Заставка к «Крейцеровой сонате»

Сборник

ТРУДЫ – I

С комментариями Валдиса Эгле

Impositum

Grīziņkalns 2017

Talis hominis fuit oratio,
qualis vita

Предисловие

В первую версию этого сборника я помещаю четыре логических единицы текстов, выуженных мною в Интернете в 2004 году (т.е. 3–4 года тому назад), у меня отредактированных и доведенных до «кондиции» по сравнению с низким их интернетовским качеством. Эти тексты разнообразны, и искал я их по разным причинам.

1) Первый текст – это отрывки из Уильяма Оккама: все, что можно было найти в Интернете в 2004 году. Поиск же его связан с {[TECE2.744](#)}: я часто ссылаюсь на «лезвие Оккама», но с оригинальными работами этого философа ознакомиться не смог, т.к. они отсутствуют в латвийских библиотеках.

2) Второй текст – это чудесная сказка Аксакова «Аленький цветочек»; это была, пожалуй, самая любимая и трогательная сказка моего детства, но тогда я ее знал в латышском переводе как «Sārtais ziediņš»; теперь же захотелось познакомиться с оригиналом.

3) Третий текст – это «сказка из новых времен» Эрнста Гофмана «Золотой горшок» (и заодно краткая биография автора). Ее появление здесь связано с «Мастером и Маргаритой» Булгакова: читая литературу о «Мастере», я постоянно наткнулся на утверждения, что прообразом его, мол, послужил Студент из «Золотого горшка». Поэтому мне захотелось самому ознакомиться с произведением, оказавшим, как утверждают, столь сильное влияние на «Мастера». (После ознакомления мне кажется, что эти утверждения «сильно преувеличены»: я не вижу глубокой связи между Мастером и Студентом – героями этих двух произведений).

4) Наконец, четвертый текст – это «Крейцера соната» Льва Толстого. Ее появление связано с утверждениями психоаналитиков, в частности, Нордау {[R-KLIMOV](#)}, о том, что это на Западе самое знаменитое произведение Толстого и якобы оно отражает гомосексуальные наклонности сперва героя этой повести, а далее – и самого Льва Толстого. (И здесь думаю, что «психоаналитики» «сильно преувеличили»; у Льва Толстого, конечно, имелись какие-то проблемы, но вряд ли психоаналитики их отгадали).

Таков первоначальный состав этого сборника: в дальнейших выпусках могут быть присоединены еще какие-нибудь другие тексты.¹

Валдис Эгле

16 марта 2008 года

¹ В декабре было присоединено «Мое прошлое» Акима Арутюнова.

1. Уильям Оккам. Отрывки

2004.09.01 17:21 среда

Оригинал здесь:

http://www.philosophy.nsc.ru/STUDY/BIBLIOTEC/History_of_Philosophy/OCCAM/OCCAM.htm

Уильям Оккам (ок. 1300–1349) – знаменитый английский схоластик, самый видный представитель так называемого позднего номинализма. До 1324 г. Оккам учился и преподавал в Оксфордском университете. Привлеченный к суду папской курии по обвинению в ереси, провел четыре года в заключении в Авиньоне. Бежав оттуда в Мюнхен к императору Людвигу Баварскому, ведшему борьбу с папой, написал здесь большинство своих произведений, в которых выступал против приоритета церкви над государством. Оккам считается ранним предшественником Реформации.

Приводимые нами отрывки характеризуют взгляды Оккама на виды знания, универсалии, термины, его трактовку вопроса о познаваемости бога. Все эти отрывки переведены с латинского по тематической подборке, осуществленной видным специалистом по истории средневековой философии Ф. Бенером (Ockam. Philosophical Writings. A Selection Edited and Translated by Philotheus Boehner. New York, 1957) и взяты из следующих произведений Оккама: «Распорядок» (Ordinatio), «Избранное» (Quodlibeta), «Свод всей логики» (Summa totius logicae), «Об истолковании» (Perihermenias). Отрывки приведены на стр. 22–25, 27–28, 32–33, 34, 36–37, 40–43, 45, 47–51, 97–100 издания Бенера.

В своем предисловии к этому изданию Бенер, в частности, указывает, что смысл знаменитой «бритвы Оккама» выявляется из его различных работ. Чаще всего она дана в такой формулировке: «Без необходимости не следует утверждать многое» (Pluralitas non est ponenda sine necessitate). Реже она выражена в словах: «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» (frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora). Обычно приводимая историками формулировка «сущностей не следует умножать без необходимости» (Entia non sunt multiplicanda sine necessitate) в произведениях Оккама не встречается.

На русском языке тексты Оккама публикуются впервые. Перевод С.М. Раскиной.

[Виды знания]

Итак, я утверждаю, что могут быть два вида знания несоставного (incomplexi)²: знание абстрагированное и знание интуитивное (notitia abstractiva et notitia intuitiva). Мне безразлично, все ли согласны называть несоставное знание интуитивным, ибо я хочу главным образом доказать лишь то, что разум может обладать двумя видами несоставного знания одной и той же вещи.

Следует, однако, знать, что и абстрагированное знание можно понимать двояко: в одном смысле это знание чего-то абстрагированного от множества единичных вещей, и тогда абстрагированное знание есть не что иное, как знание чего-то общего, что можно абстрагировать от множества вещей. Об этом будем говорить позже. Если же общее есть истинное качество, существующее в душе как ее субъект (subjective), что можно считать вероятным, то придется согласиться, что постигнуть общее можно интуитивно и что если таким образом понимать абстрагированное знание, то одно и то же знание будет в одно и то же время интуитивным и абстрагированным. В этом смысле абстрагированное знание и интуитивное знание не будут противоположны друг другу.

² Несоставное знание – Оккам имеет, по всей вероятности, в виду знание отдельных терминов, отдельных понятий, взятых вне суждений, вне предложений.

В ином смысле абстрагированное знание понимают как знание, абстрагированное от существования или несуществования и от других признаков, которые случайно принадлежат вещи или сказываются о ней. Это не [означает], что то, чего нельзя постигнуть посредством абстрагированного знания, можно постигнуть посредством интуитивного знания. Скорее одно и то же можно целиком постигнуть в одном и том же смысле посредством обоих видов знания.

Но различаются они следующим образом: интуитивное знание вещи есть такое знание, благодаря которому можно знать, существует вещь или нет, так что, если вещь существует, разум немедленно решает, что она существует, и с очевидностью постигает, что она существует, если ему случайно не помешает несовершенство этого знания. И точно так же если бы было такое совершенное, сохраненное божественным могуществом знание о вещи несуществующей, то благодаря несоставному интуитивному знанию разум с очевидностью постиг бы, что эта вещь не существует.

Далее, интуитивное знание таково, что когда мы постигаем несколько вещей, из которых одна связана с другой, или одна удалена от другой, или находится в каком-либо ином отношении с другой, то мы благодаря этому несоставному знанию этих вещей немедленно узнаем, связана ли [одна] вещь [с другой] или не связана, удалена ли она [от нее] или не удалена, и узнаем о других случайных истинах, если только это знание не слишком слабое и если нет других препятствий. Так, если Сократ поистине белый, то знание о Сократе и белизне, благодаря которому можно с очевидностью постигнуть, что Сократ белый, будет называться интуитивным знанием. И вообще всякое несоставное знание термина или терминов либо вещи или вещей, благодаря которому можно с очевидностью постигнуть некую случайную истину, особенно о наличной вещи, есть знание интуитивное.

Абстрагированное же знание – это знание, посредством которого нельзя с очевидностью знать, существует ли нечто случайное или нет. Тем самым абстрагированное знание абстрагируется от существования или несуществования, ибо посредством этого знания в противоположность интуитивному знанию нельзя знать, существует ли то, что существует, или не существует то, чего нет. Подобным же образом нельзя посредством абстрагированного знания с очевидностью постигнуть случайную истину, особенно о наличной [вещи]. Это ясно из того, что когда знают Сократа и его белизну в его отсутствие, то посредством этого несоставного знания нельзя знать, существует Сократ или нет, белый он или нет, далеко ли отстоит от данного места или нет, и точно так же [нельзя знать] другие случайные истины. И тем не менее мы уверены, что эти истины могут быть с очевидностью постигнуты. И всякое составное знание терминов или вещей, обозначаемых этими терминами, в конце концов сводится к несоставному знанию терминов. Поэтому термины эти или вещи можно постигнуть посредством иного знания, чем то, посредством которого нельзя постигнуть такие случайные истины. И этим иным знанием будет интуитивное знание. С него и начинается основанное на опыте знание; ибо тот, кто на опыте может познать случайную истину и через ее посредство – истину необходимую, всегда имеет несоставное знание термина или вещи, которого не имеет тот, у кого нет этого опыта. Вот почему в соответствии с первой книгой «Метафизики» и со второй книгой «Второй Аналитики» Философа, подобно тому как знание о чувственных вещах, приобретаемое опытом, начинается с ощущения, то есть с чувственного интуитивного знания чувственных вещей, так и научное знание чисто умопостигаемых вещей, приобретаемое опытом, всегда начинается с интуитивного разумного знания этих умопостигаемых вещей.

Однако необходимо указать, что иногда из-за несовершенства интуитивного знания (ибо оно весьма несовершенно и смутно либо из-за препятствий со стороны объекта, либо из-за других препятствий) бывает, что относительно вещи, постигнутой таким образом интуитивно, нельзя постигнуть никакие случайные истины или можно постигнуть [лишь] немногие такие истины.

Возможно ли интуитивное знание несуществующего объекта?

Невозможно. Ибо противоречиво, чтобы было видение и ничего не было видно; следовательно, противоречиво, чтобы видение было, а видимого объекта не было.

Против: видение – абсолютное качество, отделенное от объекта, и поэтому без всякого противоречия может происходить без объекта.

[Первичность познания единичных вещей]

Первично ли (primitate generationis) постижение разумом, единичного?

Нет: общее – вот первый и собственный объект разума, и поэтому первично постигается общее.

Против: вообще и чувство, и разум имеют один и тот же объект, но если речь идет о первичности, то единичное – первый объект чувства; следовательно, и т.д.

Теперь необходимо прежде всего выяснить смысл вопроса, а затем ответить на него.

Относительно первого [положения] следует, [во-первых], знать, что под «единичным» понимается здесь не все то, что имеется в единственном числе, ибо в этом смысле любая вещь единична, а лишь то, что имеется в единственном числе и не есть естественный или установленный по воле [человека] или по [его] желанию знак, общий для многих [вещей]. Таким образом, ни написанное слово, ни понятие (conceptus), ни произнесенное слово, обозначающее [что-то], не единичны. Единично только то, что не есть общий знак.

Следует, во-вторых, знать, что этот вопрос касается не всякого познания единичного, ибо любое постижение общего есть в этом смысле знание единичного, ведь, только постигая общее, можно познать единичное и единичные вещи; данный же вопрос касается собственного и простого знания единичного.

Относительно второго [положения]: предположим, что вопрос касается собственного знания единичного, тогда я скажу: во-первых, единичное, взятое в указанном выше смысле, есть то, что познается в первую очередь посредством простого знания, относящегося к единичному.

Это доказывается так: посредством такого знания познается в первую очередь вещь, которая находится вне [человеческой] души и не есть знак. Но всякая вещь, которая находится вне [человеческой] души, единична; следовательно, и т.д.

Кроме того, объект предшествует собственному и первичному акту [познания], но такому акту предшествует не что иное, как единичное; следовательно, и т.д.

Во-вторых, я утверждаю, что простое знание, относящееся к единичному и первичное, есть знание интуитивное. То, что это познание первично, ясно, ибо абстрагированное знание единичного предполагает интуитивное знание того же объекта, а не наоборот. А то, что оно относится к единичному, [также] ясно, ибо оно непосредственно и необходимо (nata) вызвано [данной] единичной вещью, а не другой, хотя бы одного и того же вида; следовательно, и т.д.

Об универсалиях

Во-первых, следует рассмотреть термины вторичной интенции (termini secundae intentionis); во-вторых, термины первичной интенции (intentionis primae). Следует сказать, что термины вторичной интенции – это «универсалия», «род», «вид» и т.д. Поэтому необходимо сказать о том, что считается пятью универсалиями. Но прежде мы должны хоть немного сказать о той общей (communī) универсалии, которая сказывается о всякой универсалии, и о противоположном ей единичном.

Прежде всего необходимо знать, что «единичное» можно понимать двояко. В одном смысле «единичное» обозначает все то, что есть одно, а не многое. Тогда те, кто считает универсалию неким свойством ума, которое может сказываться о многих вещах (представляя не себя, а эти многие вещи), должны признать, что любая универсалия поистине и на деле есть единичное, ибо, подобно тому как всякое слово, каким бы общепринятым оно ни было, поистине и на деле единично и одно по числу, ибо оно одно, а не многое, так и интенция души, обозначающая множество внешних вещей, поистине и на деле единична и одна по числу, ибо она одно, а не многое, хотя и обозначает многие вещи.

В другом смысле под именем «единичное» понимается то, что одно, а не многое и по своей природе не таково, чтобы быть знаком многих вещей. И если понимать «единичное» так, то никакая универсалия не есть единичное, ибо любая универсалия по своей природе такова, что служит знаком многих вещей и сказывается о многих вещах. Поэтому, называя универсалией то, что по числу не одно – именно такой смысл многие приписывают универсалии, – я утверждаю, что [в таком случае] ничто не есть универсалия, если только ты не употребишь это название не в собственном смысле, сказав, что народ – это некая универсалия, ибо народ не одно, а многое; но это было бы несерьезно.

Следовательно, мы должны сказать, что любая универсалия есть некая единичная вещь и универсалия она только благодаря тому, что она есть обозначение, поскольку она знак многих вещей...

Необходимо, однако, знать, что универсалии бывают двух видов: универсалия по природе, то есть естественный знак, который может сказываться о многих вещах, подобно тому как дым, естественно, указывает на огонь, стон – на страдания больного, смех – на внутреннюю радость; и такая универсалия есть лишь интенция души, и потому никакая субстанция вне души и ни одна акциденция вне души не есть такая универсалия. Об универсалии этого вида мы поговорим в последующих главах. Другой вид – это универсалия по установлению (*voluntaria institutione*). В этом смысле и произнесенное слово, которое поистине есть некое качество, представляет собой универсалию, ибо оно знак, установленный для обозначения множества вещей. Поэтому, так же как говорят, что произнесенное слово общеупотребительно, так и можно сказать, что оно универсалия, но не по природе, а только по установлению...

Универсалия не есть нечто внешнее

Из этого и многих других [мест] явствует, что универсалия – это интенция души, которая по природе такова, что сказывается о многих [вещах]. Это можно подтвердить и следующим соображением. А именно, по общему мнению, всякая универсалия может сказываться о многих [вещах]; только интенция души или установленный знак по своей природе сказуемые, но не таковы субстанции; следовательно, лишь интенция души или установленный знак есть универсалия. Но теперь я [термин] «универсалия» применяю не к установленному знаку, а лишь к тому, что есть универсалия по природе. А то, что субстанция по своей природе не такова, чтобы быть сказуемым, ясно из следующего: если бы это было так, то следовало бы, что суждение составлено из отдельных субстанций и, стало быть, субъект мог бы быть в Риме, а предикат – в Англии, а это нелепо.

Равным образом суждение имеется только в уме или в произнесенных или написанных словах; следовательно, и части его также бывают лишь в уме или в произнесенных или написанных словах; но такого рода вещи не отдельные субстанции; значит, ясно, что никакое суждение не может быть составлено из субстанций; суждение составляется из универсалий. Следовательно, универсалии никоим образом не субстанции.

Мнение Скота об универсалиях и его опровержение

Хотя для многих очевидно, что универсалия не есть какая-нибудь субстанция, существующая вне души в отдельных [вещах] и реально отделенная от них, однако некоторые считают, что универсалия каким-то образом существует вне души в отдельных [вещах] и отделена от них, правда не реально, а формально. Исходя из этого, они говорят, что в Сократе есть человеческая природа, которая сочетается (*contrahitur*) в Сократе с его индивидуальной особенностью, отделенной от этой природы не реально, а формально. Отсюда следует, что это не две вещи, хотя формально одна не есть другая. Но это мнение вообще кажется мне недоказуемым... Мы должны сказать вместе с Философом, что в отдельной субстанции нет ничего субстанциального, кроме отдельной формы и отдельной материи или чего-то составленного из той и другой. Поэтому не следует представлять себе, что в Сократе есть человечность или человеческая природа, каким-то образом отделенная от Сократа, к которому присовокуплена индивидуальная особенность, сочетающаяся с этой природой. Но нечто представляемое и субстанциальное, которое существует в Сократе, есть либо отдельная материя, либо отдельная форма, либо нечто составленное из той и другой. И поэтому всякая сущность и чтойность (*quidditas*) и все относящееся к субстанции, если все это существует реально вне души, есть либо исключительно и безусловно материя, или форма, или составленное из того и другого, либо это отвлеченная нематериальная субстанция, согласно учению перипатетиков.

[Универсалия – это мысленный предмет]

Об этом можно сказать иначе. Я утверждаю, что универсалия не есть нечто реальное, имеющее в душе или вне ее субъектное бытие (*esse subjectivum*), а имеет в ней лишь объектное

бытие (*esse objectivum*)³ и есть некий [мысленный] образ (*fictum*), существующий в объектном бытии, так же как внешняя вещь – в субъектном бытии. Поясню это следующим образом: разум, видящий некую вещь вне души, создает в уме подобный ей образ так, что если бы он в такой же степени обладал способностью производить, в какой он обладает способностью создавать образы, то он произвел бы внешнюю вещь в субъектном бытии, лишь численно отличающуюся от предыдущей. Дело обстоит совершенно так же, как бывает с мастером. В самом деле, так же как мастер, видя дом или какое-нибудь строение вне [души], создает в свой душе образ подобного ему дома, а затем строит подобный ему дом вовне, который лишь численно отличается от предыдущего, так и в нашем случае образ, созданный в уме на основании того, что мы видели внешнюю вещь, есть образец, ибо, так же как образ дома (если тот, кто создает этот образ, имеет реальную способность производить) есть для самого мастера образец, так и тот образ есть образец для того, кто создает его. И сей [образ] можно назвать универсалией, ибо он образец и одинаково относится ко всем единичным внешним вещам и ввиду этого сходства в объектном бытии может замещать вещи, которые обладают сходным бытием вне разума. Таким образом, в этом смысле универсалия такова не первично, а получается через абстрагирование, которое есть не что иное, как некий вид создания образов...

Прежде всего необходимо показать, что в душе есть нечто имеющее лишь объектное бытие без бытия субъектного. Это ясно из следующего: во-первых, сущее, по учению философов, первично делится на сущее в душе и сущее вне души, а сущее вне души делится на десять категорий. В таком случае я спрашиваю: как понимать «сущее в душе»? Или как то, что имеет лишь объектное бытие, и тогда имеем предположенное, или как то, что имеет субъектное бытие, а это невозможно. Ибо то, что имеет истинное субъектное бытие в душе, относится к сущему, которое точно делится на десять категорий, так как относится к качеству. Ведь постижение разумом (*intellectio*) и всякая акциденция вообще, наполняющая душу, есть истинное качество, как жар или белизна, и потому не относится к разряду, который противостоит сущему, делящемуся на десять категорий. Далее. [Мысленные] образы имеют бытие в душе, но не субъектное, ибо в этом случае они были бы истинными вещами, и тогда химеры, козлоолени и подобные вещи были бы истинными вещами; следовательно, есть некоторые вещи, имеющие лишь объектное бытие.

Так же: суждения, силлогизмы и тому подобное, о чем трактует логика, не имеют субъектного бытия; следовательно, они имеют лишь объектное бытие, так что их бытие состоит в познании их; стало быть, есть такое сущее, которое имеет лишь объектное бытие.

Так же: все созданное рукой мастера не имеет, по-видимому, субъектного бытия в его уме, подобно тому, как до [акта] творения сотворенное не существует в божественном уме...

Так же: почти все отличают вторичные интенции от первичных, не называя вторичные интенции реальными качествами в душе, следовательно, так как они не [существуют] реально вне [души], то могут существовать в душе лишь как объекты (*objective*).

Во-вторых, я утверждаю, что этот [мысленный] образ есть то, что первично и непосредственно называют интенцией всеобщности (*intentio universalitatis*); он имеет смысл объекта и непосредственно завершает акт постижения, при котором не постигается единичное, ибо он существует в объектном бытии, как единичное в субъектном, поэтому он по своей природе может замещать единичные [вещи], с которыми он имеет какое-то сходство...

Итак, я говорю, что, подобно тому как слово есть универсалия, род и вид, но только по установлению, так и понятие, таким образом помысленное и отвлеченное от ранее познанных единичных вещей, есть по своей природе универсалия...

[О терминах]

Все, кто занимается логикой, пытаются внушить, что доказательства состояются из суждений, а суждения – из терминов. Отсюда следует, что термин не что иное, как связываемая часть (*pars propinqua*) суждения. Определяя, что такое термин, Аристотель пишет в первой книге «Первой аналитики»: «Термином я называю то, на что разлагается суждение, то, что приписывается, и то, чему приписывается, [независимо от того], присоединяется или отнимается то, что выражается посредством [глаголов] быть и не быть».

³ Субъектное бытие – бытие чего-то в качестве субъекта, подлежащего, существующего в реальной действительности. Объектное бытие – бытие чего-то как предмета мысли, имеющего бытие лишь в уме.

Но хотя любой термин есть или может быть частью суждения, не все термины имеют одну и ту же природу, и поэтому для того, чтобы иметь совершенное знание терминов, необходимо предварительно выяснить некоторые отличия между ними. Следует знать, что Боэций в первой книге «Об истолковании»⁴ утверждает, что речь может быть троякого рода: написанная, произнесенная и мысленная, то есть имеющая бытие только в уме. Подобно этому и термины бывают троякого рода: написанные, произнесенные и мысленные. Написанный термин есть часть суждения, написанного на чем-нибудь, его можно видеть телесными глазами. Произнесенный термин есть часть произнесенного устами суждения и по своей природе таков, что его можно услышать телесными ушами. Мысленный термин есть интенция или впечатление (*passio*) души, естественным образом обозначающее что-то или причастное к обозначению; по своей природе оно таково, что составляет часть мысленного суждения и замещает то, что оно обозначает. Вот почему эти мысленные термины и составленные из них суждения суть содержащиеся в уме слова (*verba*), о которых блаженный Августин в пятнадцатой книге «О Троице» сказал, что они не принадлежат ни к одному языку, они лишь пребывают в уме и не могут быть выражены внешне, хотя слова (*voces*), представляя собой как бы подчиненные этим понятиям знаки, внешне произносятся.

Я утверждаю, что слова суть знаки, подчиненные понятиям или интенциям души, не потому, что если слово «знак» взять в собственном смысле, то сами слова обозначают понятия души в первую очередь и в собственном смысле, а потому, что слова предназначены для того, чтобы обозначать то же самое, что обозначают понятия ума. Так что сначала по природе понятие обозначает что-то, а затем слово обозначает то же самое, поскольку слово по установлению обозначает то, что обозначено понятием ума. И если это понятие изменит свое значение, то тем самым и слово без всякого нового соглашения изменит свое значение.

По этому поводу Философ говорит, что произнесенные слова суть знаки впечатлений души. То же имел в виду и Боэций, когда говорил, что слова обозначают понятия.

И вообще все авторы, утверждающие, что все слова обозначают впечатления души или суть их знаки, имеют в виду лишь то, что слова – это знаки, вторично обозначающие то, что первоначально выражено впечатлениями души, хотя некоторые слова первоначально выражают впечатления души или понятия, которые, однако, вторично выражают иные интенции души, как мы покажем ниже.

И все, что было сказано о словах в отношении впечатлений, или интенций, или понятий, можно по аналогии сказать о написанных словах в отношении произнесенных. Однако между этими [тремя] видами терминов можно обнаружить и некоторые различия. Одно различие: то, что понятие или впечатление души обозначает, оно обозначает по природе, а термин, произнесенный или написанный, обозначает нечто лишь по установлению. Из этого вытекает и другое различие, а именно произнесенный или написанный термин может по желанию изменять свое значение, мысленный же термин не изменяет своего значения ни по чьему желанию.

Для того чтобы избежать превратного толкования, следует знать, что [слово] «знак» понимают двояко: в одном смысле как то, что, будучи схвачено, дает нам познание чего-то иного, хотя и не приводит к тому, чтобы в уме возникло нечто впервые, как мы уже показали в другом месте, а дает нам действительное познание того, что мы уже знаем на основании *habitus*. Таким образом, по своей природе слово обозначает нечто, подобно тому как всякое действие указывает по крайней мере на свою причину, например бочка указывает на то, что в таверне есть вино. Но в таком общем значении я здесь не говорю о «знаке». В другом смысле [слово] «знак» понимают как то, что дает нам познание чего-то и по своей природе таково, что замещает его или добавляется в суждении к тому, что может замещать что-то; таковы синкатегоремы⁵, глаголы и те части речи, которые не имеют определенного значения. Или знак по своей природе таков, что может быть составлен из таких [частей речи]; такого рода [знак] – предложение. И если так понимать имя «знак», то слово не есть естественный знак чего бы то ни было.

⁴ Имеется в виду комментарий римского неоплатоника Боэция (480–525) к сочинению Аристотеля «Об истолковании».

⁵ Синкатегоремы – части речи, не имеющие самостоятельного значения и приобретающие значение только в предложении, например «всякий», «есть», «нет», «или», «и», «если» и т.д.

[О термине в строгом смысле слова]

Следует знать, что имя «термин» понимают трояко. Во-первых, термином называют все то, что может быть связкой (copula) или крайним членом категорического суждения, а именно субъектом или предикатом, или определением крайнего члена или глагола. В этом смысле термином может быть даже суждение, как и часть его. Ведь правильно сказать: ««Человек – живое существо» есть правильное суждение», в котором все суждение «человек – живое существо» есть субъект, а «правильное суждение» – предикат.

В другом смысле это имя «термин» можно понимать как то, что противоположно предложению. В этом случае все несоставное называют термином, и о термине в таком смысле я говорил уже в предыдущей главе.

В-третьих, под термином в прямом смысле слова понимают то, что, взятое для обозначения, может быть субъектом или предикатом суждения. И в этом смысле ни глагол, ни союз, ни наречие, ни предлог, ни междометие не есть термин. Ведь многие имена, а именно синкатегоремы, не термины, ибо они, хотя и могут быть крайними членами суждения, если их брать материально или непосредственно (*materialiter vel simpliciter*)⁶, однако если их брать как обозначения (*significative*), то не могут быть таковыми. Поэтому предложение: ««Читает» – это глагол» – вполне подходяще и правильно, если глагол «читает» берут материально; если же его взять как обозначение, то предложение это будет непонятным. Точно так же и относительно таких предложений: ««Все» – это имя», ««Некогда» – это наречие», ««Если» – это союз», ««От» – это предлог». Именно так Философ понимает «термин», когда определяет его в первой книге «Первой аналитики».

Однако термином в этом смысле может быть не только несоставное, но и сложное из двух несоставных [частей], то есть из прилагательного и существительного, из причастия и наречия или из предлога с падежом, которого он требует, подобно тому как оно может быть субъектом или предикатом суждения. В самом деле, в суждении «белый человек есть человек» ни «человек», ни «белый» [в отдельности] не субъект, а субъект – выражение в целом: «Белый человек». Точно так же [в суждении] «быстро бегущий есть человек», ни «бегущий», ни «быстро» не субъект, а субъект – выражение в целом: «Быстро бегущий».

Следует знать, что термином может быть не только слово в именительном падеже, но и в косвенном падеже, так как оно может быть и субъектом, и предикатом суждения. Однако слово в косвенном падеже не может быть субъектом по отношению к любому глаголу. Ибо неправильно сказать: «Человеку видит осел», но будет правильно сказать: «Человеку принадлежит осел». Каким образом и по отношению к каким глаголам можно ставить субъект в косвенном падеже, а по отношению к каким нельзя, это вопрос грамматики, которой надлежит рассматривать соединения слов.

[О познаваемости Бога]

Можно ли одну и ту же по виду или числу теологическую истину доказать в теологии и в естественном знании (*scientia naturalis*)?

Нет: ибо один и тот же по виду вывод невозможно знать на основании двух родов знания...

Против: философия не помогала бы теологии, если бы одна и та же истина не могла бы быть доказана и в естественном знании, и в теологии.

Прежде всего определяю, что такое знание, а затем отвечаю на вопрос.

Относительно первого скажу, что естественное знание понимают двояко: в одном смысле как естественный или теологический *habitus* одного лишь вывода, в другом смысле как совокупность всех *habitus*, имеющих определенный порядок в отношении одного вывода независимо от того, относятся ли эти *habitus* к несоставному или составному.

Что касается второго, то, если предположить, что только та истина будет теологической, которая необходима для спасения [души], я утверждаю, что один и тот же вывод, принадлежащий к виду теологических, нельзя доказать в теологии и в естественном знании, понимаемом в первом смысле. Это объясняется тем, что, сколько имеется различных видов

⁶ Т.е. в качестве слова, как такового (безотносительно к содержанию), состоящего из букв. Например, в предложении ««Человек» состоит из семи букв» слово «человек» не есть обозначение живого существа.

знания, столько и известных выводов. Поэтому, подобно тому как один вывод не может принадлежать к различным видам знания, ибо **без необходимости не следует утверждать многое**,⁷ так один и тот же вывод нельзя доказать в различных видах знания. Но если теологию и естественное знание понимать во втором смысле, то один вывод не только по виду, но даже и по числу можно доказать в теологии и в естественном знании, если они существуют в одном и том же разуме, например, такие [выводы]: «Бог мудр», «Бог добр».

Я это доказываю, так как это не менее подходяще, чем то, что один и тот же по виду и числу вывод доказывается *propter quid* и *quia*. Последнее возможно, во-первых, потому, что одно и то же по виду и числу действие может быть порождено причинами, принадлежащими к разным видам, и, следовательно, хотя средние [термины] и могут иметь разные смыслы, вывод может иметь один и тот же смысл; во-вторых, потому, что суждение в уме: «Ничто сущее не бесконечно», прямо противоречит суждению: «Нечто бесконечно», которое доказывается как в теологии, так и в естественном знании и, следовательно, имеет один и тот же смысл в них обоих.

Но против этого: под именем «бог» теолог понимает бесконечное существо, превосходящее бесконечное множество различных видов вещей; если они существуют одновременно, то оно превосходит всех их, взятых не только в отдельности, но и вместе. Если согласиться с таким пониманием бога, то его бытие не будет очевидно на основании явлений природы (*naturaliter*); следовательно, если понимать бога так, то относительно него ничего нельзя доказать с очевидностью и на основании явлений природы. Вывод отсюда ясен. Предшествующее доказывается так: то, что нечто бесконечно, очевидно на основании явлений природы, только если исходить из движения и причинных связей. Но таким образом доказывается лишь то, что существует такое бесконечное, которое лучше любого бесконечного множества вещей, взятых в отдельности, а не то, что оно лучше всех их, вместе взятых; следовательно, и т.д.

Далее, средний термин, посредством которого [теолог и философ] доказывают этот вывод, имеет один и тот же или разный смысл. Если признать первое, то вывод и термины имели бы точно один и тот же смысл и в таком случае их нельзя было бы доказать в разных видах знания. Если признать второе, то собственным средним термином особого вывода будет некоторая дефиниция или определение, даваемое посредством предикабилей, отвечающих на вопрос: что это? (*per praedicabilia in quid*). Такое определение имеет разный смысл в различных видах знания, и, следовательно, простое постижение, порожденное этим описанием, будет иметь разный смысл; поэтому вывод, простое постижение которого составляет субъект, будет иметь разный смысл.

На первое из этих [возражений] я отвечаю, что если вывод, имеющий один и тот же смысл, доказать в разных видах знания, то верующий теолог и языческий философ не противоречили бы себе относительно суждения: «Бог троичен и един», ибо высказанные суждения, будучи подчиненными знаками, не противоречат друг другу, если только не противоречивы суждения, производимые в уме. Однако производимые в уме утвердительное и отрицательное суждения первоначально не противоречат друг другу, если только они не составлены из понятий, имеющих один и тот же смысл, хотя иногда противоречие может возникнуть из суждений, составленных из понятий, имеющих разный смысл. Ведь иначе, если бы это было неверно, противоречие могло бы возникнуть в двусмысленных терминах, например: «Каждый пес бежит» и «Некий пес не бежит». Здесь понятия имеют разный смысл: в одном случае имеется в виду лающее животное, а в другом – созвездие, что, несомненно, ложно, ибо противоречие есть противопоставление вещи и имени, не только высказанного, но и содержащегося лишь в уме. Итак, я утверждаю, что некоторые выводы, имеющие один и тот же смысл, можно доказать в разных видах знания, а некоторые нельзя. И это частное суждение, а не общее я считаю истинным.

Что касается доказательства, то я утверждаю, что, так же как вывод, в котором «быть троичным и единым» сказывается о любом понятии бога, можно доказать не в разных видах знания, а только в теологии, основанной на вере, так и вывод, в котором субъект составляет понятие бога или «бог», определяемый как нечто лучшее, чем все отличное от него (какой бы предикат ему ни приписывался), можно доказать не в различных видах знания, а только в теологии. Поэтому такие выводы, как «бог благ», «бог мудр» и т.д., если понимать бога в указанном выше смысле, нельзя доказать в различных видах знания. Дело в том, что при таком понимании бога не очевидно на основании явлений природы, что бог есть, о чем приводится доказательство; это показано в первой книге «*Quodlibeta*». И следовательно, при таком понимании бога не очевидно на основании явлений природы, что бог благ. Но из этого не

⁷ Мой болд – В.Э.

следует, что не может быть иного вывода, в котором «благой» и «мудрый» приписываются понятию бога, если мы под богом понимаем нечто такое, совершеннее и первичнее чего нет ничего. Ибо при таком понимании можно показать бытие бога, иначе мы должны были бы идти до бесконечности, если среди сущего не было бы чего-то такого, совершеннее чего нет ничего. Можно доказать и вывод, в котором «благой» приписывается первой причине или любому другому понятию, до которого философ мог бы прийти, исходя из явлений природы. И вывод этот можно обосновать и в теологии, и в естественном знании.

Last-modified: Tue, 22 May 2001 13:23:54 GMT

2. Сергей Аксаков. «Аленький цветочек»

Сказка ключницы Пелагеи

Сказку «Аленький цветочек» записал известный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859). Он услышал ее в детстве во время своей болезни. Писатель так рассказывает об этом в повести «Детские годы Багрова-внука»:

«Скорому выздоровлению моему мешала бессонница... По совету тетушки, позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать... Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная... села у печки и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве...»

Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного?

На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровления, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея Горыныча»».

В последние годы жизни, работая над книгой «Детские годы Багрова-внука», Сергей Тимофеевич вспомнил ключницу Пелагею, ее замечательную сказку «Аленький цветочек» и записал ее по памяти. Впервые она была напечатана в 1858 году и с тех пор стала у нас любимой сказкой.

Аленький цветочек

В некиим⁸ царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек.

Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны⁹ и было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны – по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.

Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям:

«Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу – не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смиренно, и коли вы будете жить без меня честно и смиренно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется».

Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги да и говорит ему первая:

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи¹⁰, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого¹¹, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого».

Честной купец призадумался и сказал потом:

⁸ В некиим – в некотором. В сказке много старинных слов; она написана так, как ее рассказывала ключница Пелагея.

⁹ Казна – деньги.

¹⁰ Парча – шелковая материя, затканная золотыми или серебряными нитями.

¹¹ Жемчуг бурмицкий – жемчуг особенно крупный и круглый.

«Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевичны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет».

Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне тувалет¹² из хрусталу восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялась».

Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова:

«Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевичны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, высота той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевична на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет».

Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово:

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете».

Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова:

«Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».

И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева, он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота; золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшей, любимой дочери – аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.

Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот едет он путем-дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и, откуда ни возмись, налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминуемую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темные леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену во неволе».

Бродит он по тому лесу дремучему, непроезжному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад – руки не просунуть, смотрит направо – пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит налево – а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с

¹² Тувалет – туалет, зеркало.

ним за чудо совершается, а сам все идет да идет: у него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь; кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминуемую?»

Поворотил он назад – нельзя идти, направо, налево – нельзя идти; сунулся вперед – дорога торная. «Дай постою на одном месте, – может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем».

Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую и посередь той поляны широкой стоит дом не дом чертог не чертог, а дворец королевский или царский весь в огне, в серебре и золоте и в камнях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, инда¹³ тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал.

Входит он на широкий двор, в ворота широкие растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным¹⁴ сукном, со перилами позолоченными; вошел в горницу – нет никого; в другую, в третью – нет никого; в пятую, десятую – нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.

Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не только хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не смолкаяючи; и подумал он в те поры про себя: «Все хорошо, да есть нечего» – и вырос перед ним стол, убранный-разубранный: в посуде золотой да серебряной яства¹⁵ стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления¹⁶, напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя, – того и гляди, что язык проглотить, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаяючи.

Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любит, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть» – и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, лебяжьего.

Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному; ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидеть!» – и заснул в ту же минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и среднюю, что они веселым-веселехоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и средней дочери есть женихи богатые и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно и не радостно.

Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому, чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолвившись богу, он накушался, и стал он опять по палатам

¹³ Инда – даже.

¹⁴ Кармазинное – ярко-красное.

¹⁵ Яства – еда, кушанья.

¹⁶ Без сумления – без сомнения, без опасения.

ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовые и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зеленые сады. Гуляет он и любит: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, Махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на их вышину – голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.

Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени – неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:

«Вот аленький цветочек, какого нет краше ни белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая».

И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром, инда земля зашаталась под ногами, – и вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудовище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:

«Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока¹⁷ моего и всякий день утешался, на него глядя, а ты лишил меня всей утехы в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною!..»

И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило:

«Умереть тебе смертью безвременною!»

У честного купца от страха зуб на зуб не приходил, он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед наибольшим хозяином, чудовищем мохматым, и возговорил голосом жалобным:

«Ох ты той еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское: как взвеличать тебя – не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезть: старшей дочери – самоцветный венец, средней дочери – туалет хрустальный, а меньшей дочери – аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшей дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду – аленький цветочек, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшей, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь».

Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

«Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купеческое и запись своей руки, что пришлешь заместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она

¹⁷ Хранить паче зеницы ока – беречь, хранить что-либо больше, чем глаза.

жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища».

Так и пал купец на сыру землю, горячими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным:

«Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю».

Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

«Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне – не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи».

Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной¹⁸ не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу.

И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки¹⁹ шелковые; почали²⁰ они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то недоволен и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:

«Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное».

И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:

«Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселиться».

Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского, на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достает гостинец средней дочери, тувалет хрустально восточного; достает гостинец меньшей дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи:

«Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете».

Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горячими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали²¹ они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные²² за яства сахарные, за пития медвяные; стали есть, пить, прохлаждатися, ласковыми речами утешатися.

Вечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнехонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, какого честный купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все

¹⁸ Запись заручная – расписка.

¹⁹ Ширинка – здесь: широкое полотенце.

²⁰ Почали – начали.

²¹ Попытали – здесь: посмотрели, примерили.

²² Скатерть браная – скатерть, вытканная узорами.

тому дивовалися: и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких ни когда в дому не видавали.

Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:

«Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».

Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Средняя дочь наотрез отказалась и говорит:

«Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».

Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:

«Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя».

Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова:

«Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом; да где тот дворец – никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскуему²³ ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не выдаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую, в землю хороню».

И возговорит отцу дочь меньшая, любимая:

«Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый; житье мое будет богатое, привольное: зверя лесного, чуда морского, я не испугаюсь, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе».

Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается.

Прибегают сестры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жалко меньшей сестры, любимой; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собою цветочек аленький во кувшине позолоченном.

Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою; он целует, милует ее, горячими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшей, любимой дочери – и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками.

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой²⁴ ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулась. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала.

Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скорба всякого, есть на чем посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная; и подумала Она: «Должно быть, это моя опочивальня».

Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любующись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы

²³ Прыскуий – стремительный, быстрый.

²⁴ Камка – шелковая цветная ткань с узорами.

свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый²⁵ на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего.

Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый», – как на белой мраморной стене появились словеса огненные:

«Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою».

Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:

«Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевishна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными; и знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».

Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонька, хотя сроду не обедала одна-одинешенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, накушавшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше – по той причине, чтоб ей спать не мешать.

После сна встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды – груши, персики и наливные яблочки – сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные.

После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные:

«Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою?»

И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:

«Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое, угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете: то и как же мне довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна; во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой».

Появились на стене словеса огненные:

«Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная²⁶, верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути²⁷, не дадим и пылинке сесть».

И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива; и обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и

²⁵ Муравчатый – здесь: поросший травой (муравой).

²⁶ Девушка сенная – служанка.

²⁷ Венути – повеять, подуть.

про всю свою прислугу девичью; после того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилось; так и не спали они до белой зари.

Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать; всякий день угощенья я веселья новые, отменные: катанье, гулянье с музыкою на колесницах без коней и упряжи по темным лесам; а те леса перед ней расступались и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматься, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромь частым жемчугом; стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морскому; а и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная; ничему она уже не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее пуще самого себя; и захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных.

Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается; упростила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными:

«Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: «Говори со мной, мой верный раб»».

И мало спустя времечка побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые, входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчовую; и говорит она задыхаячись, бьется сердечко у ней, как у птички пойманной, говорит таковые слова:

«Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: после всех твоих милостей не убоюсь я и рева звериного; говори со мной не опасаячись».

И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услышав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалась, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.

С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день – во зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:

«Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?»

Отвечает лесной зверь, чудо морское:

«Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг».

И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не только люди, звери дикие его завсегда утраивались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова:

«Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живем с тобой в дружбе, согласии друг с другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски».

Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова:

«Если ты стар человек – будь мне дедушка, если середович²⁸ – будь мне дядюшка, если же молод ты – будь мне названный брат, и поколь я жива – будь мне Сердечный друг».

Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово:

«Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя; исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» – и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невоготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечной: ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизинец – и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне николи не услышишь».

Не убоаясь, не утратившись, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу урочного и, когда пришли сумерки серые, опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» – и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах; и невзвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные.

Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятавалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным:

«Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло мне умереть смертью безвременною».

И стало ей жалкой совестно, и совладала она со своим страхом великим и с своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым:

«Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своем виде давешнем; я только впервые испугалась».

Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чужала никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядев его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучались, за обедом и ужином яствами сахарными насыщались, питьями медвяными прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам.

И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит; и напала на нее тоска неусыпная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и сильно закручинился и стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское:

«И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу».

²⁸ Середович – человек средних лет.

Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому, королевскому; подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен, день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаясь; и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому.

Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим, любезным, про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, слушая про богатства несметные меньшей сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, инда завистно стало.

День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему...» И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова:

«Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоять того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание».

И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе; взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая.

И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, – а все равно ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сем расспрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, со прислугой верною, челядью дворовою, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом:

«Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой».

Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая; в зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она нешто недоброе; обежала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго – нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания²⁹. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаячись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная, – он не слышит; принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую – и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит...

²⁹ Глас послушания – ответный голос.

Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом:

«Ты встань, пробудись, мой сердечный Друг, я люблю тебя как жениха желанного!..»

И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громава стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти – не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной, сидит она на золотом престоле со камнями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писанный, на голове со короною царскою, в одежде златокованой; перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писанный, на голове со короною царскою:

«Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческого, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, еще малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и звания ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною, – и тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем».

Тогда все тому подивились, свита до земли преклонила. Честной купец дал свое благословение дочери меньшей, любимой, и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестой сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и нимало не медля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пиво-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.

3. Эрнст Гофман. «Золотой горшок»

Эрнст Теодор Амадей Гофман. Золотой горшок: сказка из новых времен
Перевод с немецкого Вл. Соловьева
Москва, «Советская Россия», 1991
OCR: Michael Seregin

Вигилия³⁰ первая

Злоключения студента Ансельма... — Пользительный табак конфектора Паульмана и золотисто-зеленые змейки.

В день вознесения, часов около трех пополудни, чрез Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая, безобразная женщина, — и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, и уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша! На крики старухи товарки ее оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговки; но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..» В резком, пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздавшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм (молодой человек был именно он) хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избежать направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный молодой человек! Ах, она проклятая баба!» Станным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы женского пола ввиду высокого роста юноши и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой моды, а именно: его щучье-серый фрак был скроен таким образом, как будто портной, его работавший, только понаслышке знал о современных фасонах, а черные атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали походка и осанка.

Когда студент подошел к концу аллеи, ведущей к Линковым купальням, он почти задыхался. Он должен был замедлить шаг; он едва смел поднять глаза, потому что ему все еще представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него, и всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него лишь отражением злорадного смеха у Черных ворот. Так дошел он до входа в Линковы купальни; ряд празднично одетых людей непрерывно входил туда. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день вознесения, который был для него всегда особенным праздником, — и он хотел принять участие в блаженствах линковского рая: да, он хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива и, чтобы попировать настоящим манером, взял денег даже больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о

³⁰ В.Э.: Vigilia — по-латински означало: стража, смена (стражи), ночное бодрствование, бдительность, ночной пир. Ночь от вечерней до утренней зари у римлян делилась на четыре вигилии (т.е. сменялись четыре смены стражников). Длительность вигилии, таким образом, зависела от длины ночи, т.е. от времени года, но в среднем составляла 3 часа.

музыке, о созерцании нарядных девушек – словом, обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать; он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку полезительным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы; за нею смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному своду, который опускался на цветущие луга и свежие зеленые рощи; а за ними, в глубоком сумраке, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии. Но, мрачно взирая перед собою, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака, и его досада наконец выразилась громко в следующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий! Я уже не говорю о том, что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу по угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю намавленной стороной, – обо всех этих злополучиях я не стану и говорить; но не ужасная ли это судьба, что я, сделавшись наконец студентом назло всем чертям, должен все-таки быть и оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна или не разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Клянялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину советнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный день уплачивать на рынке определенную подать от трех до четырех грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня прямо на них, словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше; только что стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина и вследствие этого не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Где вы, блаженные грезы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского секретаря. Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос; с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный снурок лопается, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою; чашки, тарелки, чернильница, песочница летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное донесение. «Вы, сударь, взбесились!» – рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что пользы, что конректор Паульман обещал мне место писца? До этого не допустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует. Ну, вот хоть сегодня. Хотел я отпраздновать светлый день вознесения как следует, в веселии сердца. Мог бы я, как и всякий другой гость в Линковых купальнях, восклицать с гордостью: «Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!» Я мог бы сидеть до позднего вечера, и притом вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных, прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился; я сделался бы совсем другим человеком, я даже дошел бы до того, что когда одна из них спросила бы: «Который теперь может быть час?» или: «Что это такое играют?» – я вскочил бы легко и прилично, не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном положении подвинулся бы шага на полтора вперед и сказал бы: «С вашего позволения, *mademoiselle*, это играют увертюру из «Девы Дуная», или: «Теперь, сейчас пробьет шесть часов». И мог бы хоть один человек на свете истолковать это в дурную сторону? Нет, говорю я, девушки переглянулись бы между собою с лукавою улыбкою, как это обыкновенно бывает каждый раз, как я решусь показать, что я тоже смыслю кой-что в легком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт понес меня на эту проклятую корзину с яблоками, и я теперь должен в уединении раскуривать свой полезительный...» Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршаньем, которые поднялись совсем около него в траве, но скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшейся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листьями; то – что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот – он сам не знал, как этот шелест, и шепот, и звон превратились в тихие, едва слышные слова:

«Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в сиянии! Скорее, скорее, и вверх и вниз, – солнце вечернее

стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листьями, спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся; сестрицы, скорей!»

И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал: «Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях». Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвилились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепот, и лепет, и те же слова, и змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и, когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр чрез свои темные листья. «Это заходящее солнце так играет в кусте», – подумал студент Ансельм; но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам, он затрепетал в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением, и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал: «Ты лежал в моей тени, мой аромат обвеивал тебя, но ты не понимал меня. Аромат – это моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: «Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня; веяние есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Солнечные лучи пробились сквозь облака, и сияние их будто горело в словах: «Я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал меня; жар – моя речь, когда любовь меня воспламеняет».

И, все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение, пламенной желание. И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издали раздался грубый густой голос: «Эй, эй, что там за толки, что там за шепот? Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй, эй, до-мо-о-о-й, до-мо-о-о-й!»

И голос исчез как будто в отголосках далекого грома; но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку; шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.

Вигилия вторая

Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. – Поездка по Эльбе. – Бравурная ария капельмейстера Грауна. – Желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками.

«А господин-то, должно быть, не в своем уме!» – сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинового дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал не переставая: «О, только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!» И при этом он глубоко вздыхал, и жалостно охал, и от желания и нетерпения тряс бузиноое дерево, которое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком издевалось над горем студента Ансельма. «А господин-то, должно быть, не в своем уме!» – сказала горожанка, и Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно увидел, где он был, и сообразил, что его увлек странный призрак, доведший его даже до того, что он в полном одиночестве стал громко разговаривать. В смущении смотрел он на горожанку и наконец схватил упавшую на землю шляпу, чтобы поскорей уйти. Между тем отец

семейства также приблизился и, спустив на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением посмотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он поднял трубку и кисет с табаком, которые уронил студент, и, подавая ему то и другое, сказал:

– Не вопите, сударь, так ужасно в темноте и не беспокойте добрых людей: ведь все ваше горе в том, что вы слишком засмотрелись в стаканчик; так идите-ка лучше добром домой да на боковую. – Студент Ансельм весьма устыдился и испустил плачевное «ах». – Ну, ну, – продолжал горожанин, – не велика беда, со всяким случается, и в любезный праздник вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи и с людьми божьими – ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но, с вашего позволения, я набью себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел.

Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать золу из своей трубки и потом столь же медленно набивать ее полезительным табаком. В это время подошли несколько девушек; они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой, поглядывая на Ансельма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и кисет, как бросился бежать оттуда, будто его прищипывали. Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти, и он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он искони питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. «Сатана болтает их устами», – говорил ректор, и он верил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия – эта мысль была нестерпима. Он хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос: «Господин Ансельм, господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?» Студент остановился как вкопанный, в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос: «Господин Ансельм, идите же назад. Мы ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман; он пошел назад к Эльбе и увидел конrektора с обеими его дочерьми и с регистратором Геербрандом; они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в Пирнаском предместье. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избежать злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу, у Антонского сада, пускали фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячью потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца; но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях, и снова овладело им невыразимое томление, пламенное желание, которое там потрясло его грудь в судорожном скорбном восторге. «Ах, если бы это были вы, золотые змейки, ах! пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые прелестные синие глазки, – ах, не здесь ли вы под волнами?» Так восклицал студент Ансельм и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду.

– Вы, сударь, взбесились! – закричал гребец и поймал его за борт фрака. Сидевшие около него девушки испустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки; регистратор Геербранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа которого студент Ансельм понял только слова: «Подобные припадки еще не замечались». Тотчас после этого конректор пересел к студенту Ансельму и, взяв его руку, сказал с серьезной и важной начальнической миной:

– Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

Студент Ансельм чуть не лишился чувств, потому что в его душе поднялась безумная борьба, которую он напрасно хотел усмирить. Он, разумеется, видел теперь ясно, что то, что он принимал за сияние золотых змеек, было лишь отражением фейерверка у Антонского сада, но тем не менее какое-то неведомое чувство – он сам не знал, было ли это блаженство, была ли это скорбь, – судорожно сжимало его грудь; и когда гребец ударял веслом по воде, так что она, как бы в гневе крутясь, плескала и шумела, ему слышались в этом шуме тайный шепот и лепет: «Ансельм, Ансельм! Разве ты не видишь, как мы все плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя – верь, верь, верь в нас!» И ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полосы. Но когда он затем с тоскою всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит единственно от освещенных окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне борясь. Но конректор Паульман еще резче повторил:

– Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?

И в совершенном малодушии студент отвечал:

– Ах, любезный господин конректор, если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезились мне наяву, с открытыми глазами, под бузинным деревом, у стены Линковского сада, вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в исступлении...

– Эй, эй, господин Ансельм! – прервал его конректор, – я всегда считал вас за солидного молодого человека, но грезить, грезить с открытыми глазами и потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините вы меня, возможно только для умалишенных или дураков!

Студент Ансельм был весьма огорчен жестокою речью своего друга, но тут вмешалась старшая дочь Паульмана Вероника, хорошенькая цветущая девушка шестнадцати лет.

– Но, милый папа, – сказала она, – с господином Ансельмом, верно, случилось что-нибудь особенное, и он, может быть, только думает, что это было наяву, а в самом деле он спал под бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который и остался у него в голове.

– И сверх того, любезная барышня, почтенный конректор! – так вступил в беседу регистратор Геербранд, – разве нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мною самым однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе, а именно: в этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению, представилось место, где находился один потерянный документ; а то еще вчера я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский фрагмент, пляшущий передо мною.

– Ах, почтенный господин регистратор, – возразил конректор Паульман, – вы всегда имели некоторую склонность к поэзии, а с этим легко впасть в фантастическое и романическое.

Но студенту Ансельму было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения – слыть за пьяного или сумасшедшего; и хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники прекрасные синие глаза, причем ему, однако, не пришли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бузины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение под бузиною; он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такою ловкостью и так счастливо, что только всего один раз поскользнулся, и так как это было единственное грязное место на всей дороге – лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конrektора Паульмана не ускользнула счастливая перемена в студенте Ансельме; он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения в своих прежних жестких словах.

– Да, – прибавил он, – бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат; но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к задку, как доказано одним знаменитым уже умершим ученым.

Студент Ансельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян, помешан или болен, но, во всяком случае, пиявки казались ему совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совершенно исчезли и он чувствовал себя тем более веселым, чем более ему удавалось оказывать различные любезности хорошенькой Веронике. По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой; студент Ансельм должен был сесть за фортепьяно, и Вероника спела своим чистым, звонким голосом.

– *Mademoiselle*, – сказал регистратор Геербранд, – у вас голосок как хрустальный колокольчик!

– Ну, это уж нет! – вдруг вырвалось у студента Ансельма, – он сам не знал как, – и все посмотрели на него в изумлении и смущении. – Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях удивительно, удивительно! – пробормотал студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала:

– Что это вы такое говорите, господин Ансельм?

Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Конректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Геербранд положил ноты на пюпитр и восхитительно спел бравурную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал еще много раз, а фугированный дуэт, который он исполнил с Вероникой и который был сочинен самим конrektором Паульманом, привел всех в самое радостное настроение. Было уже довольно поздно, и регистратор Геербранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал:

– Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму... ну, о чем мы с вами прежде говорили?

– С величайшим удовольствием, – отвечал регистратор, и, когда все сели в кружок, он начал следующую речь: – Здесь, у нас в городе, есть один замечательный старый чудак; говорят, он занимается всякими тайными науками; но как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю не о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уединенно, в своем отдаленном старом доме, и в свободное от службы время его можно всегда найти в его библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме множества редких книг, он владеет известным числом рукописей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтоб эти последние были списаны искусным образом, а для этого он нуждается в человеке, умеющем рисовать пером, чтобы с величайшей точностью и верностью, и притом при помощи туши, перенести на пергамент все эти знаки. Он заставляет работать в особой комнате своего дома, под собственным надзором, уплачивает, кроме стола во время работы, по специиес-талеру за каждый день и обещает еще значительный подарок по счастливом окончании всей работы. Время работы ежедневно от двенадцати до шести часов. Один час – от трех до четырех – на отдых и закуску. Так как он уже имел неудачный опыт с несколькими молодыми людьми, то и обратился наконец ко мне, чтобы я ему указал искусного рисовальщика; тогда я подумал о вас, любезный господин Ансельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером. Поэтому, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по специиес-талеру в день и получить еще подарок сверх того, то потрудитесь завтра ровно в двенадцать часов явиться к господину архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но берегитесь всякого чернильного пятна: если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала; если же вы запачкаете оригинал, то господин архивариус в состоянии выбросить вас из окошка, потому что это человек сердитый.

Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Геербранда, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером; его настоящая страсть была – копировать трудные каллиграфические работы; поэтому он поблагодарил своих покровителей в самых признательных выражениях и обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Ночью студент Ансельм только и видел что светлые специиес-талеры и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен беречь всякий геллер и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность. Уже рано утром собрал он вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь; лучших материалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам архивариус Линдгорст. Прежде всего осмотрел он и привел в порядок свои образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтоб показать их архивариусу, как доказательство своей способности исполнить требуемое. Все шло благополучно казалось, им управляла особая счастливая звезда: галстук принял сразу надлежащее положение; ни один шов не лопнул; ни одна петля не оборвалась на черных шелковых чулках; вычищенная шляпа не упала лишний раз в пыль, – словом, ровно в половине двенадцатого часа студент Ансельм в своем щучье-сером фраке и черных атласных брюках, со свертком каллиграфических работ и рисунков в кармане, уже стоял на Замковой улице, в лавке Конради, где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера, ибо здесь, думал он, похлопывая по своему еще пустому карману, скоро зазвонят специиес-талеры. Несмотря на длинную дорогу до той уединенной улицы, на которой находился старый дом архивариуса Линдгорста, студент Ансельм был у его дверей еще до двенадцати часов. Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Черных ворот! Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело: «Дурррак! Дуррак! Дурррак! Удерррреш! Удерррреш! Дурррак!» Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка, и вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и по всему пустому дому раздалось насмешливые отголоски: «Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!» Студента Ансельма охватил страх и лихорадочною дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белою прозрачною

исполинской змеею, которая обвила и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. «Умертви меня, умертви меня!» – хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма; режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Когда он снова пришел в себя, он лежал в своей бедной постели, а перед ним стоял конректор Паульман и говорил:

– Но скажите же, ради бога, что это вы за нелепости такие делаете, любезный господин Ансельм?

Вигилия третья

Известие о семье архивариуса Линдгорста. – Голубые глаза Вероники. – Регистратор Геербранд.

– Дух взирал на воды, и вот они заколыхались, и поднялись пенистыми волнами, и ринулись в бездну, которая разверзла свою черную пасть, чтобы с жадностью поглотить их. Как торжествующие победители, подняли гранитные скалы свои зубчатыми венцами украшенные головы и сомкнулись кругом, защищая долину, пока солнце не приняло ее в свое материнское лоно и не взлелеяло, и не согрело ее в пламенных объятиях своих лучей. Тогда пробудились от глубокого сна тысячи зародышей, дремавших под пустынным песком, и протянули к светлому лицу матери свои зеленые стебельки и листики, и, как смеющиеся дети в зеленой колыбели, покоились в своих чашечках нежные цветочки, пока и они не проснулись, разбуженные матерью, и не нарядились в лучистые одежды, которые она для них разрисовала тысячью красок. Но в середине долины был черный холм, который поднимался и опускался, как грудь человека, когда она вздымается пламенным желанием. Из бездны вырывались пары и, сгущаясь в огромные массы, враждебно стремились заслонить лицо матери; и она произвела бурный вихрь, который сокрушительно прошел через них, и когда чистый луч снова коснулся черного холма, он выпустил из себя в избытке восторга великолепную огненную лилию, которая открыла свои листья, как прекрасные уста, чтобы принять сладкие поцелуи матери. Тогда показалось в долине блестящее сияние: это был юноша Фосфор; огненная лилия увидела его и, охваченная горячею, томительною любовью, молила: «О, будь моим вечно, прекрасный юноша, потому что я люблю тебя и должна погибнуть, если ты меня покинешь!» И сказал юноша Фосфор: «Я хочу быть твоим, о прекрасная лилия; но тогда ты должна, как неблагодарное детище, бросить отца и мать, забыть своих подруг, ты захочешь тогда быть больше и могущественнее, чем все, что теперь здесь радуется наравне с тобою. Любовное томление, которое теперь благотельно согревает все твое существо, будет, раздробясь на тысячи лучей, мучить и терзать тебя, потому что чувство родит чувство, и высочайшее блаженство, которое зажжет в тебе брошенная мною искра, станет безнадежною скорбью, в которой ты погибнешь, чтобы снова возродиться в ином образе. Эта искра – мысль!» – «Ах! – молила лилия, – но разве не могу я быть твоею в том пламени, которое теперь горит во мне? Разве я больше, чем теперь, буду любить тебя и разве смогу я, как теперь, смотреть на тебя, когда ты меня уничтожишь!» Тогда поцеловал ее юноша Фосфор, и, как бы пронзенная светом, вспыхнула она в ярком пламени, из него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины, понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше. А он стал оплакивать потерянную подругу, потому что и его привлекла в одинокую долину только бесконечная любовь к прекрасной лилии, и гранитные скалы склоняли свои головы, принимая участие в скорби юноши. Но одна скала открыла свое лоно, и из него вылетел с шумом черный крылатый дракон и сказал: «Братья мои металлы спят там внутри, но я всегда весел и бодр и хочу тебе помочь». Носясь вверх и вниз, дракон схватил наконец существо, порожденное огненной лилией, принес его на холм и охватил его своими крыльями; тогда оно опять стало лилией, но упорная мысль терзала ее, и любовь к юноше Фосфору стала острою болью, от которой кругом все цветочки, прежде так радовавшиеся ее взорам, поблекли и увяли, овеянные ядовитыми испарениями. Юноша Фосфор облекся в блестящее вооружение, игравшее тысячью разноцветных лучей, и сразился с драконом, который своими черными крылами ударял о панцирь, так что он громко звенел; от этого могучего звона снова ожили цветочки и стали порхать, как пестрые птички, вокруг дракона, которого силы наконец истощились, и, побежденный, он скрылся в глубине земли. Лилия была освобождена,

юноша Фосфор обнял ее, полный пламенного желания небесной любви, и все цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы в торжественном гимне провозгласили ее царицей долины.

– Но позвольте, все это только одна восточная напыщенность, почтеннейший господин архивариус, – сказал регистратор Геербранд, – а мы ведь вас просили рассказать нам, как вы это иногда делаете, что-нибудь из вашей в высшей степени замечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших странствий, и притом что-нибудь достоверное.

– Ну так что же? – возразил архивариус Линдгорст. – То, что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное из всего, что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни. Ибо я происхожу именно из той долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя пра-пра-пра-прабабушка, так что я сам, собственно говоря, – принц.

Все разразились громким смехом.

– Да, смейтесь, – продолжал архивариус Линдгорст, – то, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может казаться вам бессмысленным и безумным, но тем не менее все это не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, которой и я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам скорее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении.

– Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живет? Также на королевской службе, или он, может быть, приватный ученый? – раздавались со всех сторон вопросы.

– Нет, – отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, – он стал на дурную дорогу и пошел в драконы.

– Как вы изволили сказать, почтеннейший архивариус, – подхватил регистратор Геербранд, – в драконы?

«В драконы», – раздалось отовсюду, точно эхо.

– Да, в драконы, – продолжал архивариус Линдгорст, – это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно – всего триста семьдесят пять лет тому назад, так что я еще ношу траур; он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Мы и поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом, так что наконец покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в драконы. Теперь он живет в кипарисовом лесу около Туниса, где он стережет знаменитый мистический карбункул от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии, и ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда некромант занимается в саду грядками, саламандрами, и тут-то он спешит рассказать мне, что нового у истоков Нила.

Снова присутствующие разразились громким смехом, но у студента Ансельма было что-то неладно на душе, и он не мог смотреть в неподвижные серьезные глаза архивариуса Линдгорста, чтобы не почувствовать какого-то, для него самого непонятного, содрогания. Особенно в сухом, металлическом голосе архивариуса было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Геербранд, собственно, и взял его с собою в кофейню, на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Линдгорста студент Ансельм никак не решался возобновить свое посещение, ибо, по его глубочайшему убеждению, только счастливая случайность избавила его если не от смерти, то, по крайней мере, от опасности сойти с ума. Конректор Паульман как раз проходил по улице в то время, как он без чувств лежал у крыльца и какая-то старуха, оставив свою корзину с пирожками и яблоками, хлопотала около него. Конректор Паульман тотчас же призвал портшез и таким образом перенес его домой.

– Пусть обо мне думают что хотят, – сказал студент Ансельм, – пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над дверным молотком на меня скалило зубы проклятое лицо той ведьмы от Черных ворот; что случилось потом – об этом я лучше не буду говорить; но, если бы я, очнувшись от своего обморока, увидел перед собою проклятую старуху с яблоками (потому что ведь это она хлопотала надо мною), со мною бы мгновенно сделался удар или я сошел бы с ума.

Никакие убеждения, никакие разумные представления конrektора Паульмана и регистратора Геербранда не повели ни к чему, и даже голубоокая Вероника не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его сочли в самом деле душевнобольным и стали подумывать о средствах развлечь его, а, по мнению регистратора

Геербранда, самым лучшим было бы занятие у архивариуса Линдгорста, то есть копирование манускриптов. Нужно было только познакомить как следует студента Ансельма с архивариусом, а так как Геербранд знал, что тот почти каждый вечер посещает одну знакомую кофейню, то он и предложил студенту Ансельму выпивать каждый вечер в той кофейне на его, регистратора, счет стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или иначе не познакомится с архивариусом и не сойдется относительно своих занятий, – что студент Ансельм и принял с благодарностью.

– Вы заслужите милость божью, любезный регистратор, если вы приведете молодого человека в рассудок, – заявил конректор Паульман.

– Милость божью! – повторила Вероника, поднимая набожно глаза к небу и с живостью думая, какой студент Ансельм и теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка! И вот, когда архивариус Линдгорст со шляпою и палкой уже выходил из кофейни, регистратор Геербранд быстро схватил за руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архивариусу, сказал:

– Высокочтимый господин тайный архивариус, вот студент Ансельм, который, будучи необыкновенно искусен в каллиграфии и рисовании, желал бы списывать ваши манускрипты.

– Это мне весьма и чрезвычайно приятно, – быстро ответил архивариус, набросил себе на голову треугольную солдатскую шляпу и, отстранив регистратора Геербранда и студента Ансельма, побежал с большим шумом вниз по лестнице, так что те, совершенно озадаченные, стояли и смотрели на дверь, которую он с треском захлопнул прямо у них под носом.

– Совсем чудной старик, – проговорил наконец регистратор Геербранд. «Чудной старик!» – пробормотал студент Ансельм, чувствуя, будто ледяной поток пробежал по его жилам и превратил его в неподвижную статую. Но все гости засмеялись и сказали:

– Архивариус был сегодня опять в своем особенном настроении; завтра он, наверно, будет тих и кроток и не промолвит ни слова, а будет себе сидеть за газетами или смотреть в дымные колечки из своей трубки; на это не надо обращать внимание!

«Это правда, – подумал студент Ансельм, – кто станет обращать внимание на такие вещи? Да и не сказал ли архивариус, что ему чрезвычайно приятно, что я хочу списывать его манускрипты? И потом, зачем же в самом деле регистратор Геербранд стал ему на дороге, как раз когда он хотел идти домой? Нет, нет, в сущности говоря, он милый человек, господин тайный архивариус Линдгорст, и удивительно щедр; чуден только своими необычайными оборотами речи. Но что мне до этого? Завтра же ровно в двенадцать часов пойду к нему, хотя бы против этого восстали тысячи бронзовых баб с яблоками!»

Вигилия четвертая

Меланхолия студента Ансельма. – Изумрудное зеркало. – Как архивариус Линдгорст улетел коршуном и студент Ансельм никого не встретил.

Спрошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей жизни часы, дни и даже целые недели, когда все твои обыкновенные дела и занятия возбуждали в тебе мучительное неудовольствие, когда все то, что в другое время представлялось важным и значительным твоему чувству и мысли, вдруг начинало казаться пошлым и ничтожным? Ты не знаешь тогда сам, что делать и куда обратиться; твою грудь волнует темное чувство, что где-то и когда-то должно быть исполнено какое-то высокое, за круг всякого земного наслаждения переходящее желание, которое дух, словно робкое, в строгости воспитанное дитя, не решается высказать, и в этом томлении по чему-то неведомому, что, как благоухающая греза, всюду носится за тобою в прозрачных, от пристального взора расплывающихся образах, – в этом томлении ты становишься нем и глух ко всему, что тебя здесь окружает. С туманным взором, как безнадежно влюбленный, бродишь ты кругом, и все, о чем на разные лады хлопочут люди в своей пестрой толкотне, не возбуждает в тебе ни скорби, ни радости, как будто ты уже не принадлежишь к этому миру. Если ты когда-нибудь чувствовал себя так, благосклонный читатель, то ты по собственному опыту знаешь то состояние, в котором находился студент Ансельм. Вообще я весьма желаю, благосклонный читатель, чтобы мне и сейчас уже удалось совершенно живо представить твоим глазам студента Ансельма. Ибо, в самом деле, за те ночные бдения, во время которых я записываю его в высшей степени странную историю, мне придется еще рассказать так много

чудесного, так много такого, что, подобно явившемуся привидению, отодвигает повседневную жизнь обыкновенных людей в некую туманную даль, что я боюсь, как бы ты не перестал под конец верить и в студента Ансельма, и в архивариуса Линдгорста и не возымел бы даже каких-нибудь несправедливых сомнений относительно конректора Паульмана и регистратора Геербранда, несмотря на то что уж эти-то два почтенных мужа и доселе еще обитают в Дрездене. Попробуй, благосклонный читатель, в том волшебном царстве, полном удивительных чудес, вызывающих могучими ударами величайшее блаженство и величайший ужас, где строгая богиня приподнимает свое покрывало, так что мы думаем видеть лицо ее, но часто улыбка сияет в строгом взоре, и она насмешливо дразнит нас всякими волшебными превращениями и играет с нами, как мать забавляется с любимыми детьми, – в этом царстве, которое дух часто открывает нам, по крайней мере во сне, – попробуй, говорю я, благосклонный читатель, узнать там давно знакомые лица и образы, окружающие тебя в обыкновенной или, как говорится, повседневной жизни, и ты поверишь, что это чудесное царство гораздо ближе к тебе, чем ты думаешь, чего именно я и желаю от всего сердца и ради чего, собственно, я и рассказываю тебе эту странную историю о студенте Ансельме. Итак, как сказано, студент Ансельм впал после вечера, когда он видел архивариуса Линдгорста, в мечтательную апатию, делавшую его нечувствительным ко всяким внешним прикосновениям обыкновенной жизни. Он чувствовал, как в глубине его существа шевелилось что-то неведомое и причиняло ему ту блаженную и томительную скорбь, которая обещает человеку другое, высшее бытие. Лучше всего ему было, когда он мог один бродить по лугам и рощам и, как бы оторвавшись ото всего, что приковывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в созерцании тех образов, которые поднимались из его внутренней глубины. И вот однажды случилось, что он, возвращаясь с далекой прогулки, проходил мимо того замечательного бузинового куста, под которым он, как бы под действием неких чар, видел так много чудесного: он почувствовал удивительное влечение к зеленому родному местечку на траве; но едва он на него сел, как все, что он тогда созерцал в небесном восторге и что как бы чуждою силою было вытеснено из его души, снова представилось ему в живейших красках, будто он это вторично видел. Даже еще яснее, чем тогда, стало для него, что прелестные синие глазки принадлежат золотисто-зеленой змейке, извивавшейся в середине бузинового дерева, и что в изгибах ее стройного тела должны были сверкать все те чудные хрустальные звуки, которые наполняли его блаженством и восторгом. И так же, как тогда, в день вознесения, обнял он бузиноое дерево и стал кричать внутрь его ветвей: «Ах! еще раз только мелькни, и взвейся, и закачайся на ветвях, дорогая зеленая змейка, чтобы я мог увидеть тебя... Еще раз только взгляни на меня своими прелестными глазками!.. Ах! я люблю тебя и погибну от печали и скорби, если ты не вернешься!» Но все было тихо и глухо, и, как тогда, совершенно невнятно шумела бузина своими ветвями и листьями. Однако студенту Ансельму казалось, что он теперь знает, что шевелится и движется внутри его, что так разрывает его грудь болью и бесконечным томлением. «Это то, – сказал он самому себе, – что я тебя всецело, всей душой, до смерти люблю, чудная золотая змейка; что я не могу без тебя жить и погибну в безнадежном страдании, если я не увижу тебя снова и не буду обладать тобою как возлюбленную моего сердца... Но я знаю, ты будешь моя, – и тогда исполнится все, что обещали мне дивные сны из другого, высшего мира». Итак, студент Ансельм каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, ходил под бузину и зывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную, золотисто-зеленую змейку. Однажды, когда он, по обыкновению, предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный, худой человек, завернутый в широкий светлосерый плащ, и, сверкая на него своими большими огненными глазами, закричал:

– Гей, гей! Что это там такое хныкает и визжит? Эй! эй! да это тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!

Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что он узнал в нем тот самый голос, который тогда, в день вознесения, неведомо откуда закричал: «Эй, эй! что там за шум, что там за толки?» – и так далее. От изумления и испуга он не мог произнести ни слова.

– Ну, что же с вами такое, господин Ансельм? – продолжал архивариус Линдгорст (человек в светло-сером плаще был не кто иной). – Чего вы хотите от бузинового дерева и почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?

И действительно, студент Ансельм не мог еще принудить себя снова посетить архивариуса в его доме, несмотря на свое мужественное решение в тот вечер в кофейне. Но в это мгновение, когда его прекрасные грезы были нарушены, и притом тем же самым враждебным голосом,

который уже и тогда похитил у него возлюбленную, им овладело какое-то отчаяние, и он неистово разразился:

– Считайте меня хоть за сумасшедшего, господин архивариус, мне это совершенно все равно, но здесь, на этом дереве, я видел в вознесение золотисто-зеленую змейку, – ах! вечную возлюбленную моей души, и она говорила со мною чудными кристальными звуками; но вы, вы, господин архивариус, закричали и загремели так ужасно над водою.

– Неужели, мой милейший? – прервал его архивариус Линдгорст, нюхая табак с совершенно особенной улыбкой.

Студент Ансельм почувствовал, как его сердце облегчилось, едва только ему удалось заговорить о том удивительном приключении, и ему казалось, что он совершенно справедливо обвинял архивариуса, как будто это действительно он откуда-то гремел в тот вечер. Он собрался с духом и сказал:

– Ну, так я расскажу вам все роковое происшествие того вечера, а затем вы можете говорить, делать и думать обо мне все что угодно. – И он рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину, и до исчезновения в воде трех золотых змеек, и как его потом все считали пьяным или сумасшедшим. – Все это, – заключил студент Ансельм, – я действительно видел, и глубоко в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною; это отнюдь не был сон, и, пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек, хотя я по вашей усмешке, почтенный господин архивариус, ясно вижу, что вы именно этих змеек считаете только произведением моего чересчур разгоряченного воображения.

– Нисколько, – возразил архивариус с величайшим спокойствием и хладнокровием, – золотисто-зеленые змейки, которых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины, были мои три дочери, и теперь совершенно ясно, что вы порядком-таки влюбились в синие глаза младшей, Серпентины. Я, впрочем, знал это еще тогда, в вознесенье, и так как мне дома за работой надоел их звон и шум, то я крикнул шалуням, что пора возвращаться домой, так как солнце уже зашло и они довольно напелись и напились лучей.

Студент Ансельм принял это так, как будто ему только сказали в ясных словах то, что он уже давно сам чувствовал, и, хотя ему тотчас же показалось, что бузинный куст, стена и лужайка и все предметы кругом начали слегка вертеться, тем не менее он собрался с силами и хотел что-то сказать, но архивариус не дал ему говорить: быстро сняв с левой руки перчатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкавшим удивительными искрами и огнями, он сказал:

– Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие.

Студент Ансельм посмотрел, и – о, чудо! – из драгоценного камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи, которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало, а в этом зеркале, всячески извиваясь, то убегая друг от друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали три золотисто-зеленые змейки. И когда гибкие, тысячами искр сверкающие тела касались друг друга, тогда звучали дивные аккорды хрустальных колокольчиков и средняя змейка протягивала с тоскою и желанием свою головку и синие глаза говорили: «Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня, Ансельм? Только в вере есть любовь – можешь ли ты любить?»

– О Серпентина, Серпентина! – закричал студент Ансельм в безумном восторге; но архивариус Линдгорст быстро дунул на зеркало, лучи с электрическим треском опять вошли в фокус, и на руке сверкнул только маленький изумруд, на который архивариус натянул перчатку.

– Видели ли вы золотых змеек, господин Ансельм? – спросил архивариус Линдгорст.

– Боже мой! да, – отвечал тот, – и дорогую, милую Серпентину.

– Тише, – продолжал архивариус, – на нынешний день довольно. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам достаточно часто можно будет видеть моих дочерей, или, лучше сказать, я буду доставлять вам это истинное удовольствие, если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью и чистотою каждый знак. Но вы совсем не приходите ко мне, хотя регистратор Геербранд уверял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал несколько дней.

Как только архивариус произнес имя Геербранда, студент Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент Ансельм, а человек, перед ним стоящий, – архивариус Линдгорст. Равнодушный тон, которым говорил этот последний, в резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он вызывал как настоящий некромант, представлял собою нечто ужасное,

что еще усиливалось пронзительным взглядом глаз, сверкавших из глубоких впадин худого морщинистого лица как будто из футляра, и нашего студента неудержимо охватило то же чувство жути, которое уже прежде овладело им в кофейне, когда архивариус рассказывал так много удивительного. С трудом пришел он в себя, и когда архивариус еще раз спросил:

– Ну, так почему же вы не пришли ко мне? – то он принудил себя рассказать все, что случилось с ним у дверей.

– Любезный господин Ансельм, – сказал архивариус, когда студент окончил свой рассказ, – любезный господин Ансельм, я очень хорошо знаю бабу с яблоками, о которой вы изволите говорить; эта фатальная тварь продельывает со мною всякие штуки, и, если она сделалась бронзовою, чтобы в качестве дверного молотка отпугивать от меня приятные мне визиты, – это в самом деле очень скверно, и этого нельзя терпеть. Не угодно ли вам, почтеннейший, когда вы придете завтра в двенадцать часов и опять заметите что-нибудь вроде оскаливания зубов и скрежетания, не угодно ли вам будет брызнуть ей в нос немножко вот этой жидкости, и тогда все будет как следует. А теперь – *adieu*, любезный господин Ансельм. Я хожу немного скоро и потому не приглашаю вас вернуться в город вместе со мною. *Adieu*, до свидания, завтра в двенадцать часов. – Архивариус отдал студенту Ансельму маленький пузырек с золотисто-желтою жидкостью и пошел так быстро, что в наступившем между тем глубоком сумраке казалось, что он более слетает, нежели сходит в долину. Он был уже вблизи Козельского сада, когда поднявшийся ветер раздвинул полы его широкого плаща, взвившиеся в воздух, так что студенту Ансельму, глядевшему с изумлением вслед архивариусу, представилось, будто большая птица раскрывает крылья для быстрого полета. В то время как студент Ансельм вперял таким образом свои взоры в сумрак, вдруг поднялся высоко на воздух с каркающим криком седой коршун, и Ансельм теперь ясно увидел, что большая колеблющаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося архивариуса, была именно этим коршуном, хотя он никак не мог понять, куда же это разом исчез архивариус. «Но, может быть, он и сам собственною особою и улетел в виде коршуна, этот господин архивариус Линдгорст, – сказал себе студент Ансельм, – потому что я теперь хорошо вижу и чувствую, что все эти непонятные образы из далекого волшебного мира, которые я прежде встречал только в особенных, удивительных сновидениях, перешли теперь в мою дневную бодрствующую жизнь и играют мною. Но будь что будет! Ты живешь и горишь в моей груди, прелестная, милая Серпентина! Только ты можешь утишить бесконечное томление, разрывающее мое сердце. Ах! когда я увижу твои прелестные глазки, милая, милая Серпентина?..» Так громко зывал студент Ансельм.

– Вот скверное, нехристианское имя, – проворчал около него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки господин.

Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находится, и поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя: «Вот несчастье-то будет, если мне встретится теперь конректор Паульман или регистратор Геербранд!» Но с ним не встретился ни тот, ни другой.

Вигилия пятая

Госпожа надворная советница Ансельм. – *Cicero, De officiis*³¹. Мартышки и прочая сволочь. – Старая Лиза. – Осеннее равноденствие.

– С Ансельмом ничего не поделаешь, – сказал конректор Паульман, – все мои добрые наставления, все мои увещания остаются бесплодными; он ничем не хочет заняться, хотя у него самые лучшие познания в науках, которые все-таки составляют основание всего.

Но регистратор Геербранд возразил, лукаво и таинственно улыбаясь:

– Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший конректор! Он субъект курьезный, но из него многое может выйти, и когда я говорю «многое», то это значит – коллежский асессор или даже надворный советник.

– Надворный? – начал было конректор в величайшем удивлении, и слово застряло у него в горло.

– Тише, тише, – продолжал регистратор Геербранд, – я знаю, что знаю! Уже два дня, как он сидит у архивариуса Линдгорста и списывает, и архивариус сказал мне вчера вечером в кофейне: «Вы рекомендовали мне славного человека, почтеннейший! Из него будет толк». И

³¹ Цицерон, О долге (лат.).

если вы теперь сообразите, какие у архивариуса связи, – те! те! – об этом мы поговорим через годик! – С этими словами регистратор вышел из комнаты с прежнею хитрою улыбкою, оставляя онемевшего от удивления и любопытства конректора неподвижно сидящим на своем стуле.

Но на Веронику этот разговор произвел совершенно особое впечатление. «Разве я не знала всегда, – думала она, – что господин Ансельм очень умный и милый молодой человек, из которого выйдет еще что-нибудь значительное? Только бы мне знать, действительно ли он расположен ко мне! Но разве в тот вечер, когда мы катались по Эльбе, он не пожал мне два раза руку? И разве во время дуэта он не смотрел на меня таким совершенно особенным взглядом, проникавшим до сердца? Да, да, он действительно любит меня, и я...» – Вероника предалась вполне, по обыкновению молодых девиц, сладким грезам о светлом будущем. Она была госпожой надворной советницей, жила в прекрасной квартире на Замковой улице, или на Новом рынке, или на Мориштрассе, шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль шли к ней превосходно, она завтракала в элегантном negligé у окна, отдавая необходимые приказания кухарке: «Только, пожалуйста, не испортите этого блюда, это любимое кушанье господина надворного советника!» Мимоидущие франты украдкой поглядывают вверх, и она явственно слышит: «Что это за божественная женщина, надворная советница, и как удивительно к ней идет ее маленький чепчик!» Тайная советница Игрек присылает лакея спросить, не угодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице поехать на Линковы купальни? «Кланяйтесь и благодарите, я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер к президентше Те-цет». Тут возвращается надворный советник Ансельм, вышедший еще с утра по делам; он одет по последней моде. «Ба! вот уж и двенадцать часов! – восклицает он, заводя золотые часы с репетицией и целуя молодую жену. – Как поживаешь, милая женушка, знаешь, что у меня для тебя есть», – продолжает он, лукаво вынимая из кармана пару великолепных новейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних.

– Ах, миленькие, чудесные сережки! – вскрикивает Вероника совершенно громко и, бросив работу, вскакивает со стула, чтобы в самом деле посмотреть в зеркале эти сережки.

– Что же это такое наконец будет? – сказал конректор Паульман, как раз углубившийся в чтение *Cicero, De officiis* и чуть не уронивший книгу. – И у тебя такие же припадочки, как у Ансельма?

Но тут вошел в комнату сам Ансельм, который, против своего обыкновения, не показывался перед тем несколько дней, и Вероника с изумлением и страхом заметила, что все его существо как-то изменилось. С не свойственной ему определенностью заговорил он о новом направлении своей жизни, которое ему стало ясным, о возвышенных идеях, которые ему открылись и которые недоступны для многих. Конректор Паульман, вспомнив таинственные слова регистратора Геербранда, был еще более поражен и едва мог выговорить слово, как студент Ансельм, упомянув о спешной работе у архивариуса Линдгорста и поцеловав с изящной ловкостью руку Вероники, уже спустился по лестнице и исчез. «Это был уже надворный советник, – пробормотала Вероника, – и он поцеловал мне руку, не поскользнувшись при этом и не наступив мне на ногу, как бывало прежде. Как нежно он на меня посмотрел! В самом деле, он любит меня». Вероника снова предалась своим мечтам; но посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи надворной советницы теперь словно появился какой-то враждебный образ, который злобно смеялся и говорил: «Все это глупости и пошлости и к тому же неправда, потому что Ансельм никогда не будет надворным советником и твоим мужем; да он и не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и нежная рука». Тут как будто ледяной поток прошел в груди Вероники, уничтожил всю ту приятность, с которой она воображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она чуть было не заплакала и громко проговорила:

– Ах, это правда, он меня не любит, и я никогда не буду надворной советницей!

– Романические бредни, романические бредни! – закричал конректор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вышел вон.

«Этого еще не доставало», – вздохнула Вероника, и ей стало очень досадно на двенадцатилетнюю сестру, которая безучастно, сидя за пальцами, продолжала свою работу. Между тем было уже почти три часа, – как раз время убирать комнату и готовить кофе, потому что барышни Остерс обещали прийти к своей подруге. Но из-за каждого шкафчика, который Вероника отодвигала, из-за нотных тетрадей, которые она брала с фортепьяно, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который она вынимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал и щелкал тонкими, как у паука, пальцами и кричал: «Не будет он твоим мужем! Не будет он твоим мужем!» И потом, когда она все бросила

и убежала на середину комнаты, выглянуло оно из-за печки, огромное, с длинным носом, и заворчало и задребезжало: «Не будет он твоим мужем!»

– Неужто ты ничего ни слышишь, ничего не видишь, сестра? – воскликнула Вероника, которая от страха и трепета не могла уж ни до чего дотронуться.

Френцхен встала совершенно серьезно и спокойно из-за своих пялец и сказала:

– Что это с тобою сегодня, сестра? Ты все бросаешь, все у тебя стучит и звенит, нужно тебе помочь.

Но тут со смехом вошли веселые девушки-гости, и в это мгновение Веронике вдруг стало ясно, что печку она принимала за человеческую фигуру, а скрип плохо притворенной заслонки – за враждебные слова. Однако, охваченная паническим страхом, она не могла оправиться так скоро, чтобы приятельницы не заметили ее необычайного напряжения, которое выдавало уже ее бледное и расстроенное лицо. Когда они, быстро прервав те веселые новости, которые собирались рассказать, стали допрашивать свою подругу, что с нею случилось, она должна была признаться, что перед тем она предалась совсем особым мыслям и что вдруг, среди бела дня, ею овладела боязнь привидений, вообще ей не свойственная. И тут она так живо рассказала о том, как изо всех углов комнаты ее дразнил и издевался над нею маленький серый человечек, что барышни Остерс начали пугливо озиаться по сторонам, и вскоре им стало жутко и как-то не по себе. В это время вошла Френцхен с дымящимся кофе, и все три девушки, быстро опомнившись, стали смеяться сами над своей глупостью. Анжелика – так называлась старшая Остерс – была помолвлена с одним офицером, который находился в армии и от которого так долго не было известий, что трудно было сомневаться в его смерти или, по крайней мере, в том, что он тяжело ранен. Это повергло ее в глубокое огорчение; но сегодня она была неудержимо весела, чему Вероника немало удивилась и откровенно ей это высказала.

– Милая моя, – сказала Анжелика, – ужели ты думаешь, что я не ношу всегда моего Виктора в моем сердце, в моих чувствах и мыслях? Но поэтому-то я так и весела, – ах, боже мой! – так счастлива, так блаженна всею душою! Ведь мой Виктор здоров, и я его скоро опять увижу ротмистром и с орденами, которые он заслужил своей безграничной храбростью. Сильная, но вовсе не опасная рана в правую руку от сабли неприятельского гусара мешает ему писать, да и постоянная перемена места, – так как он не хочет оставлять своего полка, – делает для него невозможным дать о себе известие; но сегодня вечером он получает отпуск для излечения. Завтра он уезжает сюда и, садясь в экипаж, узнает о своем производстве в ротмистры...

– Но, милая Анжелика, – прервала ее Вероника, – как же ты это все теперь уже знаешь?

– Не смейся надо мною, мой друг, – продолжала Анжелика, – да ты и не будешь смеяться, а то, пожалуй, тебе в наказание как раз выйдет маленький серый человечек оттуда, из-за зеркала. Как бы то ни было, но я никак не могу отделаться от веры во что-то таинственное, потому что это таинственное часто видимым и, можно сказать, осязательным образом вступало в мою жизнь. В особенности мне вовсе не представляется таким чудесным и невероятным, как это кажется многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновидения, который они умеют вызывать в себе им известными верными способами. Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает, как другие, по картам, по расплавленному свинцу или кофейной гуще, но после известных приготовлений, в которых принимает участие заинтересованное лицо, в гладко полированном металлическом зеркале появляется удивительная смесь разных фигур и образов, которые старуха объясняет и в которых черпает ответ на вопрос. Я была у нее вчера вечером и получила эти известия о моем Викторе, и я ни на минуту не сомневаюсь, что все это правда.

Рассказ Анжелики заронил в душу Вероники искру, которая скоро разгорелась в желание расспросить старуху об Ансельме и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут фрау Рауэрин, что она живет в отдаленной улице у Озерных ворот, бывает наверное дома по вторникам, средам и пятницам от семи часов вечера и всю ночь до солнечного восхода и любит, чтоб приходили одни, без свидетелей. Была как раз среда, и Вероника решила, под предлогом проводить своих гостей, пойти к старухе, что ей и удалось. Простившись у Эльбского моста с приятельницами, жившими в Новом городе, она поспешила к Озерным воротам и скоро очутилась в указанной ей пустынной узкой улице, а в конце ее увидела маленький красный домик, в котором, по описанию, должна была жить фрау Рауэрин. Она не могла отделаться от какого-то жуткого чувства, от какого-то внутреннего содрогания, когда остановилась перед дверью этого дома. Наконец, собравшись с духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она

дернула за звонок, после чего дверь отворилась, и через темные сени пробралась ощупью к лестнице, которая вела в верхний этаж, как описывала Анжелика.

– Не живет ли здесь фрау Рауэрин? – крикнула она в пустоту, так как никто не показывался; вместо ответа раздалось продолжительное звонкое мяуканье, и большой черный кот, выгибая спину и волнообразно вертя хвостом, с важностью прошел перед нею к комнатной двери, которая отворилась вслед за вторым мяуканьем.

– Ах, дочка, да ты уже здесь! Иди сюда, сюда! – так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле. Длинная, худая, в черные лохмотья закутанная женщина! Когда она говорила, ее выдающийся острый подбородок трясся, беззубый рот, осененный сухим ястребиным носом, осклаблялся в улыбку и светящиеся кошачьи глаза бросали искры сквозь большие очки. Из-под пестрого, обернутого вокруг головы платка выглядывали черные щетинистые волосы и – чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным – два больших ожога перерезывали левую щеку до самого носа. У Вероники захватило дыхание, и крик, который должен был вырваться из сдавленной груди, перешел в глубокий вздох, когда костлявая рука старухи схватила ее и ввела в комнату. Здесь все двигалось и возилось, визжало, пищало, мяукало и гоготало. Старуха ударила кулаком по столу и закричала:

– Тише вы, сволочь! – И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровати, и морские свинки побежали за печку, а ворон вспорхнул на круглое зеркало; только черный кот, как будто окрик старухи его нисколько не касался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вскочил, как только вошел. Когда все утихло, Вероника ободрилась, ей уже не было так жутко, как там, в сенях, и даже сама женщина не казалась уже ей такою ужасной. Теперь только она оглядела комнату. Отвратительные чучела каких-то животных свешивались с потолка, на полу валялась какая-то необыкновенная посуда, а в камине горел скудный голубоватый огонь, изредка вспыхивавший желтыми искрами; когда он вспыхивал, сверху раздавался какой-то шум, и противные летучие мыши, будто с искаженными смеющимися человеческими лицами, носились туда и сюда; иногда пламя поднималось и лизало закоптелую стену, и тогда раздавались резкие, пронзительные вопли, так что Веронику снова охватил томительный страх.

– С вашего позволения, барышня, – сказала старуха, ухмыляясь, схватила большое помело и, окунув его в медный котел, брызнула в камин.

Огонь потух, и в комнате стало совершенно темно, как от густого дыма; но скоро старуха, вышедшая в другую каморку, вернулась с зажженной свечой, и Вероника уже не увидела ни зверей, ни странной утвари – это была обыкновенная бедно убранная комната. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом:

– Я уж знаю, дочка, чего ты от меня хочешь; ну что ж, ты узнаешь, выйти ли тебе замуж за Ансельма, когда он сделается надворным советником. – Вероника онемела от изумления и испуга, но старуха продолжала: – Ведь ты уж мне все рассказала дома у папаши, когда перед тобой стоял кофейник, – ведь я была кофейником, разве ты меня не узнала? Слушай, дочка! Оставь, оставь Ансельма, это скверный человек, он потоптал моих деток, моих милых деток – краснощечие яблочки, которые, когда люди их купят, опять перекатываются из их мешков в мою корзину. Он связался со стариком; он третьего дня облил мне лицо проклятым аурунигментом, так что я чуть не ослепла; посмотри, еще видны следы от ожога. Брось его, брось! Он тебя не любит, ведь он любит золотисто-зеленую змею; он никогда не сделается надворным советником, он поступил на службу к саламандрам и хочет жениться на зеленой змее. Брось его, брось!

Вероника, которая, собственно, обладала твердым и стойким характером и умела скоро преодолевать девичий страх, отступила на шаг назад и сказала серьезным решительным тоном:

– Старуха! я слышала о вашей способности видеть будущее и потому хотела – может быть, с лишним любопытством и опрометчиво – узнать от вас, будет ли когда-нибудь моим господин Ансельм, которого я люблю и уважаю. Если же вы хотите, вместо того чтобы исполнить мое желание, дразнить меня вашей бессмысленной болтовней, то вы поступаете нехорошо, потому что я от вас хотела только того, что, как я знаю, от вас получили другие. Так как вы, по-видимому, знаете мои сокровеннейшие мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне многое, что меня тревожит и мучит, но, судя по вашим глупым клеветам на доброго Ансельма, мне от вас больше ждать нечего. Доброй ночи!

Вероника хотела уйти, но старуха, плача и вопя, бросилась перед нею на колени и, удерживая девушку за платье, воскликнула:

– Вероника, дитя мое, разве ты не узнаешь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках, холила и ласкала?

Вероника едва верила глазам, потому что она в самом деле узнала свою – правда, очень изменившуюся от старости и особенно от ожогов – бывшую няньку, которая много уж лет тому назад исчезла из дома конфектора Паульмана. Старуха теперь выглядела уже совсем иначе; вместо гадкого пестрого платка на ней был почтенный чепец, а вместо черных лохмотьев – платье с крупными цветами, какое она обыкновенно носила прежде. Она встала с пола и, обняв Веронику, продолжала:

– Все, что я тебе сказала, могло показаться тебе безумным, но, к несчастью, все это правда. Ансельм сделал мне много зла, но против своей воли; он попал в руки архивариуса Линдгорста, и тот хочет женить его на своей дочери. Архивариус – мой величайший враг, и я могла бы рассказать тебе про него многое, но ты бы не поняла, или же это было бы для тебя слишком страшно. Он ведун, но ведь и я ведуныя – в этом все дело! Я теперь вижу, что ты очень любишь Ансельма, и я буду помогать тебе всеми силами, чтобы ты была вполне счастлива и добрым порядком вступила в брак, как ты этого желаешь.

– Но скажи мне, ради бога, Лиза!.. – воскликнула Вероника.

– Тише, дитя, тише! – прервала со старуха. – Я знаю, что ты хочешь сказать; я сделалась такою, потому что должна была сделаться, я не могла иначе. Ну, так вот – я знаю средство, которое вылечит Ансельма от глупой любви к зеленой змее и приведет его как любезнейшего надворного советника в твои объятия; но ты сама должна мне помочь.

– Скажи мне только прямо, Лиза, я все сделаю, потому что я очень люблю Ансельма, – едва слышно пролепетала Вероника.

– Я знаю, – продолжала старуха, – что ты смелое дитя, – напрасно, бывало, я страшила тебя букою, ты только больше раскрывала глаза, чтоб видеть, где бука; ты ходила без свечки в самую далекую комнату и часто в отцовском пудермантеле пугала соседских детей. Ну, так если ты в самом деле хочешь посредством моего искусства преодолеть архивариуса Линдгорста и зеленую змею, если ты в самом деле хочешь назвать Ансельма, надворного советника, своим мужем, так уходи тихонько из дому в будущее равноденствие в одиннадцать часов, ночью, и приходи ко мне; я тогда пойду с тобою на перекресток, здесь недалеко, в поле; мы приготовим что нужно, и все чудесное, что ты, может быть, увидишь, не повредит тебе. А теперь, дочка, покойной ночи, папа уж ждет за ужином.

Вероника поспешила домой в твердом намерении не пропустить ночи равноденствия, потому что, думала она: «Лиза права, Ансельм запутался в таинственные сети, но я освобожу его оттуда и назову его своим навсегда; мой он есть и моим останется, надворный советник Ансельм».

Виигилия шестая

Сад архивариуса Линдгорста с птицами-пересмешниками. – Золотой горшок. – Английский косой почерк. – Скверные кляксы. – Князь духов.

«Но может быть и то, – сказал самому себе студент Ансельм, – что превосходнейший крепкий желудочный ликер, которым я с некоторою жадностью наслаждался у мосье Конради, создал все эти безумные фантазмы, которые мучили меня перед дверью архивариуса Линдгорста. Поэтому я сегодня останусь в совершенной трезвости и не поддамся всем дальнейшим неприятностям, с которыми я мог бы встретиться». Как и тогда, в первое свое посещение архивариуса Линдгорста, он забрал все свои рисунки и каллиграфические образцы, свою тушь, свои хорошо очиненные перья и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг ему бросилась в глаза склянка с желтою жидкостью, которую он получил от архивариуса Линдгорста. Тут все пережитые им удивительные приключения в пламенных красках прошли по его душе, и несказанное чувство блаженства и скорби прорвалось через его грудь. Невольно воскликнул он самым жалостным голосом: «Ах, не иду ли я к архивариусу затем лишь, чтобы видеть тебя, дорогая, милая Серпентина!» В это мгновение ему представлялось, что любовь Серпентины могла быть наградой за трудную и опасную работу, которую он должен предпринять, и что эта работа есть не что иное, как списывание Линдгорстовых манускриптов. Что ему уже при входе в дом, или даже до того, могут встретиться всякие чудеса, как и прежде, в этом он был убежден. Он уже не думал о желудочном ликере Конради, но поскорее всунул желтую склянку в свой

жилетный карман, чтобы поступить согласно предписанию архивариуса, если бы бронзовая торговка опять вздумала скалить на него зубы. И в самом деле, не поднялся ли острый нос, не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного молотка, когда он хотел поднять его при ударе двенадцати часов? И вот, не долго думая, он брызнул жидкостью в фатальную рожу, и она разом сгладилась, и сплющилась, и превратилась в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому: «Динь-динь – входи; динь-дон – к нам в дом, живо, живо – динь-динь». Он бодро взошел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке, не зная, в которую из многих красивых дверей ему нужно постучаться; тут вышел архивариус Линдгорст в широком шлафроке и воскликнул:

– Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы наконец сдержали слово; следуйте за мною, я должен сейчас же провести вас в лабораторию. – С этими словами он быстро прошел по длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, которая вела в коридор.

Ансельм бодро шел за архивариусом; они прошли из коридора в залу, или, скорее, – в великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Магический ослепительный свет распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. Когда студент Ансельм взглядывал в кусты и деревья, ему виделись длинные проходы, тянувшиеся куда-то вдаль. В глубоком сумраке густых кипарисов белелись мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры, брызгая хрустальными лучами, которые с плеском ниспадали в блестящие чашечки лилий; странные голоса шумели и шептались в этом удивительном лесу, и повсюду струились чудные ароматы. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий. Опыренный видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял неподвижно, как заколдованный. Вдруг отовсюду раздались щебетанье и хохот, и тонкие голоски дразнили и смеялись: «Господин студент, господин студент, откуда это вы пришли? Зачем это вы так прекрасно нарядились, господин Ансельм? Или вы хотите с нами поболтать о том, как бабушка раздавила яйцо задом, а юнкер сделал себе пятно на праздничном жилете? Знаете ли вы наизусть новую арию, которой вас научил дядюшка скворец, господин Ансельм? Вы таки довольно забавно выглядите в стеклянном парике и в сапогах из почтовой бумаги!» Так кричало, хихикало и дразнило из всех углов, совсем близко от студента, который тут только заметил, что всякие пестрые птицы летали кругом него и таким образом над ним издевались. В это мгновение куст огненных лилий двинулся к нему, и он увидал, что это был архивариус Линдгорст, который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его в обман.

– Извините, почтеннейший господин Ансельм, – сказал архивариус, – что я вас задержал, но я, проходя, хотел посмотреть на тот прекрасный кактус, у которого нынешнею ночью должны распуститься цветы, – но как вам нравится мой маленький зимний сад?

– Ах, боже мой, выше всякой меры, здесь прекрасно, высокочтимый господин архивариус, – отвечал студент, – но пестрые птицы уж чересчур смеются над моим ничтожеством!

– Что тут за вранье? – сердито закричал архивариус в кусты.

Тут выпорхнул большой серый попугай и, севши около архивариуса на миртовую ветку и с необыкновенною серьезностью и важностью смотря на него через очки, сидевшие на кривом клюве, протрещал:

– Не гневайтесь, господин архивариус, мои озорники опять расшалились, но господин студент сам в этом виноват, потому что...

– Тише, тише! – прервал архивариус старика. – Я знаю негодяев, но вам бы следовало держать их лучше в дисциплине, мой друг! Пойдемте дальше, господин Ансельм.

Еще через многие чудно убранные комнаты прошел архивариус, и студент едва поспевал за ним, бросая беглый взгляд на блестящую, странного вида мебель и другие неведомые ему вещи, которыми все было наполнено. Наконец они вошли в большую комнату, где архивариус остановился, поднял взоры вверх, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изумрудные листья; посредине комнаты на трех из темной бронзы вылитых египетских львах лежала порфиновая доска, а на ней стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального

золота играли всякие образы; иногда он видел самого себя с стремительно простертыми руками – ах! около куста бузины... Серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ансельм был вне себя от безумного восторга.

– Серпентина, Серпентина! – закричал он громко; тогда архивариус Линдгорст быстро обернулся и сказал:

– Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь, но она совсем в другой половине моего дома, в своей комнате, и теперь у нее урок музыки. Пойдемте дальше.

Ансельм почти бессознательно последовал за архивариусом; он уж больше ничего не видел и не слышал, пока архивариус не схватил его крепко за руку и не сказал:

– Ну, теперь мы на месте.

Ансельм очнулся как бы от сна и заметил, что находится в высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами и нисколько не отличающейся от обыкновенных библиотек и кабинетов. Посередине стоял большой письменный стол и перед ним – кожаное кресло.

– Вот пока, – сказал архивариус Линдгорст, – ваша рабочая комната; придется ли вам впоследствии заниматься в той другой, голубой зале, где вы так внезапно прокричали имя моей дочери, я еще не знаю; но прежде всего я желал бы убедиться, действительно ли вы способны исполнить, согласно моему желанию и надобности, предоставленную вам работу.

Тут студент Ансельм совершенно ободрился и не без внутреннего самодовольства вынул из кармана свои рисунки и каллиграфические работы, в уверенности, что архивариус весьма обрадуется его необыкновенному таланту. Но архивариус, едва взглянув на первый лист изящнейшего английского письма, образчик косого почерка, странно улыбнулся и покачал головою. То же самое повторял он при каждом следующем листе, так что студенту Ансельму кровь бросилась в голову, и когда под конец улыбка стала совершенно насмешливой и презрительной, он не мог удержать своей досады и проговорил:

– Кажется, господин архивариус не очень доволен моими маленькими талантами?

– Любезный господин Ансельм, – сказал архивариус Линдгорст, – вы действительно обладаете прекрасными способностями к каллиграфии, но пока я ясно вижу, что мне придется рассчитывать более на ваше прилежание и на вашу добрую волю, нежели на умение. Конечно, многое зависит и от дурного материала, который вы употребляли.

Тут студент Ансельм распространился о своем всеми признанном искусстве, о китайской туши и об отменных вороновых перьях. Но архивариус Линдгорст подал ему английский лист и сказал:

– Судите сами!

Ансельм стоял как громом пораженный, – таким мизерным показалось ему его писание. Никакой округлости в чертах, ни одного правильного утолщения, никакой соразмерности между прописными и строчными буквами, и – о, ужас! – довольно удачные строки испорчены презренными кляксами, точно в тетради школьника.

– И потом, – продолжал архивариус Линдгорст, – ваша тушь тоже плохо держится. – Он окунул палец в стакан с водой, и, когда слегка дотронулся им до букв, все бесследно исчезло.

Студенту Ансельму как будто кошмар сдавил горло, – он не мог произнести ни слова. Так стоял он с несчастным листом в руках, но архивариус Линдгорст громко засмеялся и сказал:

– Не тревожьтесь этим, любезнейший господин Ансельм; чего вы прежде не могли сделать, может быть, здесь, у меня, лучше вам удастся; к тому же и материал здесь у вас будет лучше! Начинайте только смелее!

Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распроставившую совершенно особенный запах, несколько странно окрашенных, тонко очиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости, потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем, как только Ансельм сел за работу, он оставил комнату. Студент Ансельм уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. «Как попали кляксы в мое прекрасное английское письмо – это пусть ведает бог и архивариус Линдгорст, – промолвил он, – но что они не моей работы, в этом я могу поручиться головой». С каждым словом, удачно выходящим па пергаменте, возрастала его храбрость, а с нею – и умение. Да и писалось новыми перьями великолепно, и таинственные вороново-черные чернила с удивительной легкостью текли на ослепительно-белый пергамент. Когда он так прилежно и внимательно работал, ему становилось все более по душе в этой уединенной комнате, и он уже совсем освоился с занятием, которое надеялся счастливо

окончить, когда с ударом трех часов архивариус позвал его в соседнюю комнату к хорошо приготовленному обеду. За столом архивариус Линдгорст был в особенно веселом расположении духа; он расспрашивал о друзьях студента Ансельма, конректоре Паульмане и регистраторе Геербранде, и рассказывал сам, в особенности об этом последнем, много забавного. Добрый старый рейнвейн был очень по вкусу Ансельму и сделал его разговорчивее обыкновенного. При ударе четырех часов он встал, чтобы идти за работу, и эта пунктуальность, по-видимому, понравилась архивариусу. Если уже перед обедом Ансельму посчастливилось в списывание арабских знаков, то теперь работа пошла еще лучше, он даже сам не мог понять той быстроты и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письмен. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятыми словами: «Ах, разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце, если бы ты не верил в нее, в се любовь?» И тихими, тихими, лепечущими хрустальными звуками веяло по комнате: «Я к тебе близко-близко-близко! Я помогаю тебе – будь мужествен, будь постоянен, милый Ансельм! Я тружусь с тобою, чтобы ты был моим!» И он с восторгом вслушивался в эти слова, и все понятнее становились ему неведомые знаки, так что ему почти не нужно было смотреть в оригинал; даже казалось, что эти знаки уже стоят в бледных очертаниях на пергаменте и он должен только искусно покрывать их чернилами. Так продолжал он работать, обвеваемый милыми, утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило шесть часов и архивариус не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу; Ансельм молча встал; архивариус все еще смотрел на него как будто с насмешкой, но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла в глубоко-торжественной важности, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем другим. Глаза, до того сверкавшие огнем, теперь с невыразимой мягкостью смотрели на Ансельма; легкий румянец окрашивал бледные щеки, и вместо иронии, прежде сжимавшей его губы, приятный рот его как будто раскрывался для мудрой, в душу проникающей речи. Вся фигура была выше, величественнее; просторный шлафрок ложился как царская мантия в широких складках около груди и плеч, и белые кудри, окаймлявшие высокое, открытое чело, сжимались узкою золотою диадемою.

– Юноша, – начал архивариус торжественным тоном, – юноша, прежде чем ты об этом помыслил, я уже знал все тайные отношения, которые привязывают тебя к тому, что мне всего более дорого и священо! Серпентина любит тебя, и чудесная судьба, которой роковые нити ткуются враждебными силами, совершится, когда она будет твоею и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий се собственность. Но только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни. Враждебные начала нападут на тебя, и только внутренняя сила, с которою ты выступишь этим нападениям и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Работая здесь, ты выдержишь свои искус; вера и познание приведут тебя к близкой цели, если ты будешь твердо держаться того, что ты должен был начать. Будь ей верен и храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай! Архивариус Линдгорст ждет тебя завтра в двенадцать часов в своем кабинете! Прощай! – Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер, и тот очутился в комнате, в которой обедал и единственная дверь которой вела на лестницу.

Совершенно оглушенный чудесными явлениями, остановился он перед крыльцом, как вдруг над ним растворилось окошко, он поглядел вверх, – это был архивариус Линдгорст – совершенно тот старик в светло-сером сюртуке, каким он его прежде видел.

– Эй, любезный господин Ансельм, – закричал он ему, – о чем это вы так задумались, или арабская грамота не выходит из головы? Кланяйтесь господину конректору Паульману, если вы идете к нему, да возвращайтесь завтра ровно в двенадцать часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета.

Ансельм действительно нашел блестящий специес-талер в означенном кармане, но это его нисколько не обрадовало. «Что изо всего этого будет, я не знаю, – сказал он самому себе. – Но если мною и овладевает безумная мечта, если я и околдован, все-таки в моем внутреннем существе живет милая Серпентина, и я лучше совсем погибну, нежели откажусь от нее, потому что ведь я знаю, что мысль во мне вечна и никакое враждебное начало не может ее уничтожить; а что же такое эта мысль, как не любовь Серпентины?»

Вигилия седьмая

Как конректор Паульман выколачивал трубку и ушел спать. – Рембрандт и Адский Брейгель. – Волшебное зеркало и рецепт доктора Экштейна против неизвестной болезни.

Наконец конректор Паульман выбил золу из своей трубки и прибавил:

– А пора и на покой!

– Конечно! – отвечала Вероника, обеспокоенная тем, что отец засиделся, потому что уже давно пробило десять часов. И только что конректор перешел в свою спальню, служившую ему и кабинетом, а более тяжелое дыхание Френцхен возвестило об ее действительном и крепком сне, как Вероника, которая тоже для виду легла в постель, тихонько встала, оделась, набросила на себя плащ и прокралась на улицу. С той минуты как Вероника оставила старую Лизу, Ансельм непрерывно стоял у нее перед глазами, и она сама не знала, какой чужой голос внутри нее беспрестанно повторял ей, что его сопротивление происходит от какого-то враждебного ей лица, державшего его в оковах, которые она может разбить с помощью таинственных средств магического искусства. Ее доверие к старой Лизе росло с каждым днем, и даже прежнее впечатление чего-то недоброго и страшного так притулилось, что все странное и чудесное в ее отношениях со старухой являлось ей лишь в свете необычайного и романического, что ее особенно привлекало. Поэтому она твердо стояла на своем намерении относительно ночного похождения в равноденствие, даже с опасностью попасть в тысячу неприятностей, если ее отсутствие дома будет замечено. Наконец эта роковая ночь, в которую старая Лиза обещала ей помощь и утешение, наступила, и Вероника, давно освоившаяся с мыслию о ночном странствии, чувствовала себя совершенно бодрою. Как стрела промчалась она по пустынным улицам, не обращая внимания на бурю и на ветер, бросавший ей в лицо крупные капли дождя. Глухим гудящим звуком пробил колокол Крестовой башни одиннадцать часов, когда Вероника, совсем промокшая, стояла перед домом старухи.

– Ах, голубушка, голубушка, уж здесь! Ну, погоди, погоди! – раздалось сверху, и вслед за тем старуха, нагруженная корзиной и сопровождаемая своим котом, уже стояла у дверей. – Ну, мы и пойдем и сделаем все, что нужно, и будет нам удача в эту ночь, потому что для этого дела она благоприятна, – говоря так, старуха схватила Веронику своею холодною рукою и дала ей нести тяжелую корзину, а сама достала котел, треножник и заступ.

Когда они вышли в поле, дождь перестал, но буря была еще сильнее; тысячи голосов завывали в воздухе. Страшный, раздирающий сердце вопль раздавался из черных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали все густым мраком. Но старуха быстро шагала, восклицая пронзительным голосом: «Свети, свети, сынок!» Тогда перед ними начали змеиться и скрещиваться голубые молнии, и тут Вероника заметила, что это кот прыгал кругом них, светясь и брызгая трескучими искрами, и что это его жуткий тоскливый вопль она слышала, когда буря умолкала на минуту. У нее захватывало дух, ей казалось, что ледяные когти впиваются в ее сердце, но она сделала над собою усилие и, крепче цепляясь за старуху, проговорила:

– Нужно все исполнить, и будь что будет!

– Так, так, дочка, – отвечала старуха, – будь только постоянна, и я подарю тебе кое-что хорошенькое да еще Ансельма в придачу!

Наконец старуха остановилась и сказала:

– Ну вот мы и на месте! – Она вырыла в земле яму, насыпала в нее углей, поставила над ними треножник, а на него – котел. Все это она сопровождала странными жестами, а кот кружился около нее. Из его хвоста брызгали искры, образуя огненное кольцо. Скоро угли затлелись, и наконец голубое пламя пробилось под треножником. Вероника должна была снять плащ и покрывало и сесть на корточки возле старухи, которая схватила ее руки и крепко их сжала, уставясь на девушку сверкающими глазами. Тут те странные тела, которые старуха вынула из корзины и бросила в котел, – были ли то цветы, металлы, травы или животные, этого нельзя было различить, – все они начали кипеть и шипеть в котле. Старуха оставила Веронику, схватила железную ложку, которую стала мешать в кипящей массе, а Вероника, по ее приказанию, должна была пристально глядеть в котел и направить при этом свои мысли на Ансельма. Затем старуха снова бросила в котел какие-то блестящие металлы и, сверх того, локон волос, которые Вероника отрезала с своей маковки, и маленькое колечко, которое она долго носила; при этом старуха испускала непонятные, в темноте страшно пронзительные звуки, а кот, беспрестанно кружась, визжал и вскрикивал.

Хотел бы я, благосклонный читатель, чтобы тебе пришлось 23 сентября быть на дороге к Дрездену; напрасно с наступлением позднего вечера хотели задержать тебя на последней станции; дружелюбный хозяин представлял тебе, что на дворе буря и дождь слишком сильны и что вообще неблагоприятно ехать в такую темень в ночь равноденствия; но ты на это не обратил внимания, совершенно правильно соображая: я дам почтальону целый талер на водку и не позже часа буду в Дрездене, где у «Золотого ангела», или в «Шлеме», или в «*Stadt Naumburg*»³² меня ждут хороший ужин и мягкая постель. И вот ты едешь во тьме и вдруг видишь в отдалении чрезвычайно странный, перебегающий свет. Подъехавши ближе, ты видишь огненное кольцо, а в середине его, около котла, из которого вырывается густой дым и сверкающие красные лучи и искры, – две сидящие фигуры. Дорога идет как раз через этот огонь, но лошади фыркают, топчутся и становятся на дыбы; почтальон ругается, молится и бьет лошадей – они не трогаются с места. Невольно выскакиваешь ты из экипажа и делаешь несколько шагов вперед. Тут ты ясно видишь стройную красивую девушку, которая в белом ночном платье склонилась над котлом. Буря расплела ее косы, и длинные каштановые волосы свободно развеваются по воздуху. Дивно прекрасное лицо ее освещено ослепительным огнем, выходящим из-под треножника; но страх оковал это лицо ледяным потоком; мертвенная бледность покрывает его, и в неподвижном взоре, в поднятых бровях, в устах, напрасно открытых для крика смертельной тоски, который не может вырваться из мучительно сдавленной груди, – во всем этом ты ясно видишь ее испуг, ее ужас, судорожно сжатые маленькие руки подняты вверх, как бы в мольбе к ангелам-хранителям защитить ее от адских чудовищ, которые должны сейчас явиться, повинувшись могучим чарам! Так стоит она на коленях неподвижная, точно мраморная статуя. Напротив нее сидит, согнувшись, на земле длинная, худая, медно-желтая старуха с острым ястребиным носом и сверкающими кошачьими глазами; из-под черного плаща, в который она закутана, высовываются голые костлявые руки, и, мешая в адском вареве, смеется она и кричит каркающим голосом среди рева и завывания бури. Я полагаю, любезный читатель, что как бы ты ни был бесстрашен, но и у тебя при взгляде на эту живую картину Рембрандта или Адского Брейгеля волосы встали бы дыбом. Но взор твой не мог оторваться от подпавшей адскому наваждению девушки, и электрический удар, прошедший через все твои нервы и фибры, с быстротою молнии зажег в тебе отважную мысль противостоять таинственным силам огненного круга; эта мысль поглотила весь твой страх, из которого она же сама и возникла. Тебе представилось, что ты сам – один из ангелов-хранителей, которым молится смертельно испуганная девушка, что ты должен немедленно вынуть свой карманный пистолет и без дальнейших разговоров убить наповал старуху. Но, живо помышляя об этом, ты громко воскликнул: «Гейда!» или: «Что там такое?» или: «Что вы там делаете?» Тут почтальон громко затрубил в свой рог, старуха опрокинулась в свое варево, и все разом исчезло в густом дыму. Нашел ли бы ты теперь девушку, отыскивая ее в темноте с самым горячим желанием, – этого я сказать не могу, но чары старухи ты бы разрушил и разрешил бы заклятие магического круга, в который Вероника так легкомысленно вступила. Но ни ты, благосклонный читатель, ни другой кто не шел и не ехал той дорогой 23 сентября в бурную и для колдовства благоприятную ночь, и Вероника должна была в мучительном страхе ждать у котла окончания дела. Она слышала, как вокруг нее ревело и завывало наперерыв; как всякие противные голоса мычали и трещали, но она не поднимала глаз, чувствуя, что вид тех ужасов и уродств, которые ее окружали, мог повергнуть ее в гибельное неисцелимое безумие. Старуха перестала мешать в котле, все слабее и слабее становился дым, а под конец только легкое спиртовое пламя еще горело на дне котла. Тогда старуха закричала:

– Вероника, дитя мое милое, смотри туда, на дно, что ты там видишь? Что ты там видишь?

Но Вероника не могла ответить, хотя ей и казалось, что различные смутные фигуры вертятся в котле; но вот все яснее и яснее стали выступать образы, и вдруг из глубины котла вышел студент Ансельм, дружелюбно смотря на нее и протягивая ей руку. Тогда она громко воскликнула:

– Ах, Ансельм, Ансельм!

Старуха быстро отворила кран у котла, и расплавленный металл, шипя и треща, потек в маленькую форму, которую она подставила. Старуха вскочила с места и, вертась с дикими, отвратительными телодвижениями, закричала:

³² «Город Наумбург» (нем.).

– Кончено дело! Спасибо, сынок! Хорошо сторожил – фуй, фуй! Он идет! Кусай его! Кусай его!

Но тут сильно зашумело в воздухе, как будто огромный орел спускался, махая крыльями, и страшный голос закричал:

– Эй вы, сволочь! Ну, живей! Прочь скорей! Прочь скорей!

Старуха с воем упала на землю, а Вероника лишилась памяти и чувств. Когда она пришла в себя, был день, она лежала в своей кровати, и Френцхен стояла перед нею с дымящеюся чашкою чая и говорила:

– Скажи, сестрица, что с тобою? Вот уже больше часа я стою здесь, а ты лежишь, как в горячке, без сознания и так стонешь и охаешь, что нам становится страшно. Отец из-за тебя не пошел на урок и сейчас придет сюда с доктором.

Вероника молча взяла чай, и, пока она его глотала, ужасные картины этой ночи живо представились ее глазам. «Так неужели все это был только страшный сон, который меня мучил? Но я ведь вчера вечером действительно пошла к старухе, ведь это было двадцать третьего сентября? Или, может быть, я еще вчера заболела и мне все это вообразилось, а заболела я от постоянных размышлений об Ансельме и о чудной старухе, которая выдавала себя за Лизу и этим меня обманывала».

Тут вышедшая перед тем Френцхен вернулась в комнату, держа в руках совершенно промокший плащ Вероники.

– Посмотри, сестрица, что случилось с твоим плащом, – сказала она, – должно быть, буря ночью растворила окно и опрокинула стул, на котором висел твой плащ, и вот он весь промок от дождя.

Тяжело запало это Веронике в сердце, потому что ей теперь ясно представилось, что это не сон ее мучил, а что она действительно была у старухи. Томительный страх охватил ее, и лихорадочный озноб прошел по всем ее членам. С судорожною дрожью натянула она на себя одеяло и при этом почувствовала что-то твердое у себя на груди; схватившись рукою, она как будто ощущала медальон; когда Френцхен с плащом ушла, она его вынула и увидела маленькое круглое, гладко полированное металлическое зеркало.

– Это подарок старухи! – воскликнула она с живостью, и как будто огненные лучи пробились из зеркала в ее грудь и благотворно согрели ее. Лихорадочный озноб прошел, и всю ее проникло несказанное чувство удовольствия и неги. Она поневоле думала об Ансельме, и, когда она все сильнее и сильнее направляла на него свою мысль, он дружелюбно улыбался ей из зеркала, как живой миниатюрный портрет. Но скоро ей представилось, что она видит уже не изображение, а самого студента Ансельма, живого. Он сидит в высокой, странно убранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к нему, ударить его по плечу и сказать: «Господин Ансельм, оглянитесь, ведь я здесь!» Но это никак не удавалось, потому что его как будто окружал светлый огненный поток, хотя, когда Вероника хорошенько вглядывалась, она видела только большие книги с золотым обрезом. Но наконец Веронике удалось взглянуть Ансельму в глаза. Тогда он как будто очнулся, только теперь вспомнил ее и, улыбаясь, сказал: «Ах, это вы, любезная *mademoiselle* Паульман! Но почему же вам угодно иногда извиваться, как змейке?» Вероника громко засмеялась этим странным словам; вслед за тем она очнулась как бы от глубокого сна и поспешно спрятала маленькое зеркало, когда дверь отворилась и в комнату вошел конректор Паульман с доктором Экштейном. Доктор Экштейн тотчас же подошел к кровати, ощупал пульс Вероники, погрузился в глубокое размышление и затем сказал: «Ну! Ну!» Засим он написал рецепт, еще раз взял пульс, опять сказал: «Ну! Ну!» – и оставил пациентку. Но из этих заявлений доктора Экштейна конректор Паульман никак не мог заключить, чем, собственно, страдала Вероника.

Вигилия восьмая

Библиотека с пальмами. – Судьба одного несчастного Саламандра. – Как черное перо любезничало с свекловицею, а регистратор Геербранд весьма напился.

Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Линдгорста; эти рабочие часы были счастливейшими часами его жизни, потому что здесь, всегда обвеянный милыми звуками, утешительными словами Серпентины, – причем даже его иногда как будто касалось слегка ее мимолетное дыхание, – он чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытанную

приятность, часто достигавшую высочайшего блаженства. Всякая нужда, всякая мелкая забота его скудного существования исчезла из его головы, и в новой жизни, взошедшей для него как бы в ясном солнечном блеске, он понял все чудеса высшего мира, вызывавшие в нем прежде только удивление или даже страх. Списывание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он наносит на пергамент только давно уже известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Архивариус появлялся изредка и кроме обеденного времени, но всегда лишь в то именно мгновение, когда Ансельм оканчивал последние строки какой-нибудь рукописи, и давал ему другую, а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, а только помешавши в чернилах какую-то черною палочкою и обменявши старые перья на новые, тоньше очиненные. Однажды, когда Ансельм с боем двенадцати часов взошел на лестницу, он нашел дверь, через которую он обыкновенно входил, запертою, и архивариус Линдгорст показался с другой стороны в своем странном шлафроке с блестящими цветами. Он громко закричал:

– Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм, потому что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы Бхагаватгиты. – Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз.

Студент Ансельм снова подивился чудному великолепию сада, но теперь уже ясно видел, что многие странные цветы, висевшие на темных кустах, были, собственно, разноцветными блестящими насекомыми, которые махали крылышками и, кружась и танцуя, казалось, ласкали друг друга своими хоботками. Наоборот, розовые и небесно-голубые птицы оказывались благоухающими цветами, и аромат, ими распространяемый, поднимался из их чашечек в тихих приятных звуках, которые смешивались с плеском далеких фонтанов, с шелестом высоких кустов и деревьев в таинственные аккорды глубокой тоски и желания. Птицы-пересмешники, которые так дразнили его и так издевались над ним в первый раз, опять запорхали кругом него, беспрестанно крича своими тоненькими голосками: «Господин студент, господин студент! не спешите так, не зевайте на облака, а то, пожалуй, упадете и нос расшибете – нос расшибете. Ха, ха! Господин студент, наденьте-ка пудермантель, кум филин завьет вам тупой». Так продолжалась глупая болтовня, пока Ансельм не оставил сада. Архивариус Линдгорст наконец вошел в лазурную комнату; порфир с золотым горшком исчез, вместо него посередине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом – такое же бархатное кресло.

– Любезный господин Ансельм, – сказал архивариус Линдгорст, – вы уже списали много рукописей быстро и правильно, к моему великому удовольствию; вы приобрели мое доверие; но теперь остается еще самое важное, а именно: нужно списать, или, скорее, срисовать кое-какие особенными знаками написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате и которые могут быть списаны только на месте. Поэтому вы будете работать здесь, но я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность: неверная черта или, чего боже сохрани, чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастье.

Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовывались маленькие изумрудно-зеленые листья; архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пергаментный сверток, который архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Ансельм немало подивился на странно сплетавшиеся знаки, и при виде множества точек, черточек, штрихов и закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то мхи, то животных, он почти лишился надежды срисовать все это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления.

– Смелее, молодой человек! – воскликнул архивариус. – Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так Серпентина тебе поможет! – Его голос звучал, как звенящий металл, и, когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Линдгорст стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении, в библиотеке.

Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут архивариус Линдгорст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов, который теперь удалился в свой кабинет для того, может быть, чтобы побеседовать с лучами – послами каких-нибудь планет – о том, что должно случиться с ним и с дорогой Серпентиной. «А может быть, также, – думал он далее, – его ожидают новости с источников Нила или визит какого-нибудь чародея из Лапландии, – мне же подобает усердно приняться за работу». И с этим он начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвевала его приятными сладкими ароматами; слышал он и хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал, что ему было весьма по душе. Иногда будто шумели

изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые слышал под кустом бузины в тот роковой день вознесения. Студент Ансельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента, и скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова: «О браке Саламандра с зеленою змеею». Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. «Ансельм, милый Ансельм!» – повеяло из листьев, и – о, чудо! – но стволу пальмы спускалась, извиваясь, зеленая змейка.

– Серпентина! дорогая Серпентина! – воскликнул Ансельм в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он увидел, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанною любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его.

Листья будто опускались и расширялись, отовсюду из стволов показывались колючки, но Серпентина искусно вилась и змеилась между ними, влача за собою свое развевающееся блестящее переливчатое платье так, что оно, прилегая к стройному телу, нигде не цеплялось за иглы и колючки дерев. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так, что он ощущал ее дыхание, ощущая электрическую теплоту ее тела.

– Милый Ансельм, – начала Серпентина, – теперь ты скоро будешь совсем моим; ты добудешь меня своею верою, своею любовью, и я дам тебе золотой горшок, который нас обоих осчастливит навсегда.

– Милая, дорогая Серпентина, – сказал Ансельм, – когда я буду владеть тобою, что мне до всего остального? Если только ты будешь моею, я готов хоть совсем пропасть среди всех этих чудес и диковин, которые меня окружают с тех пор, как я тебя увидел.

– Я знаю, – продолжала Серпентина, – что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда, ради своего каприза, поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх; но теперь, я надеюсь, этого уже больше не будет: ведь я пришла сюда в эту минуту затем, милый Ансельм, чтобы рассказать тебе из глубины души и сердца все в подробности, что тебе нужно знать, чтобы понимать моего отца и чтобы тебе было ясно все касающееся его и меня.

Ансельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело проникнутым дорогим существом, что он только вместе с нею мог дышать и двигаться, и как будто только се пульс трепетал в его фибрах и нервах; он вслушивался в каждое ее слово, которое отдавалось в глубине его души и, точно яркий луч, зажигало в нем небесное блаженство. Он обнял рукою ее гибкое тело, но блестящая переливчатая материя ее платья была так гладка, так скользка, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепетал при этой мысли.

– Ах, не покидай меня, дорогая Серпентина, – невольно воскликнул он, – только в тебе жизнь моя!

– Не покину тебя сегодня, – сказала она, – пока не расскажу тебе всего того, что ты можешь понять в своей любви ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудесного племени Саламандров и что я обязана своим существованием его любви к зеленой змее. В древние времена царил в волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, которому служили стихийные духи. Один из них, его любимый Саламандр (это был мой отец), гуляя однажды по великолепному саду, который мать Фосфора украсила своими лучшими дарами, подслушал, как высокая лилия тихим голосом пела: «Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный, восточный ветер, тебя не разбудит!» Он подошел; тронутая его пламенным дыханием, лилия раскрыла листки, и он увидел ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка. Тогда Саламандр был охвачен пламенной любовью к прекрасной змее и похитил ее у лилии, которой ароматы тщетно разливались по всему саду в несказанных жалобах по возлюбленной дочери. А Саламандр унес ее в замок Фосфора и молил его: «Сочетай меня с возлюбленной, потому что она должна быть моею вечно». – «Безумец, чего ты требуешь? – сказал князь духов. – Знай, что некогда лилия была моею возлюбленною и царствовала со мною, но искра, которую я заронил в нее, грозила ее уничтожить, и только победа над черным драконом, которого теперь земные духи держат в оковах, сохранила лилию, и ее листья достаточно окрепли, чтобы удержать и хранить в себе искру. Но, когда ты обнимешь зеленую змею, твой жар истребит тело, и новое существо, быстро зародившись, улетит от тебя». Саламандр не послушался предостережений владыки; полный пламенного желания, заключил он зеленую змею в свои объятия, она распалась в пепел, и из пепла рожденное крылатое существо с шумом поднялось на воздух. Тут обезумел Саламандр от отчаяния, и побежал он, брызжа огнем и

пламенем, по саду и опустошил его в диком бешенстве так, что прекраснейшие цветы и растения падали спаленные, и их вопли наполняли воздух. Разгневанный владыка духов схватил Саламандра и сказал: «Отбушевал твой огонь, потухло твое пламя, ослепли твои лучи, – ниспади теперь к земным духам, пусть они издеваются над тобою, и дразнят тебя, и держат в плену, пока снова не возгорится огненная материя и не прорвется из земли с тобою как новым существом». Бедный Саламандр, потухший, ниспал, по тут выступил старый ворчливый земной дух, бывший садовником у Фосфора, и сказал: «Владыка, кому больше жаловаться на Саламандра, как мне? Не я ли украсил моими лучшими металлами прекрасные цветы, которые он спалил? Не я ли усердно сохранял и лелеял их зародыши и потратил на них столько чудных красок? И все же я заступлюсь за бедного Саламандра; ведь только любовь, которую и ты, владыка, не раз изведаль, привела его к тому отчаянию, в котором он опустошил твой сад. Избавь же его от тяжкого наказания!» – «Его огонь теперь потух, – сказал владыка духов, – но в то несчастное время, когда язык природы не будет более понятен выродившемуся поколению людей, когда стихийные духи, замкнутые в своих областях, будут лишь издали в глухих отзвучиях говорить с человеком, когда ему, оторвавшемуся от гармонического круга, только бесконечная тоска будет давать темную весть о волшебном царстве, в котором он некогда обитал, пока вера и любовь обитали в его душе, – в это несчастное время вновь возгорится огонь Саламандра, но только до человека разовьется он и, вступив в скудную жизнь, должен будет переносить все ее стеснения. Но не только останется у него воспоминание о его прежнем бытии, он снова заживет в священной гармонии со всею природою, будет понимать ее чудеса, и могущество родственных духов будет в его распоряжении. В кусте лилий он снова найдет зеленую змею, и плодом их сочетания будут три дочери, которые будут являться людям в образе своей матери. В весеннее время будут они качаться на темном кусте бузины, и будут звучать их чудные хрустальные голоса. И если тогда, в это бедное, жалкое время внутреннего огрубения и слепоты, найдется между людьми юноша, который услышит их пение, если одна из змеек посмотрит на него своими прелестными глазами, если этот взгляд зажжет в нем стремление к далекому чудному краю, к которому он сможет мужественно вознестись, лишь только он сбросит с себя бремя пошлой жизни, если с любовью к змейке зародится в нем живая и пламенная вера в чудеса природы и в его собственное существование среди этих чудес, – тогда змейка будет принадлежать ему. Но не прежде, чем найдутся три таких юноши и сочетаются с тремя дочерьми, можно будет Саламандру сбросить его тяжелое бремя и вернуться к братьям». – «Позволь мне, владыка, – сказал земной дух, – сделать дочерям подарок, который украсит их жизнь с обретенным супругом. Каждая получит от меня по горшку из прекраснейшего металла, каким я обладаю; я вылошу его лучами, взятыми у алмаза; пусть в его блеске ослепительно-чудесно отражается наше великолепное царство, каким оно теперь находится в созвучии со всею природою, а изнутри его в минуту обручения пусть вырастет огненная лилия, которой вечный цвет будет обвеивать испытанного юношу сладким ароматом. Скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства и сам будет жить с возлюбленною в Атлантиде». Ты уже знаешь, милый Ансельм, что мой отец есть тот самый Саламандр, о котором я тебе рассказывала. Он должен был, несмотря на свою высшую природу, подчиниться всем мелким условиям обыкновенной жизни, и отсюда проистекают его злорадные капризы, которыми он многих дразнит. Он часто говорил мне, что для тех духовных свойств, которые были тогда указаны князем духов Фосфором как условия обручения со мною и с моими сестрами, теперь имеется особое выражение, которым, впрочем, часто неуместно злоупотребляют, а именно – это называется наивной поэтической душой. Часто такую душу обладают те юноши, которых, по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского образования, толпа презирает и осмеивает. Ах, милый Ансельм! Ты ведь понял под кустом бузины мое пение, мой взор, ты любишь зеленую змейку, ты веришь в меня и хочешь моим быть навеки. Прекрасная лилия расцветет в золотом горшке, и мы будем счастливо, соединившись, жить блаженною жизнью в Атлантиде. Но я не могу скрыть от тебя, что в жестокой борьбе с саламандрами и земными духами черный дракон вырвался из оков и пронесся по воздуху. Хотя Фосфор опять заключил его в оковы, но из черных перьев, попадавших во время битвы на землю, народились враждебные духи, которые повсюду противоборствуют саламандрам и духам земли. Та женщина, которая тебе так враждебна, милый Ансельм, и которая, как моему отцу это хорошо известно, стремится к обладанию золотым горшком, обязана своим существованием любви одного из этих драконовых перьев к какой-то свекловице. Она сознает свое происхождение и свою силу, так как в столах и судорогах пойманного дракона ей открылись тайны чудесных созвездий, и она употребляет все средства, чтобы действовать извне

внутри, тогда как мой отец, напротив, сражается с нею молниями, вылетающими изнутри Саламандра. Все враждебные начала, обитающие в зловредных травах и ядовитых животных, она собирает и, смешивая их при благоприятном созвездии, вызывает много злых чар, наводящих страх и ужас на чувства человека и отдающих его во власть тех демонов, которых произвел пораженный дракон во время битвы. Берегись старухи, милый Ансельм, она тебе враждебна, так как твой детски чистый нрав уже уничтожил много ее злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели!

– О моя, моя Серпентина! – воскликнул студент Ансельм. – Как бы мог я тебя оставить, как бы мог я не любить тебя вечно!

Тут поцелуй запылал на его устах; он очнулся как бы от глубокого сна; Серпентина исчезла, пробило шесть часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал; он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и – о, чудо! – копия таинственного манускрипта была счастливо окончена, и, пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце – любимце князя духов Фосфора в волшебной стране Атлантиде. Тут вошел сам архивариус Линдгорст в своем светло-сером плаще, со шляпою на голове и палкой в руках; он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент, взял сильную щепотку табаку и, улыбаясь, сказал:

– Так я и думал! Ну, вот ваш специес-талер, господин Ансельм, теперь мы можем еще пойти к Линковым купальням, – за мною! – Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум – пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Геербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки; регистратор Геербранд сожалел, что не взял с собою огнива, но архивариус Линдгорст с досадой воскликнул:

– Какого там еще огнива! Вот вам огня сколько угодно! – И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки.

– Смотрите, какой химический фокус! – сказал регистратор Геербранд, но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о Саламандре. В Линковых купальнях регистратор Геербранд – вообще человек добродушный и спокойный – выпил так много крепкого пива, что начал петь пискливым тенором студенческие песни и у всякого спрашивал с горячностью: друг ли он ему или нет? – пока наконец не был уведен домой студентом Ансельмом, после того как архивариус Линдгорст уже давно ушел.

Вигилия девятая

Как студент Ансельм несколько образумился. – Компания за пуншем. – Как студент Ансельм принял конфектора Паульмана за филина и как тот весьма за это рассердился. – Чернильное пятно и его следствия.

Все странное и чудесное, ежедневно происходившее со студентом Ансельмом, совершенно вырвало его из обыкновенной жизни. Он не видался ни с кем из своих друзей и каждое утро с нетерпением ждал двенадцатого часа, открывавшего ему его рай. Но все же, хотя вся его душа была обращена к дорогой Серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса Линдгорста, он иногда невольно думал о Веронике, и ему не раз даже казалось, будто она приближается к нему и, краснея, признается, как сердечно она его любит и как все помышляет о том, чтобы вырвать его у тех фантомов, которые его только дразнят и издеваются над ним. Иногда будто чуждая, внезапно налетающая на него сила неудержимо тянула его к забытой Веронике, и он должен был следовать за нею, куда она хотела, как будто он был прикован к этой девушке. Как раз в ночь после того дня, когда он впервые увидел Серпентину в образе прелестной девы и когда ему открылась чудесная тайна о браке Саламандра с зеленою змеею, – как раз в следующую за тем ночь Вероника живет, чем когда-либо, явилась его глазам.

Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон, а то он был уверен, что Вероника действительно была у него и жаловалась в выражениях глубокой скорби, проникавших в его душу, что он приносит ее сердечную любовь в жертву фантастическим явлениям, порожденным его внутренним расстройством и имеющим, сверх того, повергнуть его в несчастье и гибель. Вероника была приятнее, чем когда-либо; он никак не мог изгнать ее из мыслей; это состояние было мучительно, и он думал избавиться от него утренней прогулкой. Тайная магическая сила

увлекла его к Пирнаским воротам, и только что он хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман, догоняя его, громко закричал:

– Эй, эй, почтеннейший господин Ансельм! *Amice*³³! *Amice*! Где это вы пропадаете, скажите, ради бога? Вас совсем не видать. Знаете, что Вероника страдает от желания еще раз петь с вами? Ну, идемте же, ведь вы ко мне шли!

Студент Ансельм поневоле пошел с конректором. При входе в дом их встретила Вероника, очень заботливо одетая, так что конректор Паульман в удивлении спросил:

– Что так нарядилась? Разве ждала гостей? А вот я и веду тебе господина Ансельма!

Когда студент Ансельм учтиво и любезно поцеловал руку Вероники, он почувствовал легкое пожатие, которое, как огненный поток, прошло по его нервам. Вероника была сама веселость, сама приятность, и, когда Паульман ушел в свой кабинет, она сумела разными лукавыми проделками так расшевелить Ансельма, что он, забыв всякую робость, стал играть и бегать с резвой девушкой по комнате. Но тут на него опять напал демон неловкости, он ударился об стол и хорошенький рабочий ящичек Вероники упал на пол. Ансельм поднял его, крышка отскочила, и ему бросилось в глаза маленькое круглое металлическое зеркало, в которое он стал смотреть с особенным наслаждением. Вероника тихонько прокралась к нему сзади, положила свою руку ему на спину и, прижимаясь к нему, через его плечо стала также смотреть в это зеркало. Тогда внутри Ансельма как будто началась борьба; мысли, образы мелькали и исчезали – архивариус Линдгорст – Серпентина – зеленая змея, – потом стало спокойнее, и все смутное устроилось и определилось в ясном сознании. Теперь ему стало ясно, что он постоянно думал только о Веронике, что тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была опять-таки Вероника и что фантастическая сказка о браке Саламандра с зеленою змеею была им только написана, а никак не рассказана ему. Он сам подивился своим грезам и приписал их своему экзальтированному, вследствие любви к Веронике, душевному состоянию, а также своей работе у архивариуса Линдгорста, в комнатах которого, сверх того, так странно пахнет. Он искренне посмеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и принимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса за Саламандра.

– Да, да, это Вероника! – воскликнул он громко и, обернувшись, прямо встретил голубые глаза Вероники, сиявшие любовью и желанием.

Глухое «ах!» вырвалось из ее уст, и губы их тотчас же слились в горячем поцелуе. «О я счастливiec! – вздохнул восхищенный студент. – То, о чем я вчера лишь грезил, сегодня выпадает мне на долю в действительности».

– И ты в самом деле женишься на мне, когда будешь надворным советником? – спросила Вероника.

– Всеконечно, – отвечал студент Ансельм. Тут заскрипела дверь, и конректор Паульман вошел со словами:

– Ну, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпущу, вы отведаете нашего супа, а потом Вероника приготовит нам отличнейшего кофе, к которому обещался прийти и регистратор Геербранд.

– Ах, добрейший господин конректор, – возразил студент Ансельм, – разве вы не знаете, что я должен идти к архивариусу Линдгорсту списывать?

– Смотрите-ка, – сказал конректор, протягивая ему свои часы, показывавшие половину первого.

Студент Ансельм теперь увидел, что уже поздно идти к архивариусу Линдгорсту, и тем охотнее уступил желанию конректора, что это позволяло ему целый день смотреть на Веронику, и он надеялся добиться не одного ласкового взгляда, брошенного украдкой, не одного нежного пожатия руки, а, может быть, даже и поцелуя. До такой высокой степени доходили теперь желания студента Ансельма, и он чувствовал себя тем лучше, чем более убеждался, что скоро освободится ото всех фантастических грез, которые в самом деле могли бы довести его до сумасшествия. Регистратор Геербранд действительно явился после обеда, и, когда кофе был выпит и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, заявил, что имеет с собою нечто такое, что, будучи смешано прекрасными ручками Вероники и введено в надлежащую форму – так сказать, пронумеровано и подведено под рубрики, – будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский вечер.

³³ Друг! (лат.)

– Ну, так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище, досточтимый регистратор, – воскликнул конректор Паульман; и вот регистратор Геербранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда в три приема бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток, и между друзьями шла добродушная, веселая беседа. Но как только спиртные пары поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали перед ним. Он видел архивариуса Линдгорста в его камчатом шлафроке, сверкавшем, как фосфор; он видел лазурную комнату, золотые пальмы; он даже снова почувствовал, что все-таки должен верить в Серпентину, – внутри его что-то волновалось, что-то бродило. Вероника подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся ее руки. «Серпентина, Вероника!» – вздохнул он. Он погрузился в глубокие грезы, но регистратор Геербранд воскликнул очень громко:

– Чудной, непонятный старик этот архивариус Линдгорст. Ну, за его здоровье! Чокнемтесь, господин Ансельм!

Тут студент Ансельм очнулся от своих грез и, чокаясь с регистратором Геербрандом, сказал:

– Это происходит оттого, почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Линдгорст есть, собственно, Саламандр, опустошивший сад князя духов Фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея.

– Что? Как? – спросил конректор Паульман.

– Да, – продолжал студент Ансельм, – поэтому-то он должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь в Дрездене со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, суть не что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прельщают молодых людей, как сирены.

– Господин Ансельм, господин Ансельм! – воскликнул конректор Паульман. – У вас в голове звенит? Что за чепуху такую, прости господи, вы тут болтаете?

– Он прав, – вступился регистратор Геербранд, – этот архивариус в самом деле проклятый Саламандр; он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной губки. Да, да, ты прав, братец Ансельм, и кто этому не верит, тот мне враг! – И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели.

– Регистратор, вы взбесились, – закричал рассерженный конректор. – Господин студиозус, господин студиозус, что вы такое опять затеяли?

– Ах, – сказал студент, – ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, завивающий тупеи.

– Что? Я птица филин, завиваю тупеи? – закричал конректор вне себя от гнева. – Да вы с ума сошли, милостивый государь, вы сошли с ума!

– Но старуха еще сядет ему на шею, – воскликнул регистратор Геербранд.

– Да, старуха сильна, – вступился студент Ансельм, – несмотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша – скверная свекла, но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям – ядовитым канальям, которыми она окружена.

– Это гнусная клевета, – воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. – Старая Лиза – мудрая женщина, и черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее *cousin germain*³⁴.

– Может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды и не погибнувши жалким образом? – вопрошал регистратор Геербранд.

– Нет, нет! – кричал студент Ансельм. – Никогда с ним этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидал глаза Серпентины.

– А кот их выцарапает, – воскликнула Вероника.

– Саламандр, Саламандр всех одолеет, всех! – вдруг заревел конректор Паульман в величайшем бешенстве. – Но не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас сболтнул! Да, и я обезумел, и я обезумел. – С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и, скомкавши, бросил его к потолку, осыпая всех пудрою, которая летела с растерзанных буклей.

³⁴ Двоюродный брат (фр.).

Тут студент Ансельм и регистратор Геербранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом. «*Vivat*³⁵ Саламандр! *Pereat*³⁶, *pereat* старуха! Бей металлическое зеркало! Рви глаза у кота! Птичка, птичка, со двора! Эван, эвоэ, Саламандр!» Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые. Френцхен убежала с громким плачем; Вероника же, визжа от огорчения и скорби, упала па диван. Но вот отворилась дверь, все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев.

– Доброго вечера, доброго вечера, – заскрипел забавный человечек. – Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма? Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа. – И с этими словами он повернулся и вышел, и тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай. Конректор Паульман и регистратор Геербранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате; Вероника между тем визжала и ахала, как бы раздираемая несказанною скорбью, но студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом, свою каморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись, и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у архивариуса Линдгорста. «Доброй ночи, доброй ночи, мой милый друг!» – прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы. Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно. «Ей одной, – говорил он сам себе, – обязан я своим избавлением от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того, который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеденным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но только что я сделаюсь надворным советником, я немедленно женюсь на *mademoiselle* Паульман и буду счастлив». Когда он затем, в полдень, проходил по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные растения в горшках – герани, мирты и тому подобное. Вместо блестящих пестрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь порхали туда и сюда несколько воробьев, которые, увидевши Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел на него с совершенно особенною ироническою усмешкою и спросил:

– Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?

– Ах, вам, конечно, попугай... – отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств.

– Э, я и сам был в компании, – возразил архивариус, – разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Геербранд схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конrektора. Ну, *adieu*, господин Ансельм. Будьте прилежны, а я и за вчерашний пропущенный день плачу вам специес-талер, так как вы до сих пор хорошо работали.

«Как это архивариус может плести такой вздор?» – сказал сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус, по обыкновению, положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. При общем взгляде пергамент представлялся куском испещренного жилами мрамора или камнем, проросшим мохом. Тем не менее он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти; в нетерпении он потряс пером, и – о, небо! – большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся

³⁵ Да здравствует (лат.).

³⁶ Да сгинет (лат.).

густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурей, из них вырвались сверкающие огненные василиски, зажигая пары, так что пламенные массы с шумом за клубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвинили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. «Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» – так воскликнул страшный голос венчанного Саламандра, который появился над змеями как ослепительный луч среди пламени, и вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердую ледяные массы. Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стучался при малейшем усилии – поднять руку или сделать движение. Ах! он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста.

Вигилия десятая

Страдания студента Ансельма в склянке. – Счастливая жизнь ученика и писцов. – Сражение в библиотеке архивариуса Линдгорста. – Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма.

Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы тебе когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный сосуд, разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя такую несообразную фантазию. В последнем случае ты живо можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма; если же ты и во сне не видел ничего подобного, то пусть твое живое воображение заключит тебя, ради меня и Ансельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно облекает тебя; все предметы кругом кажутся тебе освещенными и окруженными лучистыми радужными красками; все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии, – ты неподвижно плаваешь как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя, так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и более поглощает твоё дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве; твои жилы раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшною болью, дрожит в смертельной агонии. Пожалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма, который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме, но он чувствовал, что и смерть не может его освободить, потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его мучения начались снова. Он не мог двинуть ни одним членом, но его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии: «О Серпентина, Серпентина, спаси меня от этой адской муки!» И вот как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облегли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины; гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. «Не сам ли я виноват в своем бедствии, ах, не согрешил ли я против тебя самой, чудная, возлюбленная Серпентина? Не возымел ли я насчет тебя темных сомнений? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, теперь ты никогда не будешь моею, потерян для меня золотой горшок, я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный, сладостный голос, милая Серпентина!» – так стонал студент Ансельм, проникнутый глубокою острою скорбью; вдруг совсем около него кто-то сказал: «Не понимаю, чего вы хотите, господин студент, зачем эти lamentации выше всякой меры?» Тут Ансельм увидел, что рядом с ним, на том же столе, стояло еще пять склянок, в которых он увидел трех учеников Крестовой школы и двух писцов.

– Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастья, – воскликнул он, – как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевелиться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в Саламандра и в зеленую змею?

– Вы бредите, господин студент, – возразил один из учеников. – Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специес-талеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу; нам теперь уж

не нужно разучивать итальянские хоры; мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поем, как настоящие студенты, «*Gaudeamus igitur...*» – и благодушествуем.

– Они совершенно правы, – вступился писец, – я тоже вдоволь снабжен специями-талерами, так же, как и мой дорогой коллега рядом, и, вместо того чтобы списывать все время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места.

– Но, любезнейшие господа, – сказал студент Ансельм, – разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять?

Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали: «Студент-то с ума сошел: воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду. Пойдемте-ка дальше!» – «Ах, – вздохнул студент, – они никогда не видали прелестную Серпентину; они не знают, что такое свобода и жизнь в вере и любви, поэтому они и не замечают тяжести темницы, в которую заключил их Саламандр за их глупость и пошлость, но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я так невыразимо люблю, меня не спасет». И вот повеял и зашелестел по комнате голос Серпентины: «Ансельм, верь, люби, надейся!» И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма, и стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти, и грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что Серпентина его еще любит и что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уже более не заботился о легкомысленных товарищах своего несчастья, а направил все свои чувства и мысли только на дорогую Серпентину. Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое, противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, вглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого, сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная торговка от Черных ворот. Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом:

– Эй, эй, сынок, будешь еще упрячиться? Вот попал же под стекло! Говорила вперед: попадешь ты под стекло!

– Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма! – сказал студент Ансельм. – Ты виновата во всем, но Саламандр задаст тебе, гадкая свекла!

– Ого, – возразила старуха, – какой гордый! Ты наступил на лицо моим сыночкам, ты обжог мне нос, но я к тебе добра, плутишка, потому что ты сам по себе был порядочным человеком и дочка моя тоже расположена к тебе. Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе; достать тебя сама я не могу, но моя кума; крыса, что живет здесь на чердаке, прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь, ты свалишься вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа и сберег свою гладкую рожицу, и понесу тебя поскорей к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником.

– Оставь меня, чертово детище! – закричал студент Ансельм, полный гнева. – Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупать. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая Серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я твоей силе; я люблю и буду вечно любить одну только Серпентину, – я никогда не буду надворным советником, никогда не увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло. Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!

Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и воскликнула:

– Ну, так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работа! – Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной наготе, потом начала кружиться, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с другим и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услышал вдали шипенье и гуденье, птицы в саду закричали, попугай

затрещал: «Дер-р-ржи, дер-р-ржи, гр-рабеж, гр-рабеж!» В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок и, отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала:

– В добрый час! В добрый час! Сынок, убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей!

Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит голос Серпентины. Им овладели ужас и отчаяние. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился о стекло – резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке.

– Гей, гей, сволочь! Ведьмины штуки – чертово наваждение! Эй, сюда, сюда! – так закричал он.

Тут черные волосы старухи стали как щетина; ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела: «Живо иди! Живо шипи!» – и захохотала и заблеяла в насмешку и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса, но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завывала от боли; но когда она прыгала вверх и потрясала свой пергаментный панцирь, лилии погасали и распадались в пепел. «Скорей сюда, сынок!» – закричала старуха, и черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса, но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь, а голос Серпентины воскликнул: «Спасен, спасен!» Старуха в бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели, и затрещали, и забрызгали голубые огоньки из пергаментных листов, старуха заметалась, завывая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка, вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить жгучее пламя, и, когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал, но вот как бы изнутри архивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипящие лучи. «Гей, гей! На нее и за ней! Победа Саламандру!» – загремел по комнате голос архивариуса, и тысячи молний зазмеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями мотались кругом в жестокой схватке кот и попугай; но наконец попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смертельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком; ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся; архивариус поднял шлафрок – под ним лежала гадкая свекла.

– Почтенный господин архивариус, вот вам побежденный враг, – сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу Линдгорсту черный волос.

– Хорошо, любезный, – отвечал архивариус, – а вот лежит и моя побежденная противница; позаботьтесь, пожалуйста, об остальном; сегодня же вы получите, как маленькую *douceur*³⁷, шесть кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу, бессовестно разбиты котом.

– Всегда к вашим услугам, достопочтенный друг и покровитель! – воскликнул довольный попугай и, взявши свеклу в клюв, вылетел в окошко, которое архивариус отворил для него. Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал:

– Серпентина, Серпентина!

И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул на него, он увидел опять величественную, высокую фигуру князя духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и достоинством.

– Ансельм, – сказал князь духов, – не ты, но враждебное начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу и раздвоить тебя с самим тобою, виновно в твоём неверии. Ты доказал свою верность, будь свободен и счастлив!

Молния прошла внутри Ансельма, трезвучие хрустальных колокольчиков раздалось сильнее и могучее, чем когда-либо; его фибры и нервы содрогнулись, но все полнее гремел аккорд по комнате, – стекло, в которое был заключен Ансельм, треснуло, и он упал в объятия милой, прелестной Серпентины.

³⁷ Знак внимания (фр.).

Вигилия одиннадцатая

Неудовольствие конректора Паульмана по поводу обнаружившегося в его семействе умоисступления. – Как регистратор Геербранд сделался надворным советником и в сильнейший мороз пришел в башмаках и шелковых чулках. – Признание Вероники. – Помолвка при дымящейся суповой миске.

– Но скажите же мне, почтеннейший регистратор, как это нам вчера проклятый пунш мог до такой степени отуманить головы и довести нас до таких излишеств? – так говорил конректор Паульман, входя на другое утро в комнату, еще наполненную разбитыми черепками и посредине которой несчастный парик, распавшийся на свои первоначальные элементы, плавал в остатках пунша.

Вчера, после того как студент Ансельм выбежал из дома, конректор Паульман и регистратор Геербранд стали кружиться по комнате, раскачиваясь и крича, точно одержимые бесом, и стукаясь головами друг о друга до тех пор, пока маленькая Френцхен не уложила с великим трудом исступленного папашу в постель, а регистратор не упал в совершенном изнеможении на софу, с которой вскочила Вероника, убежавшая в свою спальню. Регистратор Геербранд обвязал голову синим платком, был весьма бледен, меланхоличен и стонал:

– Ах, дорогой конректор, не пунш, который *mademoiselle* Вероника приготовила превосходно, нет, один только проклятый студент виноват во всем этом безобразии. Разве вы не замечаете, что он уже давно *mente captus*³⁸? И разве вы не знаете также, что сумасшествие заразительно? «Один дурак плодит многих» – извините, это старая пословица; особенно когда выпьешь стаканчик вместе с таким сумасшедшим, то легко сам впадаешь в безумие и маневрируешь, так сказать, непроизвольно подражая всем его экзерцициям. Поверите ли, конректор, что у меня просто голова кружится, когда я подумаю о сером попугае?

– Что за вздор! – отвечал конректор. – Ведь это был маленький старичок, служитель архивариуса, пришедший в своем сером плаще за студентом Ансельмом.

– Может быть! – сказал регистратор Геербранд. – Но я должен признаться, что у меня на душе совсем скверно; всю ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и насвистывало.

– Это был я, – возразил конректор, – ибо я храплю весьма сильно.

– Может быть! – продолжал регистратор. – Но, конректор, конректор! Не без причины позаботился я вчера приготовить нам некоторое удовольствие, и Ансельм все мне испортил... Вы не знаете... О конректор, конректор! – Регистратор Геербранд вскочил, сорвал платок с головы, обнял конректора, пламенно пожал ему руку, еще раз воскликнул сокрушенным голосом: – О конректор, конректор! – и быстро выбежал вон, схватив шляпу и палку.

«Ансельма теперь и на порог к себе не пушу, – сказал конректор Паульман сам себе, – ибо я вижу теперь ясно, что он своим скрытым сумасшествием лишает лучших людей последней капли рассудка; регистратор вот уже попался – я еще пока держусь, но тот дьявол, что так сильно стучался во время вчерашней попойки, может наконец ворваться и начать свою игру. Итак, *arape, Satanas!*³⁹ Прочь, Ансельм!»

Вероника стала задумчивой, не говорила ни слова, только по временам очень странно улыбалась и всего охотнее оставалась одна. «И эта у Ансельма на душе, – со злобою сказал конректор, – хорошо, что он совсем не показывается; я знаю, что он меня боится, этот Ансельм, поэтому и не приходит». Последние слова конректор Паульман произнес совершенно громко; у Вероники, которая при этом присутствовала, показались слезы на глазах, и она сказала со вздохом:

– Ах, разве Ансельм может прийти? Ведь он уже давно заперт в стеклянной банке.

– Как? Что? – воскликнул конректор Паульман. – Ах, боже, боже! Вот и она уж бредит, как регистратор; скоро дойдет, пожалуй, до кризиса. Ах ты, проклятый, мерзкий Ансельм! – Он тотчас же побежал за доктором Экштейном, который улыбнулся и сказал опять: «Ну! ну!» – но на этот раз ничего не прописал, а, уходя, прибавил к своему краткому изречению еще следующее:

– Нервные припадки, – само пройдет, на воздух – гулять, развлекаться – театр – «Воскресный ребенок», «Сестры из Праги», – пройдет!

³⁸ Сумасшедший (лат.).

³⁹ Изыди, сатана! (лат.).

«Никогда доктор не был таким красноречивым, – подумал конректор Паульман, – просто болтлив!» Прошло много дней, недель, месяцев; Ансельм исчез, но и регистратор Геербранд не показывался, как вдруг 4 февраля, ровно в двенадцать часов дня, он вошел в комнату конrektора Паульмана в новом, отличного сукна и модного фасона платье, в башмаках и шелковых чулках, несмотря на сильный мороз, и с большим букетом живых цветов в руках. Торжественно приблизился он к изумленному его нарядом конректору, обнял его деликатнейшим манером и проговорил:

– Сегодня, в день именин вашей любезной и многоуважаемой дочери *mademoiselle* Вероники, я хочу прямо высказать все, что уже давно лежит у меня на сердце! Тогда, в тот злополучный вечер, когда я принес в кармане своего сюртука ингредиенты для пагубного пунша, я имел в мыслях сообщить вам радостное известие и в веселии отпраздновать счастливый день. Уже тогда я узнал, что произведен в надворные советники; ныне же я получил и надлежащий патент на сие повышение *cum nomine et sigillo principis*⁴⁰, каковой и храню в своем кармане.

– Ах, ах! господин регистр... господин надворный советник Геербранд, хотел я сказать, – пробормотал конректор.

– Но только вы, почтеннейший конректор, – продолжал новопроизведенный надворный советник Геербранд, – только вы можете довершить мое благополучие. Уже давно любил я тайне *mademoiselle* Веронику и могу похвалиться с ее стороны не одним дружелюбным взглядом, который мне ясно показывает, что и я ей не противен. Короче, почтенный конректор, я, надворный советник Геербранд, прошу у вас руки вашей любезной дочери *mademoiselle* Вероники, с которой я и намерен, если вы не имеете ничего против, в непродолжительном времени вступить в законное супружество.

Конректор Паульман в изумлении всплеснул руками и воскликнул:

– Эй, эй, эй, господин регистр... господин надворный советник, хотел я сказать, кто бы это подумал? Ну, если Вероника в самом деле вас любит, я с своей стороны не имею ничего против; может быть, даже под ее теперешней меланхолией лишь скрывается страсть к вам, почтеннейший надворный советник? Знаем мы эти штуки!

В это мгновение вошла Вероника, по обыкновению бледная и расстроенная. Надворный советник Геербранд подошел к ней, упомянул в искусной речи об ее именинах и передал ей ароматный букет вместе с маленькой коробочкой, из которой, когда она ее открыла, засверкали блестящие сережки. Внезапный румянец показался па ее щеках, глаза загорелись живее, и она воскликнула:

– Ах, боже мой, ведь это те самые сережки, которые я надевала и которым радовалась несколько месяцев тому назад!

– Как это возможно, – вступился надворный советник Геербранд, несколько сконфуженный и обиженный, – когда я только час тому назад купил это украшение в Замковой улице за презренные деньги?

Но Вероника уже не слушала, она стояла перед зеркалом и проверяла эффект сережек, которые вдела в свои маленькие ушки. Конректор Паульман с важной миной возвестил ей повышение Друга Геербранда и его предложение. Вероника проницательным взглядом посмотрела на надворного советника и сказала:

– Я давно знала, что вы хотите на мне жениться. Что ж, пусть так и будет! Я обещаю вам сердце и руку, но я должна вам сначала, – вам обоим: отцу и жениху, – открыть многое, что тяжело лежит у меня на душе, я должна вам это сказать сейчас же, хотя бы остыл суп, который Френцхен, как я вижу, ставит на стол. – И, не дожидаясь ответа конrektора и надворного советника, хотя у них, очевидно, слова уже были на языке, Вероника продолжала: – Вы можете мне поверить, любезный батюшка, что я всем сердцем любила Ансельма, и когда регистратор Геербранд, который теперь сам сделался надворным советником, уверил нас, что Ансельм может достигнуть того же чина, я решила, что он, и никто другой, будет моим мужем. Но тут оказалось, что чуждые, враждебные существа хотят его вырвать у меня, и я прибегла к помощи старой Лизы, которая прежде была моей няней, а теперь сделалась ворожеей, великой колдуньей. Она обещала мне помочь и совершенно отдать Ансельма в мои руки. Мы пошли с нею в полночь осеннего равноденствия на перекресток; она заклинала там адских духов, и с помощью черного кота мы произвели маленькое металлическое зеркало, в которое мне достаточно было посмотреть, направляя свои помыслы на Ансельма, чтобы совершенно овладеть его чувствами и

⁴⁰ С именем и печатью государя (лат.).

мыслями. Но теперь я сердечно в этом раскаиваюсь и отрекаюсь от всех сатанических чар. Саламандр победил старуху; я слышала ее вопли, но помочь было нечем; когда попугай съел ее как свеклу, мое металлическое зеркало с треском разбилось. – Вероника вынула из рабочей коробки куски разбитого зеркала и локон и, подавая то и другое надворному советнику Геербранду, продолжала: – Вот вам, возлюбленный надворный советник, куски зеркала, бросьте их нынче в полночь с Эльбского моста, оттуда, где стоит крест, в прорубь, а локон сохраните на вашей верной груди. Я еще раз отрекаюсь от всех сатанических чар и сердечно желаю Ансельму счастья, так как он теперь сочетался с зеленой змеей, которая гораздо красивее и богаче меня. А я буду вас, любезный надворный советник, любить и уважать, как хорошая жена.

– Ах, боже, боже! – воскликнул конректор Паульман, преисполненный скорби. – Она сумасшедшая, она сумасшедшая, она никогда не может быть надворной советницей, она сумасшедшая!

– Нисколько, – возразил надворный советник Геербранд, – мне известно, что *mademoiselle* Вероника питала некоторую склонность к помешавшемуся Ансельму и, может быть, в припадке увлечения, так сказать, она и обратилась к колдунье, которая, по-видимому, есть не кто иная, как известная гадалщица от Озерных ворот, старуха Рауэрин. Трудно также отрицать существование тайных искусств, могущих производить на человека весьма зловерное действие, о чем мы читаем уже у древних, а что *mademoiselle* Вероника говорит о победе Саламандра и сочетании Ансельма с зеленой змеей – это, конечно, есть только поэтическая аллегория, некоторая, так сказать, поэма, в которой она воспела свой окончательный разрыв со студентом.

– Считайте это за что хотите, любезный надворный советник, – сказала Вероника, – хоть за нелепый сон, пожалуй.

– Отнюдь нет, – возразил надворный советник Геербранд, – ибо я знаю, что и студент Ансельм одержим тайными силами, возбуждающими и подстрекающими его ко всевозможным безумным выходкам.

Конректор Паульман не мог более удерживаться, его прорвало:

– Постойте, ради бога, постойте! Напились мы, что ли, опять проклятого пуншу или действует на нас сумасшествие Ансельма? Господин надворный советник, что за чепуху вы опять городите? Впрочем, я хочу думать, что это только любовь затемняет ваш рассудок; ну, после свадьбы это скоро пройдет, а то я боялся бы, что вы впадете в некоторое безумие, и можно было бы иметь опасения за потомство, – не наследовало бы оно родительского недуга. Ну, я даю вам отцовское благословение на радостное сочетание и позволю вам как жениху и невесте поцеловать друг друга.

Что и было тотчас же исполнено, и, прежде чем простыл принесенный суп, формальная помолвка была заключена. Несколько недель спустя госпожа надворная советница Геербранд сидела действительно, как она себя прежде видела духовными очами, у окна в прекрасном доме па Новом рынке и, улыбаясь, смотрела на мимоходящих щеголей, которые, лорнируя ее, восклицали: «Что за божественная женщина надворная советница Геербранд!»

Вигилия двенадцатая

Известие об имении, доставшемся студенту Ансельму как зятю архивариуса Линдгорста, и о том, как он живет там с Серпентиной. – Заключение.

Как глубоко я чувствовал в душе своей высокое блаженство Ансельма, который, теснейшим образом соединившись с прелестною Серпентиной, переселился в таинственное, чудесное царство, в котором он признал свое отечество, по которому уже так давно тосковала его грудь, полная странных стремлений и предчувствий. Но тщетно старался я тебе, благосклонный читатель, хотя несколько намекнуть словами на те великолепия, которыми теперь окружен Ансельм. С отвращением замечал я бледность и бессилие всякого выражения. Я чувствовал себя погруженным в ничтожество и мелочи повседневной жизни; я томился в мучительном недовольстве; я бродил в какой-то рассеянности; короче, я впал в то состояние студента Ансельма, которое я тебе, благосклонный читатель, описал в четвертой вигилии.

Я очень мучился, пересматривая те одиннадцать, которые благополучно окончил, и думал, что, верно, мне уж никогда не будет дано прибавить двенадцатую в качестве завершения, ибо каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы закончить мой рассказ, казалось, какие-то

лукавые духи (может быть, родственники, пожалуй, разные *cousins germains* убитой ведьмы) подставляли мне блестящий, гладко полированный металл, в котором я видел только свое «я» – бледное, утомленное и грустное, как регистратор Геербранд после попойки. Тогда я бросал перо и спешил в постель, чтобы, по крайней мере, во сне видеть счастливого Ансельма и прелестную Серпентину. Так продолжалось много дней и ночей, как вдруг я совершенно неожиданно получил следующую записку от архивариуса Линдгорста: «Ваше благородие, как я извещился, вы описали в одиннадцати вигилиях странные судьбы моего доброго зятя, бывшего студента, а в настоящее время – поэта Ансельма, и бьетесь теперь над тем, чтобы в двенадцатой и последней вигилии сказать что-нибудь о его счастливой жизни в Атлантиде, куда он переселился с моею дочерью в хорошенькое поместье, которым я владею там. Хотя я не совсем доволен, что вы открыли читающей публике мою настоящую природу, так как это может подвергнуть меня тысяче неприятностей на службе и даже возбудить в государственном совете спорный вопрос: может ли Саламандр под присягою и с обязательными по закону последствиями быть принят на государственную службу и можно ли вообще поручать таковому солидные дела, так как, по Габалису и Сведенборгу, стихийные духи вообще не заслуживают доверия; хотя может также произойти и то, что теперь мои лучшие друзья будут избегать моих объятий из опасения внезапного, для париков и фраков пагубного, воспламенения; несмотря на все это, я хочу помочь вашему благородию в окончании вашего рассказа, так как в нем заключается много доброго обо мне и о моей любезной замужней дочери. (Как хотел бы я и двух остальных также сбить с рук!) Поэтому, если вы хотите написать двенадцатую вигилию, то оставьте вашу каморку, спуститесь с вашего проклятого пятого этажа и приходите ко мне. В известной уже вам голубой пальмовой комнате вы найдете все письменные принадлежности, и затем вам можно будет в немногих словах сообщить читателям то, что вы сами увидите, и это гораздо лучше, чем пространно описывать такую жизнь, которую вы ведь знаете только понаслышке. С совершенным почтением, вашего благородия покорный слуга Саламандр Линдгорст, королевский тайный архивариус».

Эта несколько грубая, но все-таки дружелюбная записка архивариуса Линдгорста была мне в высшей степени приятна. Хотя, по-видимому, чудной старик знал, каким странным способом мне стали известны судьбы его зятя, – о чем я, обязавшись тайною, должен умолчать даже и перед тобою, благосклонный читатель, – но он не принял этого так дурно, как я мог опасаться. Он сам предлагал руку помощи для окончания моего труда, и отсюда я имел право заключить, что он, в сущности, согласен, чтобы его чудесное существование в мире духов огласилось посредством печати. Может быть, думал я, он даже почерпнет отсюда надежду скорее выдать замуж остальных своих дочерей, потому что, может быть, упадет искра в душу того или другого юноши и зажжет в ней тоску по зеленой змее, которую он затем, в день вознесения, поищет и найдет в кусте бузины. Несчастье же, постигшее студента Ансельма, его заключение в стеклянную банку, послужит новому искателю серьезным предостережением хранить себя от всякого сомнения, от всякого неверия. Ровно в одиннадцать часов погасил я свою лампу и пробрался к архивариусу Линдгорсту, который уже ждал меня на крыльце.

– А, это вы, почтеннейший! Ну, очень рад, что вы не отвергли моих добрых намерений, идемте! – И он повел меня через сад, полный ослепительного блеска, в лазурную комнату, где я увидел фиолетовый письменный стол, за которым некогда работал Ансельм. Архивариус Линдгорст исчез, но тотчас же опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал, из которого высоко поднималось голубое потрескивающее пламя. – Вот вам, – сказал он, – любимый напиток вашего друга, капельмейстера Иоганнеса Крейслера. Это – зажженный арак, в который я бросил немножко сахара. Отведайте немного, а я сейчас скину мой шлафрок, и в то время как вы будете сидеть и смотреть и писать, я, для собственного удовольствия и вместе с тем чтобы пользоваться вашим дорогим обществом, буду опускаться и подниматься в бокале.

– Как вам угодно, досточтимый господин архивариус, – возразил я, – но только, если вы хотите, чтобы я пил из этого бокала, пожалуйста, не...

– Не беспокойтесь, любезнейший! – воскликнул архивариус, быстро сбросил свой шлафрок и, к моему немалому удивлению, вошел в бокал и исчез в пламени. Слегка отдувая пламя, я отведал напиток – он был превосходен!

С тихим шелестом и шепотом колеблются изумрудные листья пальм, словно ласкаемые утренним ветром. Пробудившись от сна, поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, как бы издалека возвещаемых прелестными звуками арфы. Лазурь отделяется от стен и клубится ароматным туманом туда и сюда, но вот ослепительные лучи пробиваются сквозь туман, и он как бы с детскою радостью кружится и свивается и неизмеримым сводом поднимается над пальмами.

Но все ослепительнее примыкает луч к лучу, и вот в ярком солнечном блеске открывается необозримая роща, и в ней я вижу Ансельма. Пламенные гиацинты, тюльпаны и розы поднимают свои прекрасные головки, и их ароматы ласковыми звуками восклицают счастливцу: «Ходи между нами, возлюбленный, ты понимаешь нас, наш аромат есть стремление любви, мы любим тебя, мы твои навсегда!» Золотые лучи горят в пламенных звуках: «Мы – огонь, зажженный любовью. Аромат есть стремление, а огонь есть желание, и не живем ли мы в груди твоей? Мы ведь твое собственное желание!» Шумят и шепчут темные кусты, высокие деревья: «Приди к нам, счастливый возлюбленный! Огонь есть желание, но надежда – наша прохладная тень. Мы с любовью будем шептаться над тобою, потому что ты нас понимаешь, потому что любовь живет в груди твоей». Ручьи и источники плещут и брызжут: «Возлюбленный, не проходи так скоро, загляни в нас, здесь живет твой образ, мы любовно храним его, потому что ты нас понял». Ликующим хором щебечут и поют пестрые птички: «Слушай нас, слушай нас! Мы – радость, блаженство, восторг любви!» Но с тихой тоскою смотрит Ансельм на великолепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны кажутся деревьями, капители и карнизы – сплетающимися акантовыми листьями, которые, сочетаясь в замысловатые гирлянды и фигуры, дивно украшают строение. Ансельм подходит к храму, с тайным блаженством взирает на удивительно испещренный мрамор ступеней... «Нет! – восклицает он в избытке восторга, – она уже недалеко!» И вот выходит в величавой красоте и прелести Серпентина изнутри храма; она несет золотой горшок, из которого выросла великолепная лилия. Несказанное блаженство бесконечного влечения горит в прелестных глазах; так смотрит она на Ансельма и говорит: «Ах, возлюбленный! лилия раскрыла свою чашечку, высочайшее исполнилось, есть ли блаженство, подобное нашему?» Ансельм обнимает ее в порыве горячего желания; лилия пылает пламенными лучами над его головою. И громче колышутся деревья и кусты; яснее и радостнее ликуют источники; птицы, пестрые насекомые пляшут и кружатся; веселый, радостный, ликующий шум в воздухе, в водах, на земле – празднуется праздник любви! Молнии сверкают в кустах, алмазы, как блестящие глаза, выглядывают из земли; высокими лучами поднимаются фонтаны, чудные ароматы веют, шелестя крылами, – это стихийные духи кланяются лилии и возвещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озаренную лучистым сиянием. Взоры ли это? слова ли? пение ли? Но ясно звучит: «Серпентина! вера в тебя и любовь открыли мне сердце природы! Ты принесла мне ту лилию, что произросла из золота, из первобытной силы земной, еще прежде, чем Фосфор зажег мысль, – эта лилия есть видение священного созвучия всех существ, и с этим видением я буду жить вечно в высочайшем блаженстве. Да, я, счастливец, познал высочайшее: я буду вечно любить тебя, о Серпентина! Никогда не поблекнут золотые лучи лилии, ибо с верою и любовью познание вечно!»⁴¹

Видением, благодаря которому я узрел студента Ансельма живым, в его имении в Атлантиде, я обязан чарам Саламандра, и дивом было то, что, когда оно исчезло как бы в тумане, все это оказалось аккуратно записанным на бумаге, лежавшей передо мной на лиловом столе, и запись как будто была сделана мною же. Но вот меня пронзила и стала терзать острая скорбь: «Ах, счастливый Ансельм, сбросивший бремя обыденной жизни, смело поднявшийся на крыльях любви к прелестной Серпентине и живущий теперь блаженно и радостно в своем имении в Атлантиде! А я, несчастный! Скоро, уже через каких-нибудь несколько минут, я и сам покину этот прекрасный зал, который еще далеко не есть то же самое, что имение в Атлантиде, окажусь в своей мансарде, и мой ум будет во власти жалкого убожества скудной жизни, и, словно густой туман, заволокут мой взор тысячи бедствий, и никогда уже, верно, не увижу я лилии». Тут архивариус Линдгорст тихонько похлопал меня по плечу и сказал:

– Полно, полно, почтеннейший! Не жалуйтесь так! Разве сами вы не были только что в Атлантиде и разве не владеете, вы там, по крайней мере, порядочной мызой как поэтической собственностью вашего ума? Да разве и блаженство Ансельма есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн природы!

Last-modified: Fri, 08 Dec 2000 17:25:21 GMT

<http://lib.ru>

⁴¹ Здесь кончается перевод В.С. Соловьева. Заключительные абзацы переведены А.В. Федоровым. – Ред.

4. Эрнст Теодор Амадей Гофман

«Он был одинаково замечателен как юрист, как поэт, как музыкант, как живописец».

Эта эпитафия, высеченная на надгробном камне Гофмана, при всей своей справедливости не лишена горькой иронии, ибо главная трагедия этого писателя заключалась в том, что ему, гениальному художнику, одержимому искусством, приходилось служить судебским чиновником, чтобы заработать на хлеб насущный. Эрнст Теодор Вильгельм Гофман (третье своё имя – Вильгельм – он позже заменил именем Амадей – из любви к музыке Моцарта) родился в 1776 году в Кёнигсберге в семье королевского адвоката. Детство Гофмана было далеко не безоблачным. Отец его был человеком крайне неуравновешенным и сильно пьющим, а мать – истеричкой, одержимой страстью к порядку. Родители развелись, когда Гофману было 4 года. Ребёнок остался при матери, которая никакой особой заботы о нём не проявляла. Таким образом, мальчик оказался в семье своего дяди, человека сухого, педантичного и довольно далёкого от искусства. В возрасте 6 лет Гофмана отдают в школу, где у него завязывается дружба с Теодором Готтлибом Гиппелем, продолжавшаяся всю жизнь. В 13 лет Гофман пишет своё первое музыкальное произведение.

Страстное увлечение музыкой, которое Гофман называл «наследственным недугом», и удивительные способности к рисованию, казалось, навсегда определили его призвание. Тем не менее, в 1792 году по окончании школы Гофман, в соответствии с семейной традицией, поступает на юридический факультет Кёнигбергского университета, хотя к юридической карьере у него никакого интереса не было.

«Ах, если бы я мог действовать согласно влечениям своей природы, я непременно стал бы композитором. Я убеждён, что в этой области я мог бы быть великим художником, а в области юриспруденции всегда останусь ничтожеством».

писал Гофман в письме в 1795 году. Правда, параллельно с занятиями правом Гофман берёт уроки рисования и совершенствует свою игру на фортепьяно. По окончании университета для Гофмана начинается долгий период странствий и мытарств. Сначала его направляют на должность юриста в Силезию, в захолустный город Глогау (ныне Глогув), где он остаётся 2 года. Затем его переводят в Берлин, где особое впечатление на него производит театральный мир. В это время проявляются незаурядные способности Гофмана как музыканта. Он превосходно играл на органе, фортепьяно, скрипке, он прекрасно пел и был хорошим дирижёром. Как композитор, однако, он всё-таки был не «новатором», а, скорее, подражал сочинениям Моцарта и Глюка. В 1800 году Гофмана переводят в Позен (ныне Познань), где писатель впадает в глубокую депрессию. Он расторгает помолвку со своей берлинской невестой и женится на молодой польке. Этот брак оказался удачным: они оставались вместе до самой смерти Гофмана. А свою дочь они назвали Цецилией в память о знатной римлянке, ставшей христианской мученицей в 230 году и провозглашённой в 15 веке покровительницей музыки. В 1802 году Гофман по случаю карнавала нарисовал карикатуры, которые были не слишком лестной характеристикой высшего общества города. Разразился скандал. Доброжелатели отправили рисунки в Берлин, и Гофмана в наказание перевели в захолустный Плоцк.

В Плоцке Гофман влачит нищенское существование, зато у него достаточно времени, чтобы рисовать, заниматься литературой и писать музыку. В конце концов, Гиппель, давний друг Гофмана, помог писателю получить кредит и должность в Варшаве (в то время Варшава входила в состав Прусского государства). В польской столице 28-летний Гофман активно включается в культурную жизнь города. В 1804 году он пишет зингшпиль «Весёлые музыканты», прошедший с успехом на сцене. В 1805 году участвует в основании Варшавского музыкального общества. В это же время он знакомится со своим будущим биографом Эдуардом Гитцигом, работавшим в Варшавском суде. В биографии, написанной в 1823 году, то есть через год после смерти писателя, Гитциг так описывает внешность Гофмана:

«Гофман был очень маленького роста, цвет его лица был желтоватым, волосы – тёмные, почти чёрные, глаза – серые, не выражавшие ничего особенного, когда он смотрел спокойно. Однако когда он ими посверкивал, что случалось довольно часто, они приобретали весьма хитрое выражение. Нос его был тонкий, с горбинкой. Рот плотно сжатый. Несмотря на свою подвижность, Гофман производил стабильное впечатление, поскольку для его роста у него были широкие грудь и плечи. В молодости он носил элегантные костюмы, но не бросался в глаза изысканностью своей одежды. Чему он придавал особое значение, так это своим бакенбардам, которые он тщательно зачёсывал к уголкам рта. Позже ему очень нравилась его униформа, в которой он выглядел как французский или итальянский генерал».

В 1806 году (Гофману тогда было 30 лет) карьера его как юриста и художника неожиданно завершилась. Варшаву заняли французские войска под предводительством Наполеона. Они уволили всех прусских чиновников, отказавшихся присягнуть новому правительству. Среди уволенных был и Гофман. Теперь писателю, принципиально никогда не интересовавшемуся политикой, предстояли страшные годы: от нужды умирает его дочь, сам Гофман, уже в то время тяжело больной, остался без работы, а тем самым без каких-либо средств к существованию. Он перебирается в Берлин, но в разгромленной Наполеоном Пруссии юристы были не нужны. Гофман пытается продать свои рисунки, предлагает свои сочинения музыкальным издательствам, старается получить место в каком-нибудь театре, но всё безуспешно. Ко всему прочему, в это же время он подхватил сифилис. В 1808 году Гофман принимает предложение занять место капельмейстера в Бамбергском театре. Но и здесь Гофмана ожидала неудача: из-за хаоса в театре и оркестре премьера провалилась, и писателю уже через несколько недель пришлось оставить свою должность. С этого времени он перебивается частными уроками музыки, подрабатывает в театре то музыкантом, то декоратором, то режиссёром, то дирижёром, но, тем не менее, очень бедствует и нередко голодает. В дневнике писателя есть такая запись:

«Продал старый сюртук, чтобы пообедать».

В Бамберге Гофман, желая познакомиться с психиатрией, посещает местную клинику для душевнобольных, что оказалось весьма полезным для его писательской работы в будущем. Поскольку жена Гофмана осталась после смерти дочери в Берлине, писатель, чтобы не чувствовать себя одиноким, предаётся разгульной жизни. Здесь же он пристрастился к алкоголю, без которого он не мог жить и позже. Необходимость зарабатывать на жизнь заставила Гофмана обратиться к музыкальной критике. Он начинает сотрудничать с выходящей в Лейпциге «Всеобщей музыкальной газетой», в которой и была опубликована первая новелла Гофмана «Кавалер Глюк». Так Гофман, сам того не подозревая, становится писателем.

«Кавалер Глюк» – это поэтический рассказ о музыке и музыканте. Герой новеллы, музыкант-виртуоз, берёт себе имя композитора Глюка, умершего в конце 18 века, обставляет свою комнату в стиле того времени, носит одежду, похожую на костюм Глюка. Таким образом, он создаёт для себя атмосферу, позволяющую ему забыть суету города, где много мнимых «ценителей музыки» и где никто не чувствует её по-настоящему и не понимает души музыканта. Для берлинских обывателей концерты и музыкальные вечера – лишь приятное времяпрепровождение, для гофманского героя – это богатая и напряжённая духовная жизнь. В Берлине герой испытывает чувство щемящего одиночества, поскольку он понимает, что невосприимчивость обывателей к музыке означает полное безразличие к человеческим чувствам вообще. Безвестный берлинский музыкант, называющий себя Глюком, сознаёт себя преемником великого композитора и тем самым он как бы становится живым воплощением бессмертия Глюка.

Новелла «Кавалер Глюк», позже включённая в сборник «Фантазии в манере Калло», как бы предваряет общий замысел книги: «свободная» личность художника противопоставляется филистерскому обществу потребителей искусства. Гофман показывает, что настоящее искусство и жизнь разделены непреодолимой пропастью, а истинный художник обречён в этом мире на трагическое одиночество.

Однако конфликт героя этой новеллы с обществом иллюзорен. Он разрешается возвращением музыканта в «страну грёз», в царство смерти. Реальным преемником кавалера Глюка является композитор и капельмейстер Иоганн Крейслер, любимый герой и альтер эго Гофмана.

Герои Гофмана – музыканты, поскольку немецкие романтики считали музыку «самым романтическим из всех искусств», ибо сфера его – «бесконечность».

«Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним, чувственным миром, в котором он оставляет все свои определённые чувства, чтобы предаться несказанному томлению»,

– писал Гофман. Как полагал писатель, люди его времени, сознавая непреодолимое противоречие между духовным и чувственным мирами, с помощью поэзии пытались слить эти миры воедино. Однако то, к чему поэзия лишь стремится, уже реализовано в музыке, потому что её материал, лишённый конкретного содержания звук, композитор претворяет в мелодии, «говорящие священным языком царства духа». Музыка увлекает человека в мир фантазии и неопределённых чувств, помогает ему уйти от ненавистной действительности, а тем самым и освобождает его от необходимости бороться с ней.

«Эти звуки, как благодатные духи, осенили меня, и каждый из них говорил: «Подними голову, угнетённый! Иди с нами! Иди с нами в далёкую страну, где скорбь не наносит кровавых ран, но грудь, точно в высшем восторге, наполняется невыразимым томлением!»

В 1813 году Гофман получает место музыкального директора в Лейпциге и Дрездене. Среди военного хаоса (французы заняли уже и Дрезден) он дирижирует, публикует музыкальные рецензии, пишет новеллы, в том числе свою знаменитую сказку «Золотой горшок». Но уже через год Гофман вновь оказывается без работы. Для писателя опять начинается период безденежья. Благодаря протекции своего приятеля Гиппеля в 1814 году Гофман в 38 лет возвращается на государственную службу. Он вновь переезжает в Берлин и за 8 лет (писатель умер в 1822 году) делает успешную карьеру в суде. Кстати, Гофман относился к своим служебным обязанностям с такой же добросовестностью, как и к своим занятиям искусством. Начальник Гофмана как-то заметил о нём:

«Предубеждение, что гениальный писатель не способен заниматься серьёзным делом, пожалуй, никто не опроверг так убедительно, как он сам».

Работа в суде, очевидно, не слишком обременяла Гофмана. В 1819 году он публикует первый том своего, пожалуй, самого необыкновенного сочинения – романа под довольно громоздким названием «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсlera, случайно уцелевшими в макулатурных листах». Необычность романа заключается уже в самой идее не просто поместить под одной обложкой два разных жизнеописания, но и демонстративно перемешать их. При этом в обоих жизнеописаниях речь идёт об одних и тех же проблемах гофмановского времени и поколения, но проблемы эти подаются в различных истолкованиях, как бы с двух точек зрения. Примечательно, что героем романа является, собственно, вовсе не Крейслер. Фиктивный издатель сразу же предупреждает читателя, что предлагаемая книга – это исповедь учёного кота Мурра и что автор и герой – именно кот Мурр. Однако, сокрушённо поясняет далее издатель, при подготовке издания вышла незадача. Как выяснилось, автор (кот Мурр), излагая свои житейские воззрения, по ходу дела рвал на части первую попавшуюся ему в лапы книгу из хозяйской библиотеки, чтобы использовать выданные страницы «частью для прокладки, частью для просушки». Этой разодранной книгой оказалось жизнеописание Крейсlera, а наборщики по небрежности напечатали и эти страницы.

Жизнеописание гениального композитора как макулатурные листы в кошачьей биографии! Только Гофман со своей фантазией мог додуматься до того, чтобы придать самоиронии такую форму. На первый взгляд может показаться, что параллельность жизнеописаний отражает гофмановские представления о двоимирии: вот – мир художников-«энтузиастов» (Крейслер), а вот – мир филистеров-обывателей (Мурр). Однако, приглядевшись, замечаешь, что каждый из этих миров, в свою очередь, делится пополам на сферу «энтузиастов» и сферу филистеров. Таким образом, оба жизнеописания – это не параллельные линии, а параллельные зеркала, в результате чего воззрения Мурра становятся ироническим парафразом музыкальных страданий Крейсlera.

В немецком романтизме не было художника более сложного и более противоречивого и вместе с тем более своеобразного и самобытного, чем Гофман. Вся необычная, на первый взгляд беспорядочная и странная поэтическая система Гофмана, с ее двойственностью и разорванностью содержания и формы, смешением фантастического и реального, веселого и трагического, со всем тем, что воспринималось многими как прихотливая игра, как своеволие автора, скрывает

в себе глубокую внутреннюю связь с немецкой действительностью, с полной острых, мучительных противоречий и противоречивых мук внешней и духовной биографий самого писателя. В своей новелле «Дон Жуан» Гофман писал:

«Лишь поэт способен постичь поэта; лишь душе романтика доступно романтическое; лишь окрылённый поэзией дух, принявший посвящение посреди храма, способен постичь то, что изречено посвящённым в порыве вдохновения».

Ральф Керзер «Немецкая волна»
21.02.2004

5. Толстой Л.Н. «Крейцера соната»

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

(Матфея V, 28)

Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие: но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит.

(Матфея XIX, 10, 11, 12)

I

Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на чатый и оборванный смех.

Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал.

Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно.

Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию.

Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции.

Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярманке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как они вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтые зуба.

Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие.

– Не успеете, – сказал мне общительный адвокат, – сейчас второй звонок.

И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами.

– Затем она прямо объявила своему супругу, – улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него, – что она не может, да и не желает жить с ним, так как...

И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло и я опять услышал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения.

Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику.

– В старину этого не было, не правда ли? – сказал он, приятно улыбаясь.

Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дождался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить.

– Бывало, сударь, и прежде, только меньше, – сказал он. – По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали.

Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался.

– Да чем же худо образование? – чуть заметно улыбаясь, сказала дама. – Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? – продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. – Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучались; так, по-вашему, это лучше? – говорила она, очевидно обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила.

– Уж очень образованны стали, – повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа.

– Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, – чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат.

Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его.

– Нет, уж это время прошло, – сказала она. Но адвокат остановил ее:

– Нет, позвольте им выразить свою мысль.

– Глупости от образования, – решительно сказал старик.

– Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, – торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. – Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, – очевидно желая уязвить купца, говорила она.

– Напрасно так говорите, сударыня, – сказал старик, – животное скот, а человеку дан закон.

– Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? – все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми.

– Прежде этого не разбирали, – внушительным тоном сказал старик, – нынче только завелось это. Как что, она сейчас и говорит: «Я от тебя уйду». У мужиков на что, и то эта самая мода завелась. «На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.

Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно удерживая улыбку и готовый и осмеять и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята.

– Какой же страх? – сказала дама.

– А такой: да боится своего му-у-ужа! Вот какой страх.

– Ну, уж это, батюшка, время прошло, – даже с некоторой злобой сказала дама.

– Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, – сказал старик, так строго и победительно тряхнув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся.

– Да это вы, мужчины, так рассуждаете, – говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас, – сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать. Сами небось себе все позволяете.

– Позволения никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жено – утлый сосуд, – продолжал внушать купец.

Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась.

– Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина – человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?

– Не любит! – грозно повторил купец, двинув бровями и губами. – Небось полюбит!

Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук.

– Да нет, не полюбит, – заговорила дама, – а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить.

– Ну, а как жена изменит мужу, тогда как? – сказал адвокат.

– Этого не полагается, – сказал старик, – за этим смотреть надо.

– А как случится, тогда как? Ведь бывает же.

– У кого бывает, а у нас не бывает, – сказал старик. Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать от других, улыбаясь, начал:

– Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и с развитием. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром. Не унялась. Всякие пакости делала. Его деньги стала красть. И бил он ее. Что ж, все хужела. С некрещеным, с евреем, с позволения сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется.

– Потому он дурак, – сказал старик. – Кабы он спервоначала не дал ей ходу, а укороту бы дал настоящую, жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме.

В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.

– Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет.

– Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся? – сказал я, не выдержав.

– Эта статья особая, – сказал купец и погрузился в молчанье.

Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.

II

Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.

– Старого завета папаша, – сказал приказчик.

– Вот Домострой живой, – сказала дама. – Какое дикое понятие о женщине и о браке!

– Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак, – сказал адвокат.

– Ведь главное то, чего не понимают такие люди, – сказала дама, – это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь.

Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров.

В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидели моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно и на щеке вздрагивал мускул.

– Какая же это любовь... любовь...любовь... освящает брак? – сказал он, запинаясь.

Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее.

– Истинная любовь... Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак, – сказала дама.

– Да-с, но что разумеет под любовью истинной? – неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.

– Всякий знает, что такое любовь, – сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор.

– А я не знаю, – сказал господин. – Надо определить, что вы разумеете...

– Как? очень просто, – сказала дама, но задумалась. – Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, – сказала она.

– Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни, на полчаса? – проговорил седой господин и засмеялся.

– Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

– Нет-с, я про то самое.

– Они говорят, – вступился адвокат, указывая на даму, – что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности – любовь, если хотите, – не имеет в себе ничего нравственно обязательного. Так ли я понимаю? – обратился он к даме.

Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.

– Засим... – продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал:

– Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?

– На сколько времени? надолго, на всю жизнь иногда, – сказала дама, пожимая плечами.

– Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы, – говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим.

– Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, – в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.

– Да-с, я знаю, – перекрикивал нас седой господин, – вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.

– Ах, это ужасно, что вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?

– Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятностям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете, – сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.

– Но может быть и взаимность, – сказал адвокат.

– Нет-с, не может быть, – возразил он, – так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного – это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, – говорил он, жадно затягиваясь.

– Но вы всё говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? – сказала дама.

– Духовное сродство! Единство идеалов! – повторил он, издавая свой звук. – Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, – сказал он и нервно засмеялся.

– Но позвольте, – сказал адвокат, – факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь.

Седой господин опять засмеялся.

– То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман!

– Нет-с, позвольте, – сказал адвокат, – я говорю только, что существовали и существуют браки.

– Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга, – говорил он все быстрее, не давая никому вставить слова и все больше и больше разгораясь. Все молчали. Было неловко.

– Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, – сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор.

– Вы, как я вижу, узнали, кто я? – тихо и как будто спокойно сказал седой господин.

– Нет, я не имею удовольствия.

– Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, – сказал он, оглядывая быстро каждого из нас.

Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.

– Ну, все равно, – сказал он, издавая свой звук. – Впрочем, извините! А!.. не буду стеснять вас.

– Да нет, помилуйте... – сам не зная, что «помилуйте», сказал адвокат.

Но Позднышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции.

На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Позднышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай.

Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне:

– Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

– О нет, помилуйте.

– Ну, так не угодно ли? Только крепок. – Он налил мне чаю.

– Они говорят... И всё лгут... – сказал он.

– Вы про что? – спросил я.

– Да всё про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

– Совсем не хочу.

– Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было?

– Да, если вам не тяжело.

– Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?

Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.

III

– Ну, так я расскажу вам... Да вы точно хотите?

Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал:

– Коли рассказывать, то надо рассказывать все с начала: надо рассказать, как и отчего я женился и каким я был до женитьбы.

Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу, как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

— А ведь в этом-то и главная мерзость, — вскрикнул он. — Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучался раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной, — вдруг крикнул он на меня. — Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Ну, все равно, вы простите меня, — продолжал он, — но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!

— Что ужасно? — спросил я.

— Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидел все совсем в другом свете. Все наыворот, все наыворот!..

Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить.

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.

IV

— Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидел весь ужас того, что есть.

Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно шестнадцать лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком: уже второй год я был развращен мальчишками; уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечистые. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, пятнадцатилетний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слышал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении *ut* в условных предложениях.

Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слышал, чтобы это было дурно. Напротив, я слышал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого, я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалованье следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен

для здоровья, они же и учреждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дома терпимости.

– Отчего же наука? – сказал я.

– Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис.

– Да отчего же не лечить сифилис?

– А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни – самое законное и полезное для здоровья отправление, другие – самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал продаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о гибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек – блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.

V

– Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берет! О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как услышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах! И все эти господа и я, когда мы, бывало, тридцатилетние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, тридцатилетние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал – эмблема чистоты – прелесть!

Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место. Здесь чистые, невинные девушки. Уйди!» Так должно бы быть; а есть то, что, когда такой господин является и танцует, обнимая, ее, с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богат и с связями. Авось он удостоит после Ригольбош и мою дочь. Если даже и остались следы, нездоровье, – ничего. Нынче хорошо лечат. Как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною два стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели.

– Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к

подходящей для этой цели девушке, – продолжал он. – Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика.

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.

Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон-Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помогите им бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч). И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем, прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, – девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что наконец, как англичане, сами начинают искренно верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те, бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как, уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное – про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.

VI

– Нет, впрочем, так лучше, так лучше! – вскрикнул он. – Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей.

Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, избалованной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, – всякая всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врёт о высоких чувствах – ему нужно только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.

От этого эти джерси мерзкие, эти нашлапки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах – разговорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его в самом

заманчивом свете; и это самое и делается. Ведь если откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, – заговорил он, перебивая меня. – Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки – обыкновенно презираемы, проститутки на долгие – уважаемы.

VII

– Да, так вот меня эти джерси, и локоны, и нашлапки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша возбуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал. А теперь увидал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорят такие глупости, как вон та барыня.

Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян – хлеб, квас, лук; он жив, бодр, здоров, работает легкую полевою работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него – каша и один фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на шестнадцатичасовой работе с тачкой в тридцать пудов. И ему как раз так. Ну а мы, поедающие по два фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства и напитки, – куда это идет? На чувственные эксцессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, все благополучно; но прикройте клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюблением самой чистой воды, иногда даже платоническим. И я влюбился, как все влюбляются. И все было налицо: и восторги, и умиление, и поэзия. В сущности же, эта моя любовь была произведением, с одной стороны, деятельности мамыши и портних, с другой – избытка поглощавшейся мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т.п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, – а то он случайно прикрылся как-то на это время, – я бы не влюбился, и ничего бы этого не было.

VIII

– Ну, а тут так подошло: и мое состояние, и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве: у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе; так делается в роде человеческом по крайней мере в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «Батюшка, меня! нет, меня. Не ее, а меня: у меня, смотри, какие плечи и другое». А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. «Знаю, мол, я не попадусь». Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для лих все устроено. Глядь, не поберегся, – хлоп, тут и есть!

– Так как же быть? – сказал я. – Что же, женщине делать предложение?

– Да уж я не знаю как; только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унижительно, то уж это в тысячу раз больше. Там права и шансы равны, здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь

они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно – это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких бедных невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. «Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакль, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!..» А мысль одна: «Возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..» О мерзость! ложь! – заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.

IX

– Да вы знаете, – начал он, укладывая в мешок чай и сахар, – то властвование женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого.

– Как властвование женщин? – сказал я. – Правда, преимущества прав на стороне мужчин.

– Да, да, это, это самое, – перебил он меня. – Это самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны – что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей денежной властью оплачивают за свое угнетение, так и женщины. «А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами», – говорят евреи. «А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», – говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей – заниматься этими делами не составляет никаких прав, – а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.

– Да где же эта особенная власть? – спросил я.

– Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Считите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого. А все оттого, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.

– Да, вы смеетесь! – закричал он на меня, – а это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно, что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие капканы, – хуже! Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!

X

– Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется, влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в

каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах – корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, – я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел.

Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства! Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумашь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается; а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по Домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель – все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из десяти брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из ста мужчин едва ли один есть уже неженатый прежде и из пятидесяти один, который вперед не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной, – подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

XI

– Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! – с злобой прошипел он. – Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел посмотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно; но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «Вот спросите господина, стоит ли смотреть? Заходите, заходите, по франку с человека!» Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно! Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслаждение от куренья, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок, для того чтоб получить от него наслаждение.

– Как порок? – сказал я. – Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

– Естественном? – сказал он. – Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не... естественно. Да, совершенно не... естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее.

Вы говорите: естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

– Как же, – сказал я, – как же бы продолжался род человеческий?

– Да вот как бы не погиб род человеческий! – сказал он злобно-иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. – Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться, – это можно. Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности, – это можно; а заикнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности, – батюшки, какой крик: род человеческий как бы не прекратился оттого, что десяток-другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть? – сказал он, указывая на фонарь.

Я сказал, что мне все равно, и тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь.

– Все-таки, – сказал я, – если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы.

Он не сейчас ответил.

– Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? – сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись на них локтями. – Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? – сказал он.

– Как зачем? иначе бы нас не было.

– Да зачем нам быть?

– Как зачем? Да чтобы жить.

– А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, – говорил он с видимым волнением, очевидно очень дорожа своей мыслью. – Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества – благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная – половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.

Выходит, что плотская любовь – это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них – половая. А есть половая страсть, и есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего... Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения, и вы эволюционист? То и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных – людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться; должна так же, как пчелы, воспитывать бесполок, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. – Он помолчал. – Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу.

– Я понимаю вашу мысль, – сказал я, – нечто подобное утверждают шекеры.

– Да, да, и они правы, – сказал он. – Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вождением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно – и главное к своей жене.

XII

– В нашем же мире как раз обратное: если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединения, в которые с разрешения родителей отправляются молодые, – ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам за себя отплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? что? – думал я. – Любовь – союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, то есть влюблением.

И я подумал, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще сильнее, чем первая. Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности, она меня, – и пошло опять. И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидел опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой,

тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастье, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастье не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом.

Началось с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не успевал подделывать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... ох гадко и теперь вспомнить – после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия... Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда...

XIII

Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальней лавочке. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно ни на минуту не теряя нити своей мысли.

– Ведь что, главное, погано, – начал он, – предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишества, не только не стыдился их, но почему-то гордился возможности этих физических излишеств, не думая притом нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее.

Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления – и за подстрекательство и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все...

– Да чем же? – спросил я.

– Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует? Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере, не слышать, чтобы она говорила это.

И вот для женщины только два выхода: один – сделать из себя урод, уничтожить или уничтожить в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе – кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы. Но ведь кликуши и пациентки Шарко – это совсем

увечные, а полукалек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается – чем же? – страшно подумать! И толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно, что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе.

Все это было ново и поразило меня.

– Так как же? Если так, то, – сказал я, – выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчина...

– Мужчине необходимо, – подхватил он. – Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам, что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходима водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам, они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора! Дошло уже вот докуда, с ума сходят и стреляются, и все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род, и держатся известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же? Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы – всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит – что же? – половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. А отчего они такие? А только от этого. Да-с, да-с, – повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно желая несколько успокоиться.

XIV

– Вот такой-то свиньей я и жил, – продолжал он опять прежним тоном. – Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер.

Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Всё пустые слова: образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном всеобщем взгляде на женщину.

И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину: «*Wein, Weiber und Gesang*»⁴², и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе, и на Грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслаждение, удовольствие, так как бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину (боготворят, а все-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают ее права на занятие всех должностей, на участие в правлении и т.д. Это всё делают, а взгляд на нее все тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут отменяют внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что

⁴² Вино, женщины и песни (нем.).

рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец.

Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самую себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части случаев, – больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития.

Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека – стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора.

А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, – это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворочит мужчину. И потому главная задача женщины – уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней – для властвования над мужем.

Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это, это – дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.

С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, – доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно.

XV

– Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно.

– Однако вы не любите докторов, – сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.

– Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу не связывать следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко

не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев – их пропасть, – в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рождает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесать нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и она не годится). Но и это ничего. Яд главный – в развращении людей, женщин в особенности.

Нынче уж нельзя сказать: «Ты живешь дурно, живи лучше», – нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлениях или т.п. И надо пойти к ним, а они пропишут на тридцать пять копеек в аптеке лекарства, и вы примите. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука!

Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех она кормила сама.

– Где же они теперь, ваши дети? – спросил я.

– Дети? – испуганно переспросил он.

– Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?

– Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтоб были такие же. Ну, да что делать! Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я – развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают. Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, три раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик. Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах – это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, это трудно, ужасно трудно...

Вы хоть слушаете, я и то благодарен.

XVI

– Вот вы напомнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети – благословенье божие, дети – радость. Ведь это все ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети – мученье, и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не страдать. Наслаждение, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, – меньше страданья, которое они испытывают – не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя.

Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм – не поднимается рука, когда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей и она вся была поглощена ими, – ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь, отчаянные усилия и вновь спасенье –

постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, – она делала и говорила нарочно. Но нет, она сама страшно мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была попытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучаться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их – была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных, – отсутствия воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать; дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные: она греет, кормит его. И, делая это, знает, что она делает все, что нужно. Издохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях – как лечить, о том, как воспитывать, растить, она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух, – на все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рождаться дети. А не так накормили, не так искупали, не вовремя, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать.

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди – доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен; а не захватил этого доктора или живешь не в том месте, где живет этот доктор, – и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку; а вот у Петровых вовремя, по совету доктора, разъехались по гостиницам – и остались живы, а не разъехались – и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг – и спасли ребенка. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животной привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучалась; если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, бог и взял, от бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти только бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое: даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную, животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги, и то не всегда.

Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клистиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковажна.

Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети – это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они

росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок – орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.

XVII

– Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И, наконец, дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она.

На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить – значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: «Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши». Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, – всё дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви – период злобы; энергический период любви – длинный период злобы, более слабое проявление любви – короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видеть бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство – пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать, – думал я на нее, – а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседание». – «Тебе хорошо, – не только думала, но и говорила она, – а я всю ночь не спала с ребенком».

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался.

А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видеть этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя.

Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитания детей. И вот является потребность переезда в город.

Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции.

– Который час? – спросил он.

Я взглянул, было два часа.

– Вы не устали? – спросил он.
– Нет, но вы устали.
– Меня душит. Позвольте, я пройду, выпью воды. И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.

XVIII

– Да, я всё увлекаюсь, – начал он. – Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитание. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Ну, так мы и жили и меньше чувствовали боль от сожигания. Кроме того, первое время было чудесное занятие – устройство в новом городе, на новой квартире, и еще занятие – переездов из города в деревню и из деревни в город.

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому не заметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни – дети – было отнято, и жизнь стала еще гаже.

Мужу, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, еще дети не нужны, они – лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уж нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызания совести.

Нечему угрызать, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та и другая не нарушаются: совеститься перед обществом нечего, все это делают: и Марья Павловна и Иван Захарыч. А то что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной жизни? Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдаты бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто.

Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

XIX

Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну.

– Извините меня, – проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. – Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с, – начал он опять, закулив папиросу. – Она пополнила с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта – страдание вечное о детях – стало проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидела, что есть целый мир божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир божий, которого она совсем не понимала. «Как бы не пропустить! Уйдет время, не

воротишь!» Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания – любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку – детей! Мука эта истомила ее. И вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, – для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота – это обман, что не стоит того – отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, и даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось.

Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо сделав над собою усилие, продолжал:

– Да-с, явился этот человек. – Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки.

Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем. Но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал:

– Дрянной он был человек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой, это должно было быть. – Он опять замолчал. – Да-с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек.

Отец его – помещик, сосед моего отца. Он – отец – разорился, и дети – три было мальчика – все устроились; один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был... – Очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал: – Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усваивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить.

Вот он-то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало, то есть не то, что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по-ихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью.

Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.

XX

– Да, это так было, и недолго перед тем. Жили мы как будто в перемирье, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: «Не медаль, а похвальный отзыв». Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: «Ну, да это давно известно, всегда так: ты сказал...» – «Нет, я не говорил», – «Стало быть, я лгу!..» Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твое существо. Она в том же, еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение; каждое же ее слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше, больше. Я кричу: «Молчи!» – или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: «Дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «Не лги!» – «Ведь это уж не в первый раз!» – кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: «Не притворяйся!» Она говорит: «Для тебя все притворство; ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь!» – «О, хоть бы ты издохла!» – кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю куда. Она не отвечает. «Ну, и черт с ней», – говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее и как это будет прекрасно, как сойду с другой, прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то курю.

А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает: «Где *madame*? когда вернется?» Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую; дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер, ее нет, и два чувства сменяются в душе: злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и бог с ней; если она хочет мучать, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой?.. Одиннадцать, двенадцать, час. Не иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать, и тут же ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать; ничего не могу. Сажу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. Три, четыре часа – ее все нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь – ее нет.

Все в доме идет по-старому, но все в недоуменье и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня. А во мне все та же борьба – злобы за то, что она меня мучает, и беспокойства за нее.

Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное: «Она в ужасном положении. Ну что же это!» – «Да ведь ничего не случилось». Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал.

– Да ведь не может же это так оставаться, – говорит сестра.

– Все ее дело, а не мое, – говорю я. – Я первого шага не сделаю. Разойтись, так разойтись.

Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И

рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю: не вижу глупости, подлости своего положения.

Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась, начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит:

– Не говори больше, ты раскаешься.

Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ: она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах.

– Что? что-нибудь случилось?

– Мамы не слышно.

Идем. Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение: в душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это, и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт – ссора продолжалась два дня, – но потом опять полуобъяснение, полупримирение – и я остался.

XXI

– Так вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек – фамилия его Трухачевский – и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность.

Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокояще красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела – и он краснел, она улыбалась – он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтобы уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. «И не думай, чтоб я ревновал тебя», – мысленно сказал я ей, – «или чтоб я боялся тебя», – мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на

меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучало меня. «От меня зависит, – думал я, – сделать так, чтобы никогда не видеть его». Но сделать так – значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унижительно, говорил я себе. И тут же, в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.

С первой минуты как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» – и ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, по я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по-писаному. Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прорываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней эlegантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя, – не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.

И Позднышев в сильном волнении переменял положение и издал свой особенный звук.

– Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека, – начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным. – Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью). Спрашиваю, – так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное *arpeggio* и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуй, может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было – жалость к себе. «При детях, при няне!» – думал я. Должно

быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать? – спросил я себя. – Войти? Я не могу, я бог знает что сделаю». Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», – сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти *arpeggio* своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидела или услышала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, по она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.

– Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье, – сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.

Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью и что вот между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы? Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придаться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня.

Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) – это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное – музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне: я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет оттого, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую то же. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, – и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен.

Я с особенной учтивостью проводил его до передней (как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!). Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.

XXII

– Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» – думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав, значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо, в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах – робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся, так долго я удерживал дыхание, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать.

– Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь, – и она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне.

Я отстранился, чтоб не касаться ее.

– Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье, – сказала она.

– Я нисколько не недоволен, – сказал я.

– Разве я не вижу?

– Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя, как кокотка...

– Да если ты хочешь браниться, как извозчик, то я уйду.

– Уходи, только знай, что если тебе не дорога честь семьи, то мне не ты дорога (черт с тобой), но честь семьи.

– Да что, что?

– Убирайся, ради бога убирайся!

Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты.

– Ты решительно стал невозможен, – начала она. – Это такой характер, с которым ангел не уживется, – и, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой (это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости; она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня). – После этого меня уж ничто не удивит от тебя, – сказала она.

«Да, оскорбить, унижить, опозорить и поставить меня же в виноватых», – сказал я себе, и вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал.

Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней; но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я сознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее, и тотчас же, вместо того чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне.

– Убирайся, или я тебя убью! – закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила:

– Вася, что ты, что с тобой?

– Уходи! – заревел я еще громче. – Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя!

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав: «Уходи!» – швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бросать оземь их, продолжая кричать:

– Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!

Она ушла – и я тотчас же перестал.

Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, по была истинно больна.

К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью.

Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странна даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку.

– Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видеть его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

XXIII

— Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.

К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ним и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой крышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость – робость преимущественно перед своим умением, – с притворным видом села за рояль, и начались обычные *la* на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Он взял первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам, и рояль ответил ему. И началось...

Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился.

— Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! – вскрикнул он. – У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, – вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, – нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я

прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Всё те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете.

После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое *andante* с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то «Элегию» Эрнста, то еще разные вещицы. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такую, какую она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

Зная, что я должен был через два дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся.

Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой. И их прощанье показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером.

XXIV

– Через два дня я уехал в уезд, в самом хорошем, спокойном настроении простившись с женой. В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствие принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты: мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство эта ревность! – сказал я себе. – Что может быть естественнее того, что она пишет?»

И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов, на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор, – говорил я себе, – нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известный за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена! Что за нелепость!» – представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» – представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий, и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удерживать.

Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать? – говорил я себе, вспоминая их лица. – Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не

только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними?» Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с покрасневшего лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд с чуть заметной улыбкой. «Да, все кончено», – говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя, этого не может быть», – говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, – куришь, и я курил одну папироску за другой, для того чтобы затуманить себя и не видеть противоречий.

Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву; потому прошу, чтобы меня заменил член. В восемь часов я сел в тарантас и поехал.

XXV

Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор и в полутемном вагоне послышался только треск стекол движущегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос.

– Ехать надо было тридцать пять верст на лошадях и восемь часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: «Тогда видно будет, не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в двенадцать часов и домой – в первом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником – всё это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал, и ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый ямщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность подавлять свое чувство кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительность. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене.

Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где

можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. «Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая, – думал я за него, – но что же делать, надо пользоваться тем, что есть». – «Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, – говорил я себе. – Притом она безопасна». – «Нет, это невозможно! Что я думаю! – ужасаясь, говорил я себе. – Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительна даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!» – вскрикивал я – и начиналось опять... Пассажиров в нашем вагоне было только двое – старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке: то я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон; но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш...

И Позднышев вскочил и сделал несколько шагов и опять сел.

– Ох, боюсь я, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно! – продолжал он. – Я говорил себе: «Буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоянного двора, у которого я пил чай». Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук – мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что! Она любит... И опять поднималось то же. Нет, нет... Ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло... Они оба обманывали меня, когда говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что – любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал», – говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидел, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания; тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать, – говорил я себе, – правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться». Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумывания началось опять то же: вместо рассуждений – картины и представления. «Сколько раз я так мучался, – говорил я себе (я вспоминал прежние подобные припадки ревности), – и потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже наверное, я найду ее спокойно спящую; она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было и что все это вздор. О, как хорошо бы это!» – «Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет», – говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек перед виселицей, споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее. И верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже: уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие!

XXVI

– На предпоследней станции, когда кондуктор пришел обирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно решение, еще усилило мое

волнение. Мне стало холодно, и я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих, и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше.

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное, что я так думал, или оттого, что предчувствовал, – не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взшел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. «Так и есть», – сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал:

– Никого-с.

Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто. «Никого-с. Так, так», – как будто говорил я себе.

– А дети?

– Слава богу, здоровы. Давно спят-с.

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. «Да, стало быть, не так, как я думал: то прежде я думал – несчастье, а оказалось все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности. Вот оно все...»

Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство – вы не поверите – чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе – я сделался зверем, злым и хитрым зверем.

– Не надо, не надо, – сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную, – а ты вот что: ты поди, скорее возьми извозчика и поезжай; вот квитанция, получи вещи. Ступай.

Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слыхали звонка. «Только бы не вышли теперь», – думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как – я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею.

Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе: «А может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь», – теперь уж этого не было. Все было решено бесповоротно. Тайно от меня, одна с ним, ночью! Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже: нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Все ясно. Сомнения нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И с тем, чтобы скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую.

В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав все, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал.

«Я – честный человек, я – сын своих родителей, я – всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни, я – мужчина, никогда не изменявший ей... И вот пять человек детей, и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! Нет, это не человек! Это сука, это мерзкая сука! Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала! И так нагло броситься на шею! Да что я знаю? может быть, все время это так было. Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими. И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми грациозными движениями (я увидел все ее привлекательное ненавистное лицо) встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает, Егор. И бедная Лизочка! Она уже понимала что-то. И эта наглость! и эта ложь! и эта животная чувственность, которую я так знаю», – говорил я себе.

Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются, и... Да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею: все-таки она была недурна, главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда», – сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и все только с одной определенной целью.

XXVII

– Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: «Надо после найти их, а то пропадут». Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда.

И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидели меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услышав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере показалось мне в первое мгновение, было еще огорчение, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем.

На мгновение я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

– А мы вот музицировали...

– Вот не ждала, – в то же время начала и она, покоряясь его тону.

Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему.

Оба не договорили... Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидел, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул:

– Опомнитесь, что вы! Люди!

Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданная эта помеха, тяжесть и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попала. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом.

– Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего... Клянусь!

Я бы и еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызвали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло *crescendo*⁴³ и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы.

– Не лги, мерзавка! – завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была... Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, – это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтоб возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что я ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула:

– Няня! он убил меня!

Услышавшая шум няни стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу и это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала и няня с криком: «Батюшки!» – подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.

«Не надо волноваться, надо знать, что я делаю», – сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. «Что теперь надо делать?» – спросил я себя и тотчас же понял что. Войдя в кабинет, я прямо

⁴³ нарастая (итал.).

подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его – он был заряжен – и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван.

Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно!

– Слышал ты, что случилось? – сказал я. – Скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию.

Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироски и спичку, стал курить. Я не докурив папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал, верно, часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. «Это полиция, – подумал я, просыпаясь. – Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было». В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос: было это или не было? Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. «Да, было. Да, теперь надо и себя», – сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело: помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже, на железной дороге, мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» – спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. «Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще». Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова.

– Вася! что это? – сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились.

– Что надо? – грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона.

– Вася, она умирает! Иван Федорович сказал. – Иван Федорович это был доктор, ее доктор, советчик.

– Разве он здесь? – спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять. – Ну так что ж?

– Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно, – сказала она.

«Пойти к ней?» – задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. «Если так делается, то надо идти, – сказал я себе. – Да если нужно будет, всегда успею», – подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. «Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им», – сказал я себе.

– Постой, – сказал я сестре, – глупо без сапог, дай я надену хоть туфли.

XXVIII

– И удивительное дело! Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было, но запах этой докторской гадости – йодоформ, карболка – поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидел Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели – к ней был легче подход – лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках, в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня се распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога.

– Подойди, подойди к ней, – говорила мне сестра.

«Да, верно, она хочет покаяться», – подумал я. «Простить? Да, она умирает, и можно простить ее», – думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила:

– Добился своего, убил... – И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. – Детей... я все-таки тебе... не отдам... Она (ее сестра) возьмет...

О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать.

– Да, полюбуйся на то, что ты сделал, – сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. – Да, вот что ты сделал.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидел в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, – вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «Прости!» – но не смел.

Она молчала, закрыв глаза, очевидно не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня.

– Зачем все это было? Зачем?

– Прости меня, – сказал я.

– Прости? Все это вздор!.. Только бы не умереть!.. – вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. – Да, ты добился своего!.. Ненавижу!.. Ай! Ах! – очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она. – Ну, убивай, убивай, я не боюсь... Только всех, всех, и его. Ушел, ушел!

Бред продолжался все время. Она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого, в восемь часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда...

Он что-то хотел сказать и, не в силах будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал:

– Я начал понимать только тогда, когда увидел ее в гробу... – Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: – Только тогда, когда я увидел ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять... У! у! у!.. – вскрикнул он несколько раз и затих.

Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной.

– Ну, простите...

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, – это было в восемь часов утра, – я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал.

– Прощайте, – сказал я, подавая ему руку. Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

– Да, простите, – повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

6. Аким Арутюнов. «Мое прошлое»

Повесть

http://thelibrary.ru/books/akim_arutyunov/moe_proshloe-read.html

Часть первая

Желтые холмы Казахстана

Мой дед Ким Ги-Ен происходил из рода крупного военного чина, начальника королевской стражи, который в XV веке после дворцового переворота вынужден был бежать и скрылся в глухой провинции на севере Кореи. Там и проросла наша тоненькая фамильная ветвь, которая впоследствии проникла в Россию, где я и увидел свет. Корни же моего старинного рода находятся в провинции Каннинг и уходят на большую историческую глубину, начинаясь со времен образования государства Силла.

Появлению моего деда в России предшествовала миграция корейцев, начавшаяся в шестидесятых годах прошлого века. Уходили с севера Кореи безземельные крестьяне, переселяясь на малолюдную тогда окраину Российской империи в поисках свободного жизненного пространства.

Дед перебрался в Россию примерно в 1908 году, когда уже тысячи корейских семей поселились на землях российского Дальнего Востока и Приамурья. Российские власти, заинтересованные в быстрой колонизации Дальнего Востока, вначале охотно давали русское гражданство корейским эмигрантам и наделяли их земельными участками. Но впоследствии, когда поток корейских переселенцев значительно увеличился, а из самой России на Дальний Восток было переселено достаточно русских крестьян, благоволение властей к корейским эмигрантам прекратилось.

Мой дед отправился в Россию один, оставив в Корее семью. Он был крестьянином, хотел иметь свою землю. Но на родине земли у него не было, а на чужбине ее не досталось – к тому времени, когда мой дед пришел в Россию, землю новоприбывшим корейцам выделять перестали. Дед нанялся работником к какому-то зажиточному земляку по фамилии Ко.

Вышло так, что этот Ко вскоре умер, оставив после себя жену и сына, а мой дед, живший в их доме, постепенно стал за хозяина и вскоре женился на вдове. От второго брака у него родилось трое сыновей, одному из них и суждено было впоследствии стать моим отцом.

Сочетаясь новым браком, дед полагал, видимо, что станет владельцем той земли, которая принадлежала умершему хозяину. Но фамильный клан Ко решил по-своему: усадьба и вся земля были переданы подростку сыну покойного. Деду же достались не очень-то покладистая жена, прежняя бедность да горькое чувство вины.

Так начиналась, с глубинной боли вины, русская жизнь нашей корейской ветви. Мечта деда, его всеильная крестьянская страсть – своя земля – лишь в какую-то неверную минуту причудилась ему. Он умер от тоски и безысходности в 1918 году.

Тогда пришел из Кореи его младший брат, пробравшись через запертую японцами границу. Он отыскал старшего брата и потребовал от него, чтобы тот вернулся в Корею, где много лет ждет, пребывая в большой нужде, его первая семья. Но этого дед не мог сделать: с маленькими детьми совершить опасный путь через границу было невозможно. Бросить троих сыновей и вторую жену он тоже не мог. У деда никакого выхода не было, как только умереть. И он однажды, вернувшись с поля, лег в своем углу, отвернувшись к стене, и больше не встал. Похоронен он был на чужбине, где-то на берегу реки Амур, у села Благодословное. Мой отец, Андрей Ким, был крещен там же в русскую православную веру и наречен христианским именем. Но, несмотря на это, отец никогда не был по вере и по характеру русским человеком. Он всегда оставался корейцем – во всей полноте своей натуры.

До пятнадцати лет, когда отец был направлен учиться на рабфак, он прожил с дядей. Тот после смерти своего старшего брата остался в России, считая своим долгом вырастить и воспитать трех племянников. У самого же дядьки в Корее остались его семья и дети, с которыми он больше никогда не встретился в этой жизни. Когда племянники выросли и разлетелись кто куда, дядька решил пробираться на родину через Маньчжурию. На маньчжурской границе он и сгинул, никто больше о нем ничего не слыхал.

В 1937 году, когда настал самый кровавый год сталинских репрессий, корейцев принудительно выселили с Дальнего Востока. Крестьян, служащих, студентов, рыбаков, детей и взрослых, актеров театра, охотников за пантами и искателей горного женьшеня – всех корейцев погрузили в товарные вагоны и под конвоем отправили в западном направлении...

Моя бабушка с материнской стороны, при крещении нареченная Анной, не раз вспоминала впоследствии, грустными глазами уставясь куда-то в пространство и деловито загибая пальцы на руке: «Нам пришлось все бросить: новый дом, двух лошадей и дойную корову, весь урожай риса, соленые кимчи, закопанные в глиняных бочарах в землю... Полный сундук, набитый кусками полотна. И всю посуду: медные тазы, глубокие и мелкие чаши, блюда, много ложек и палочек для еды – и все это из жаркой меди, вычищенной до блеска... Вся посуда осталась целехонькой лежать на полках».

Итак, корейцев непонятно за что переселили с Дальнего Востока в пески Казахстана, Узбекистана, в другие районы Средней Азии. Их лишили дома, имущества, привычных родных мест – и глубокой осенью тридцать седьмого года ссадили с товарных вагонов в камышовые болота у озера Балхаш, на угрюмые пески Кызылкумов, в малярийные долины Узбекистана.

Это насильственное переселение прямо обвиняло: виноват! Но в чем? Так до сих пор и не выяснено, в чем обвинялось корейское население Дальнего Востока. И около трехсот тысяч человек отправилось отбывать бессрочную ссылку, затаив в себе чувство неясной вины.

Вот так я и родился с комплексом вины в своей крови 15 июня 1939 года в Казахстане, в южной его части, у гор с названием Тюлькубас, в поселке русских переселенцев Сергиевке. Я помню голубой свет небес, мелькнувший за окном. Помню маму, срезающую на огороде большим ножом зеленые перья лука... Дует ветер, темные деревья сильно раскачиваются, стекло на окне, плохо примазанное к раме, стучит: тыр-та! тыр-та! тыр-та!.. Это Сергиевка. Мой отец получил там работу после окончания педагогического института. Мне, значит, два года от роду.

Будет преувеличением говорить, что человек способен в самом раннем возрасте постичь тягость и печаль существования. Нет, ничего подобного я тогда еще не мог осознавать, а тягостное ощущение жизни рождалось потому, что началу моей жизни – с двух лет и до шести – сопутствовало военное лихолетье. И чувство голода, может быть, являлось тогда моим главным ощущением бытия...

В том случае, если ты просыпаешься и, еще лежа в постели, хочешь есть, а потом весь день также хочешь есть, а еды почему-то не дают, – разве не похоже это на некую фатальную виноватость? Ты вроде бы виноват уже только тем, что появился на этом свете и хочешь есть.

К этому времени наша семья переселилась в другой край просторного Казахстана, к горам Талды-Курган. Перед моими глазами засветились под неистовым солнцем блекло-желтые холмы с округлыми вершинами, совершенно безлесыми, лысыми.

Вот на эти холмы я как бы и сошел с облаков и зашагал по брэнной земле – и до сих пор иду, не представляя себе ясно, куда должен прийти под конец. Итак, степь и желтые холмы Казахстана стали первой картиной моей души. Будучи в этом мире художником, я мыслю цветом, линией и художественными образами. Мир нашей души – это музей Божественного искусства. Каждый из нас носит в себе целую картинную галерею. Большие и важные части своей жизни я представляю в виде законченных картин.

Почему холмы Казахстана видятся мне блекло-желтыми, как цвет старого меда? Ведь ранней весной эти круглые горы вдруг наливаются ярким сиянием зелени – нет ничего на свете зеленее. Огромные алые облака диких тюльпанов вдруг в одночасье словно опускаются с небес на землю. И тогда безлесые склоны холмов становятся нарядными, как расписные шелка.

Над пыльно-желтой степью парят в размытом небе неторопливые орлы. И то огромное пространство, которое вмещает в себя и круговые полеты орлов, и предгорную равнину, и желтые холмы Казахстана, навсегда вошло в мою душу. Каждый народ живет там, где Бог определил ему жить. Но отдельные человеко-частички отрываются, словно искры от пламени костра, и могут улететь очень далеко... Я родился в Казахстане, стране бескрайних степей,

выгоревших под солнцем, и неспешных орлиных спиралей над горами. Душу человека формируют ландшафты той страны, которую впервые увидел он в самом раннем детстве.

В дальнейшем она не может измениться. Душа может только расшириться и дополниться другими картинками мира. Я навсегда останусь огнепоклонником солнца, яростно пылающего над раскаленной бескрайней степью. Мне всегда будет душно и тесно в каменных ущельях городов, какими бы просторными и громадными они ни были. И жаркий пот на лице окажется для меня милее, чем прохладная сухость кожи в искусственном воздухе комнат, оборудованных кондиционерами.

И еще одно: никогда не перестанет шуметь и мельтешить в моей душе многоязыкий пестрый базар народов. Я стану человеком множественного, полиментального склада характера. Мой естественный космополитизм во всех случаях идет от моих самых ранних впечатлений...

Казахстан времен моего детства был местом ссылки, беженства и военной эвакуации многих народностей империи. Огромные просторы Казахии советская имперская власть предопределила как тюрьму для разных народов. В этой тюрьме находились ссыльные нации: немцы, чеченцы, крымские татары, корейцы и другие. По воле Сталина эти народы были сорваны со своих родных мест и брошены на малообжитые, бедные земли, словно за тюремные стены, откуда нет свободного выхода.

Корейцы стали первыми, кого заключили в казахский «лагерь народов». И я родился уже несвободным – мои родители считались ссыльными, и в паспортах у них поставили особые пометки. За пределы Казахстана выезжать им запрещалось. Это положение сохранялось больше десяти лет.

Во время войны с Германией Казахстан оказался убежищем для бесчисленных беженцев, уехавших от нашествия немцев, и местом ссылки двух миллионов «русских немцев» с Поволжья, где они жили на протяжении нескольких веков. Когда мне исполнилось лет пять-шесть, моими друзьями были Роман и Эльза, рыжеволосые немецкие дети. Их мать Клара, миловидная полная женщина, работала уборщицей в школе, где устроился мой отец после переезда из Сергиевки.

Чеченцы представлялись страшноватыми людьми. Особенно страшными в них казались их огромные бараньи шапки с длинным мехом, свисавшим прядями на глаза, крючковатые носы и всегда почему-то рваная одежда, туго перехваченная на поясе узким ремнем.

У корейцев с чеченцами сложились довольно напряженные отношения. Я помню, была корейская свадьба – и вдруг народ зашумел и повалил на улицу. А там уже кипело настоящее сражение между чеченцами и корейцами. Причем дрались не только мужчины: чеченцы при подобных схватках вступали в бой всем скопом, от мала и до велика, молодые женщины и старухи, детвора и подростки.

Вооружались они чем только могли: дубинами, железными кочережками, мотыгами. Бабы чеченские поднимали пронзительный вой и были не менее страшны, чем их мужья в лохматых шапках.

В другой раз, я помню, в полях толпа корейцев гналась за одиноким чеченцем. Он был в большой бараньей шапке, хотя стояла жара. Оказалось, что этот человек вор: он угнал у корейского хозяина корову и зарезал ее... Его догнали посреди поля – и на моих глазах толпа стала побивать его колями... Время было жестокое и беспощадное – настал послевоенный голод.

Чеченцев привезли с Кавказа где-то к осени, и они дружно принялись строить дома из глиняных кирпичей-саманов. Но к зиме дома у них не были готовы: стояли без окон, без дверей. У переселенцев начался, видимо, голод. Чеченские женщины с протянутой рукой сидели на снегу вдоль дороги, низко надвинув на лицо платки.

Но через год-два чеченцы прижились на новом месте, как и корейцы, и немцы, и другие ссыльные народности. Они стали нашими соседями в городке Уш-Тобе, где мы оказались после нового переселения, и у меня были даже друзья среди них: Ибрагим, Шамиль... На городском рынке появились наспех сколоченные чеченские лавочки и ларьки. Их хозяева в лохматых шапках уже не были одеты в рвань, на поясах у некоторых появились богато украшенные кинжалы в ножнах. Казахстан моего детства, солнечный и жаркий, с шумными многоязыкими базарами, взрастил в моей душе то человеческое начало, которое развивалось потом в течение всей жизни и стало причиной и оправданием моей судьбы. Я очень рано начал осознавать, что корейцы, к которым принадлежу и я, не являлись хозяевами жизни там, где мы жили. Мое детское сердце постоянно тревожилось за родителей, в особенности за отца, у которого бывал

неуверенный и виноватый вид, когда у него случались какие-то неурядицы или осложнения по службе.

Я побаивался чеченцев, дружил с бедными немецкими детьми и завидовал своему единственному другу-казаху, малышу Масабаю, у которого была своя верховая лошадь. У меня ее не было и никогда не могло быть.

В этом моем детском чувстве невозможности сказывалась горечь моего деда-крестьянина, у которого так и не было своей земли. Пожалуй, и моя душа предчувствовала, совсем недавно появившись на свете, что у меня «своей земли» тоже никогда не будет. Надо было устремиться к чему-то, что должно быть свободным от эмигрантского комплекса национальной ущемленности. Надо было освободиться и от чувства вины, с которым ушел из жизни мой дед Ким Ги-Ен, и обратиться к такой жизни, которая дала бы мне чувство уверенности и правоты.

Как-то отец привез мне из города новые тапочки из мягкой, желтой чудно пахнущей кожи. Это было время послевоенной разрухи, когда дети все лето и до холодов бегали босиком и не знали никакой обуви. В первый же день, когда я пошел гулять в обновке, случилась беда. Мне захотелось пить, и я, подойдя к реке, снял с ног тапочки, аккуратно поставил их на берегу, а сам вошел в воду, где было поглубже, почище, и стал пить. Затем вышел из реки и, забыв о тапочках, ушел восвояси. Спихватился я лишь к вечеру и с плачем побежал к реке.

На том месте теперь расположилось на водопой стадо коров и стоял пастух, покуривая табачок. На мой вопрос, не видел ли он здесь тапочки, пастух ответил не сразу. Он вначале задумался, потом сказал, что здесь днем был Бобыль-Горшечник, который набирал в бочку воды, и Горшечник, должно быть, эти тапочки и подобрал.

Уже в сумерки я подошел к жилищу Бобыля-Горшечника – оно было на самом дальнем краю деревни, у изрытого глиняного оврага. Я очень боялся, потому что этого человека считали не совсем нормальным: он жил один, без семьи, ни с кем не общался и был всегда угрюмым и злым на вид.

Но при встрече он оказался вовсе не таким. На мой громкий плач он вышел из своей хибарки, участливо расспросил меня, в чем дело, и живо вернул мне утерянное, сбегав за тапочками в дом. Он проводил меня и на прощание погладил по голове.

Это был пожилой кореец с седой головой, с глубокими морщинами на лице. Я полагаю, что с этой встречи во мне и возникло доверие к человеческой доброте.

На Дальний Восток

Прошлое не существует – пустота прошедшего времени поглощает все предметы, события, смех и рыдания. Остаются только неясные отражения в памяти да те земные пространства, на которых когда-то все это совершалось: смеялось, рыдало, возникало и исчезало.

Итак, прошлого нет, но его можно добывать из памяти и строить из этого призрачного материала некое сооружение. Чем я и занимаюсь сейчас: что из этого получится? Может быть, вскрикнет оно, это еще неведомое произведение, и запоем птичьим голосом, а потом взмахнет крыльями и, поднявшись в воздух, вдруг бесследно растает в воздухе? Не знаю, не знаю.

Но я думаю, что всякий человек интересен. Для людей всегда интересны другие люди: какая бы жизнь ни предстала перед слушателями, почему-то им любопытно послушать рассказ о чьей-то неведомой судьбе. Вот и мне захотелось посмотреть на свое прошлое как бы со стороны...

После того как распахнулись степные орлиные просторы в моей детской душе и она пропиталась насквозь раскаленной жарой казахской пустыни, наша семья вдруг переехала на другой край света – на самый восток страны. Мы попали на Камчатку, затем в Уссурийский край, где в тайге до сих пор еще живут тигры. А оттуда уже переехали на остров Сахалин...

Кончилось время ссылки для советских корейцев, они с 1948 года могли ехать куда угодно, и мои родители в числе многих других сразу же решили вернуться на Дальний Восток.

Добираться от Казахстана до Владивостока пришлось целый месяц в товарных вагонах. Из них составилась длинный эшелон. Все было почти так же, как и в 37-м году, только на этот раз не было сопровождающего конвоя и корейцы ехали не в какую-то неизвестность под принуждением властей предержащих, а добровольно возвращались в родные края.

Дальний Восток стал для меня местом, с которого открылась моей душе беспредельность мира. Просторы Тихого океана, по которому мы плыли на пароходе много дней, добираясь до Камчатки, оказались первыми голубыми страницами книги бытия, рассказывающей о бесконеч-

ности. Эти страницы были перелистаны по-детски бездумно, но в глубинах памяти навсегда остался шелест перелистываемых страниц – ночной шум волн.

Когда корабль, на котором ты плывешь, на много суток оказывается в открытом море и вокруг только вода темно-синего цвета словно единая плита гладкого камня-лазурита, ты оказываешься как бы стоящим в одиночестве на пороге космического пространства. Мы должны знать, где мы живем. Мы живем в беспредельных просторах космоса.

Но для того чтобы жить без страха и отчаяния, тебе нужно что-то совсем небольшое, теплое и любимое. Из Казахстана мы довели до Камчатки полмешка самых ранних яблок. Это были еще зеленые, мелкие яблоки, но они так чудесно пахли и были такими вкусными!

И когда мы приплыли на место и наш огромный пароход стал на рейде в виду камчатских берегов, нас охватил ужас. Был июль, а на вершинах и склонах гор, синеющих вдаль, еще лежал снег! Небо было темного, непроницаемо-каменного цвета...

Некоторые женщины из нашей переселенческой группы в голос заплакали. Моя мать тоже запричитала, глядя на суровый, диковатый камчатский берег. А я, стоя рядом с мешочком яблок, вдыхал их нежный аромат и впервые испытал печальное чувство утраты.

Когда ты уходишь из родного дома в широкий мир, то утрачиваешь первое ради того, чтобы обрести второе. Мне было девять лет, когда я неосознанно – одним лишь детским наитием – ощутил неизбежность печали тех, кто не хочет оставаться в отчем доме, как бы там ни было хорошо и уютно. О Казахстан, я навсегда покинул тебя!..

Я взволнованно, с любопытством вглядывался в незнакомый ландшафт, и мне скорее хотелось попасть туда, побродить по этим синим горам и потрогать рукою белые языки прошлогоднего снега. С Камчатки началось мое неодолимое желание бродить по миру, созерцать его новые и новые ландшафты, восхищаться разнообразием творений Бога-художника.

На Камчатке и впоследствии на Сахалине мой отец работал в школах, где учились дети корейцев, которые приехали туда непосредственно из Кореи. На камчатские рыбные промыслы были вывезены сезонные рабочие из Северной Кореи – сразу же после освобождения от японской оккупации. А на Сахалине оставались корейцы, вывезенные еще раньше из Южной Кореи для работ в угольных шахтах и на лесоразработках.

Встречаясь с «натуральными» корейцами, я, сын эмигранта во втором поколении, не находил большой внутренней близости с ними. К тому же с самого начала мне пришлось учиться в русских школах и я почти не знал корейского языка. Но главным разделяющим барьером было то, что моя жизнь с самого рождения проходила совсем в иных условиях, чем жизнь моих маленьких корейских приятелей.

На Камчатку привезли корейцев из страны, в которой долгое время хозяйничали завоеватели, пытавшиеся подавить всякое национальное достоинство местных жителей и даже задавшиеся целью полностью их ояпонить. Детей в школах, как известно, заставляли обучаться на японском языке, муштровали по-военному и ежедневно обязывали кланяться в ту сторону, где предполагалось находиться микадо, великому императору. А у нас хотя и имелся свой собственный микадо, товарищ Сталин, мы никаких поклонов не били, хотя верноподданнические чувства и обожествление государя бытовали в не меньшей мере.

Корейцы в своей стране на протяжении почти полувека считались существами низшего порядка. Но при переезде на Камчатку, после освобождения от японцев, корейские сезонники вновь оказались людьми «второго сорта». Живущие среди разношерстного люда, завербованного во всех краях широчайшей России для работ на камчатских рыбных промыслах, корейцы вдвое меньше получали за одну и ту же работу, чем русские, потому что последним начислялись к заработку 100 процентов за работу в северных условиях, а эмигрантам этого не платили. Все это, вместе взятое – и старые привычки запуганных японцами, вымуштрованных несвободных полуграждан, и новые тяжелые условия жизни на провонявшей рыбой камчатской сезонке, и гнетущий отпечаток застарелой бедности, – отнюдь не делало привлекательным облик корейских рабочих. Неуверенными, жалкими выглядели они на грязных улицах поселка среди примитивных бараков концлагерного типа, где жили тогда сезонники камчатских промыслов.

Мой отец был направлен туда директором школы для корейских детей. Но, когда мы прибыли на место, оказалось, что никакой школы там нет: не было для нее помещения. Местная администрация отказалась выделить дом для корейской школы, потому что не хватало жилья и для прибывших с материка рабочих, многие из которых жили семьями в больших брезентовых палатках, отапливаемых железными печками, – в таких палатках они должны были и перезимовать, кое-как утеплив их высокими завалинками из земляного дерна.

Условия жизни сезонников мало чем отличались от каторжных, и в подобных обстоятельствах, да при громадной отдаленности от центра, местная администрация осуществляла власть по своему произволу и даже слышать не хотела о какой-то школе для детей корейских эмигрантов. И тогда мой отец, доведенный до отчаяния, без ведома начальства послал телеграмму в Москву, в Кремль, на имя самого генералиссимуса Сталина. В телеграмме этой отец подробно изложил суть дела, и получилась она очень длинной – на нее ушло, как рассказывал он, весьма много денег.

Ответ пришел неожиданно скорый: на следующее утро. И он был совсем коротким в отличие от телеграммы отца. «ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬСЯ ВОВРЕМЯ – СТАЛИН». Так значилось в ответе. Это был известный лаконичный стиль генералиссимуса. Телеграмму принесли в барак, где мы жили, часов в шесть утра. Прибежала и вся верхушка местной администрации: начальник рыболовецкого комбината, председатель поселкового Совета, парторг. Перепуганные до смерти, они подобострастно приветствовали отца и сообщили ему, что комбинат выделяет для корейской школы два бревенчатых многоквартирных дома – на его выбор. Это были дома из тех, в которых жили «лучшие люди» поселка, то есть та же администрация и все высокое начальство. Отец выбрал два дома, и в тот же день прежние жильцы были выселены куда-то, а наша семья переехала на новую квартиру – отец получил ее как директор школы. И занятия в ней действительно начались «вовремя», как приказал Сталин.

История эта требует некоторого разъяснения. Сталин в то время был для нашего народа не просто божеством, но божеством грозным и карающим. С его правлением так или иначе было связано истребление почти четверти всесоюзного населения. Он был скорее богом мертвых, чем живых. И к такому богу обычный маленький человек не смел обратиться напрямую. Но вот отец мой дерзнул – и даже получил самый благоприятный ответ. Что случилось, почему тиран, принесший несчастья и беды стольким народам и племенам, вдруг обратил внимание на столь ничтожный факт, как жалоба отца, и немедленно соизволил проявить свое личное благосклонное вмешательство? Историческая загадка, как говорится... Может быть, он вспомнил, как в 37-м году самыми первыми жертвами «переселения народов» стали именно корейцы?..

Что бы там ни было, но корейская школа была открыта, и мои родители стали ее первыми учителями. С того времени я мог соприкоснуться более тесно с жизнью людей, с которыми у меня были общие древние корни. Но, не имея еще никаких представлений о подобных вещах, я детским сердцем переживал довольно сложные чувства от своих новых встреч. Были они разными – иногда странными и непонятными, приятными и жутковатыми, пробуждающими жалость или вызывающими в душе протест и ожесточение. Но меня все это глубоко волновало – я понимал, что соприкасаюсь с тайной и началом своего подлинного естества.

Моя отдельная человеческая судьба не могла выстроиться вне этой древней духовной природы. Национальное начало – невидимый ствол духовного древа – подымлет в мире каждую душу, где бы она ни оказалась по воле прихотливой судьбы. И, тогда еще наивный ребенок, я не мог никоим образом понять или оценить все то, до боли родное и близкое, что вдруг обнаруживалось в каких-то нюансах и частностях существования моих черноволосых соплеменников. Как-то первой камчатской весной, наступившей после многоснежной зимы, я увидел во дворе перед одним из рабочих барачных драку двух корейцев. Двор был покрыт подтаявшим льдом, поверх которого размазалась черная грязь, по такому месту и ходить было трудно – не то что драться. Но, постоянно оскальзываясь и размахивая руками для сохранения равновесия, два молодых корейца дрались страшно, жестоко. Один из них, более рослый и мускулистый, был голым по пояс, и его широкое тело было покрыто грязью и алыми потеками крови – видимо, уже падал на землю и поранился о ледяные острые края. Второй был невысокий, сухощавый, в черной рубахе с закатанными рукавами. Первый издавал какие-то яростные звуки и наваливался на противника с бешеным напором. Второй действовал молча и более защищался, чем нападал. Но именно он ловко обхватил первого и с размаху бросил его на ледяную землю. Усевшись на него верхом, сухощавый нанес два страшных удара кулаками по лицу противника. Тот сразу обмяк и, потеряв сознание, замер на липком от грязи льду, широко раскинув руки. Победитель с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, побрел к барачу...

На другое утро, направляясь в школу, я увидел, как сухощавый кореец несет на спине своего побежденного в драке противника. Тот был одет, держался за плечи своего победителя и с закрытыми глазами тихо, жалобно стонал. А сухощавый, все в той же черной рубахе, тащил на спине израненного товарища, низко пригибаясь к земле. Он исподлобья смотрел перед собою на

грязную, скользкую дорогу, и на лице его было отчаянное выражение. Я увидел, что он беззвучно плачет на ходу. Это был молодой мужик лет тридцати...

Куда этот кореец нес своего искалеченного земляка? В больницу? К его родному дому, где заботливые родственники спасут, вылечат его? Или к светлому будущему человечества, где и корейцы, и все другие народы мира будут жить без гнева и ярости, без братоубийства и глубокого, отчаянного чувства вины за содеянное зло?

За счастьем на край света

Я часто удивлялся тому, как легко и безбоязненно мои родители решались на переезды в самые отдаленные края, куда надо было добираться со всем громоздким домашним скарбом, с малыми детьми. И это еще в те далекие времена, когда на железных дорогах составы тянули паровозы, отфыркиваясь на бегу тугим паром, а на морях пароходы пускали из труб черные хвосты дыма через все небо.

Камчатка была самым дальним краем земли, который только мыслимо было представить. И туда из Казахстана мы отправились с какими-то огромными узлами, увязанными в старые одеяла, с разобранной металлической кровати, на спинках которой красовались сверкающие никелированные шишки, а на ножках имелись маленькие колесики. И самым главным грузом (в том и во всех последующих переездах) нашего домашнего каравана была ножная швейная машинка «Зингер», в ободранном фанерном футляре, с чугунной станиной страшной тяжести. (Эта родная, домашняя «Зингер» на моей памяти переезжала из Казахстана на Камчатку, с Камчатки в Уссурийский край, оттуда на Сахалин, с Сахалина во Владивосток, оттуда в Москву и, кажется, под конец в город Боровск Калужской губернии, где моя матушка, хозяйка машинки, обрела вечный покой на краю большого русского кладбища...)

Тогда, сразу после войны, многих людей в России охватила страсть к перемене мест. Особенно густым был поток переселенцев из центральных областей страны на ее дальневосточные окраины, в районы Крайнего Севера, на Чукотку, Камчатку и Сахалин. В этих краях образовалась особая категория населения, которая называлась «вербованными». Как правило, это были одиночки или семейные, которых на прежних местах особо ничего не удерживало. Сталинское госрабство и военное разорение, колхозное крепостничество и насильственные национальные переселения сделали народ поистине бедным и нищим. А такой народ-бедняк всегда легок на подъем. Бедному ведь всегда хочется уехать куда-нибудь подальше от своей бедности. А куда же дальше Сахалина, Чукотки или Камчатки?

В стране за железным занавесом никому нельзя было даже и помечтать о богатой Америке или, скажем, о сказочной Австралии. Европейцы после войны так и ринулись за океаны, а мои соотечественники – в места не столь уж отдаленные. Советские лагеря для заключенных удивительно точно копировали советское государство. Тот же «хозяин», всевластный «гражданин начальник» лагеря, надзиратели и конвойные солдаты для обеспечения установленного порядка. Те же покорные и запуганные граждане-заключенные, работающие кое-как, из-под палки, и получающие за свой труд миску казенной баланды.

Эти лагеря, в особенности с политическими заключенными, в большом количестве были расположены на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири и на Сахалине. И как ни странно, но именно туда устремлялись наиболее вольнолюбивые люди СССР. Те из них, которые не удовлетворялись скудно отмеренной государственной «пайкой», а надеялись что-то и сами раздобыть себе в щедрых на природные богатства отдаленных краях.

Русский Клондайк громадной советской империи – Дальний Восток – манил многих. Там в конце концов оказывались люди, которые смутно чувствовали, что на окраине империи можно будет удачливее обернуть свой единственный капитал – жизнь – и повыгоднее распорядиться дозволенной частной собственностью – своими рабочими руками. Государственный надзор слабел там, где зимой крепчали морозы и бушевали тайфуны и люди могли заработать больше денег, чем это полагалось на других территориях империи.

Зарабатывая достаточно, в этих отдаленных краях особенно не на что было потратить деньги, поэтому люди невольно их копили. Банковская система в те годы для большинства безденежного народа в стране была непривычной, и для дальневосточных вербованных обыкновением было держать деньги дома, «в чулке». За несколько лет их собиралось немало, и человек, находясь в своем убогом жилье барачного типа, одетый кое-как, все же чувствовал себя неким богачом.

Что значили деньги для наших советских людей? Ведь их много не могли иметь, а кто имел, тот вызывал большие подозрения. Честным трудом невозможно было нажить много денег, а кто ухитрялся как-то сколотить капитал, тот должен был скрывать его. Миллионер автоматически становился «подпольным», вынужденным хорониться от гневного суда общественности, если даже он был и не преступником, а знаменитым писателем или артистом. Люди должны были существовать не богато и не бедно, а вполне «по-советски», то есть так, как определит государство.

И только в условиях Севера или Дальнего Востока обычные граждане могли иметь сравнительно много денег без каких-либо опасений. Несмотря на то что в быту жили они намного хуже, чем население «Большой земли», дальневосточники и северяне – моряки, рыболовы, шахтеры, летчики, лесорубы, сезонники – чувствовали себя несколько иначе. Они были избавлены от всесоюзной озабоченности рядового советского человека, что денег может не хватить до следующей зарплаты. Дальневосточник переставал мучиться над проблемой – у кого бы занять несколько рублей до аванса. Он мог спокойно сам дать займы. Я вспоминаю обо всем этом потому лишь, что пытаюсь определить некий общий характер дальневосточных людей, среди которых прошли мои детство и отрочество. Они были внутренне свободнее, щедрее и к другим людям гораздо внимательнее, дружелюбнее, чем жители столиц. Многие годы, живя потом в Москве, я тосковал по Дальнему Востоку и по его людям. Мне казались тесными большие квартиры столичных жителей и душными, мелочно-расчетливыми их отношения.

Знал я также других дальневосточников, которые уезжали на материк, жили в хороших краях, прекрасно устраивались – и не могли привыкнуть на новом месте. Ностальгия по Дальнему Востоку не покидала их. Это были русские, белорусы, грузины, армяне, корейцы – разных национальностей, характеров и возрастов люди, но с какой-то трудно уловимой, однако явной общностью душевного устройства. Словно люди, принадлежащие к одной религии. Многие из них после нескольких лет жизни на материке бросали все и возвращались назад – к беспредельности океанских просторов, к великим снегам зимы, к внезапным дождям и туманам, заволакивающим прибрежные скалы, сопки, поселки.

Была денежная реформа в конце сороковых годов. Помнится, на Камчатке зима стояла тогда особенно многоснежная. Сугробов навалило выше домов, и мы, детвора, катались на лыжах с крыши, проезжая мимо дымящих печных труб. В такой день приехал в наш поселок на собачьей упряжке человек из дальнего рыбацкого селения. Из-за сильной пурги он не смог пробиться вовремя и не успел к сроку обмена денег. А привез он два мешка, туго набитых самыми разными купюрами. В банке ему объявили, что еще вчера срок реформы прошел, и денег на обмен не приняли. Тогда этот человек, рыбак и охотник, открыл дверцу топившейся там печки и пачку за пачкой побросал в огонь все деньги. Трудился целый час. В мешке было несколько сотен тысяч – сумма неслыханная по тем временам. Затем вышел из банка, ни с кем не обмолвившись ни словом, сел в нарты. Но тут вспомнил, что оставил у печки мешки, вернулся за ними, забрал их и лишь после этого погнал собак обратно домой.

Такова была или легенда. Но это не важно... Здесь сам характер человека и его действия интересны. Несомненно, это был истинный дальневосточник. Мне кажется, что я видел и помню его: курчавый с сединою, высокий, большеносый, в меховых унтах... А возможно, я пытаюсь оживить легенду иллюстрацией своего воображения...

На Востоке империи Советов ее граждане осуществились «по-советски» в наиболее характерных качествах этого историко-этнического понятия: советский человек. Несмотря на то, что теперь СССР самоуничтожился и твердыни Советов рухнули под тяжестью своих грехов, ради истины надо сказать, что советский человек был и продолжает быть, несмотря на гибель породившей его политической и социально-экономической системы. И я хочу рассказать, каким он был на Дальнем Востоке, в дни моего детства.

...Итак, он сжег два мешка денег и на облегченных нартах поехал домой, зычно покрикивая на ездовых собак и потрясая остолом, толстой палкой с железным острием на одном конце и с ременным бичом на другом. На полдороге к дому человек остановил свою многохвостую лохматую упряжку, поставил нарты на прикол, глубоко воткнув остол в снег меж перекладин саней. Потом достал из чехла двустволку и, усевшись в сугроб, застрелился.

Вот и опять – легенда или был?

Мне вспоминается и другая история, но уже не камчатская, а сахалинская. Некий городской чужак, нищенствующий бобыль, кореец по имени До Хок-Ро, много лет собирал русские деньги, хотя совершенно не разбирался в них и даже не умел их считать. Произошла

денежная реформа, а старик До Хок-Ро и не заметил ее. Не заметил он и того, что деньги стали совсем другими, и продолжал копить их. За много лет он собрал не мешок, но небольшой мешочек денег, из которых половина была дореформенными, непригодными к употреблению купюрами. И вот однажды этот мешочек с деньгами у него украли.

Нет, он не покончил с собою, этот городской шут гороховый и сахалинский бродяга. Он продолжал влечить свое жалкое существование, несмотря на крушение всех своих надежд, лелеемых в течение многих лет, как и у его камчатского брата по несчастью. Старик До Хок-Ро – тоже мой брат по Сахалину, и я написал о нем в своей ранней повести «Собиратели трав». Так вот, советский человек – бедный человек, который захотел жить богато, но ему это не удалось. Тяжко трудясь и подчас живя нищенски, он копит деньги, как билетика надежды, но однажды их у него отнимает государство или уносит вор. Бедняк-мечтатель, возжелавший из своей нищеты сделать богатство, – вот что такое советский человек. И всякий, кто подобным образом живет на этой грешной земле, похож на советского человека. И мой дед Ким Ги-Ен был такой же, и мой отец, и я сам тоже.

Очевидно, устройство счастья посредством накопления материального богатства не является верным способом. Об этом догадывались, наверное, некоторые из моих братьев по Сахалину, братьев по Камчатке. Вот хотя бы этот камчатский брат.

Он рисовал на тканях пятнистых оленей с большими ветвистыми рогами, горы с водопадами и прихотливо изогнутые деревья на каменных уступах. Одно из его произведений приобрела моя матушка и повесила в комнате на стенку. Меня картина почему-то глубоко заинтересовала и даже взволновала. Я узнал от матери, где живет автор, и вскоре навестил его.

Это был один из тех камчатских корейцев, сезонников из Северной Кореи, чьих детей учил мой отец. Когда я пришел, художник на вертикально натянутом полотне рисовал водяными красками тигра. На моих глазах из небытия возник живой полосатый тигр, исполненный грозной силы, – и я вдруг мгновенно постиг, что вижу момент сотворения жизни... Это и было искусством.

И мне стало ясно, что я должен делать всегда, во все свои дни на земле.

Болезнь

Я перешел уже через вершину своей жизни и, глядя вдаль, ясно вижу ее закат, а оглядываясь назад, вспоминаю свою неизменную любовь к ней. Что бы со мною ни происходило – а происходило многое и разное, порой и самое печальное, – мне всегда нравилось жить, и я не испытывал еще отвращения к жизни, никогда не проклинал ее. Но, сознавая это умом в свои зрелые годы, в молодости я любил жизнь всем сердцем, бездумно, страстно. И особенно сильным было это сердечное чувство, мне кажется, в пору детства, а именно лет в десять-двенадцать.

Почему именно тогда? Наверное, потому что как раз в те годы я сильно болел и мне недоступны были многие радости вольного детства: купание в холодной речке летом, катание на лыжах и коньках зимой... И оттого, что всего этого мне было нельзя, ах, как я все это любил!

А заболел я бронхиальной астмой в очень тяжелой форме, и это случилось на Камчатке, где было столько зимних игр и забав, и летних походов на сопки за ягодами, и чудесных встреч с океаном в тихую погоду при задумчивом рокоте кипящих бурунов и в шторм, когда ветер разносил по берегу рыхлые куски пены, срывая их с набегающих волн.

Могучий и суровый, исполненный первобытной силы дикой жизни, камчатский край был далек от суеты человеческой цивилизации. Синеватые каменные горы его, покрытые на вершинах белыми шапками вечных снегов, были доступны лишь отдаленному, робкому взгляду человека, который оказывался слишком мал и ничтожен перед гигантами, рожденными на свет миллионы лет назад, когда еще и духа человеческого не было на Земле. Едва ли успели заметить эти великаны появление крохотных существ, которые стали считать себя хозяевами земных просторов, океанов, небес и, чего там скромничать, венцом творения. Не обращая внимания на возню людских букашечных сообществ, бубнили громовыми раскатами вулканы, просыпаясь время от времени и ворочаясь на своих материковых плитах... В горных долинах изливали седые потоки горячей воды и белого пара камчатские гейзеры.

Когда начиналась камчатская рыбная путина, лосось из моря в реки пер таким плотным, могучим валом, что в горловине реки воды было меньше, чем рыбьих тел. И в устье нельзя было переплыть на лодках с одного берега на другой – живой рыбный поток подхватывал лодку вместе с веслами и уносил прочь, крутя посудину, словно щепку. На спокойной воде, в широком речном плесе, спинными плавниками грандиозных лососевых косяков чернела вся поверхность реки –

словно на гладкой воде выростали какие-то темные остролистые растения, которые чудом могли еще и передвигаться!

Этакая сила, первозданная жизненная стихия, титанический выброс на поверхность энергии земных недр, грохот волн и вулканов, подземные толчки планетного пульса и раскачка каменных глыб мускулистыми плечами океанских бурь!

И перед всем этим я, большеголовый и тщедушный мальчик с большой грудью, в которой хрипела и kloкотала мокрота, словно в жалком гейзере задыхающейся, испуганной жизни. Я заболел весной, в пору таяния снегов, промокнув в ледяной воде, куда провалился однажды, играя вместе с друзьями на берегу новоявленной речки, которая образовалась от слияния потоков талой воды. Моя болезнь очень быстро подвела меня к той черте жизни, за которой открывается человеку что-то совершенно беспощадное, люто холодное, как темная вода с серыми хлопьями полужидкого мокрого снега.

Жестоко проболев все лето, я сильно ослабел и буквально таял на глазах, и тогда мои родители, испугавшись за мою жизнь, приняли решение отправить меня вместе с моей старшей сестрой на материк, в город Хабаровск. Оттуда как раз приехал знакомый человек, некий лектор по распространению политических знаний Пак, и он взялся отвезти нас на Большую землю.

Это была отчаянная попытка родителей вырвать меня из-под власти тех грозных сил, которые уже подхватили маленький комочек моей жизни холодным потоком и готовы были навсегда унести в лоно первозданной камчатской стихии. Лектор по распространению политических знаний пообещал определить меня в Хабаровске на лечение в поликлинику краевого комитета партии. Это была хорошая возможность – все лучшее в нашей стране тогда принадлежало партийным органам.

И вот мы, сестра шестнадцати лет и я, двенадцатилетний, совершили вместе с лектором Паком многодневный тяжелый переезд по штормовому морю на пароходе от Камчатки до Владивостока, а оттуда на поезде до Хабаровска.

Впервые мы, двое детей, оказались без родительской защиты в огромном мире незнакомых, чужих людей. В командировке лектор Пак был молчаливый, преисполненный важности и чувства собственного достоинства партийный работник. А дома у себя, как выяснилось, он боялся своей жены Василисы, тушевался перед нею и обычно прятался в крошечной спальне, не выходя в единственную большую комнату, где крутилась вся его семья – сварливая супруга и дети со странными именами: Зея, Буря, Вемисор, Вилорик и Люция. Таких имен в русских святцах никогда не бывало, но это были все же русские имена, данные детям их отцом под влиянием вдохновения времени. Советский патриотизм и партийная романтика были в основе этого вдохновения. Так, имена Буря и Зея, данные двум очаровательным девочкам, означали названия крупных рек на Дальнем Востоке, в бассейнах которых во времена революции и гражданской войны происходило много славных партизанских дел. Имя старшего из сыновей – Вилорик – сложилось из начальных букв слов, составивших следующую крылатую сентенцию: Владимир Ильич Ленин Освободил Рабочих И Крестьян. А имя младшего сына Вемисор означало аббревиатуру: Великая Мировая Социалистическая Революция.

Слегка не повезло с именем самой старшей девочке, красивой и стройной Люции. Дело в том, что молодой отец, ожидая первого ребенка, предполагал, что у него будет сын и он назовет его – РЕВО. А затем, мечтал партийный отец, у него непременно родится дочь, и он назовет ее – ЛЮЦИЯ. Вот и получилось бы у него: РЕВОЛЮЦИЯ. Но не вышло по его желанию: первой родилась девочка. И все же товарищ Пак на всякий случай назвал ее Люцией, надеясь, что следующего ребенка Василиса родит в мужском варианте и можно будет назвать его именем Рево – все равно, пусть и с перестановкой слагаемых, в сумме получится РЕВОЛЮЦИЯ. Но Василиса и во второй, и в третий раз родила дочерей... Весь этот жутковатый бред сознания, подогреваемого распаленным политическим энтузиазмом, был тогда нормой привычного советского конформизма. Конечно, этот бред обретал звучание на русском языке, но почему-то бредивших было очень много именно среди советских корейцев. Что там говорить – мою старшую сестру, с которой мы прибыли в Хабаровск, тоже звали Люцией! Но меня, родившегося вслед за ней, моя благословенная, светлой памяти матушка не позволила назвать Рево, и я теперь, слава Богу, Анатолий. Просто замечательно!

И вот в такое время, особый энтузиазм которого можно определить и по модным тогда именам, я с сестрой Люцией оказался в непонятном мире и впервые ощутил своей испуганной детской душой то состояние человека, что называется одиночеством в городе. Это одиночество в моем случае открыла мне бронхиальная астма, мучительная болезнь, отгородившая меня от всего

мира стеной отчуждения. В особенности по ночам, когда приступы астмы усиливались и я лежал бессонный, весь в поту, изойдя мучительным кашлем и прислушиваясь к зловещему клочкотанию мокротных пленок в груди, было велико это одиночество!

У лектора Пака в доме мы с сестрою жить не могли, не было места, и нам пришлось искать по городу квартиру. Удачных вариантов не попадалось, и мы довольно много скитались по разным районам, живя у разных людей – русских и корейцев. В том районе, где нам удалось снять самую первую комнатку, мы и пошли в школу: сестра в девятый класс, а я в пятый. Когда же в результате последовавших перемен жилья мы оказались довольно далеко от первоначального места, мне пришлось ходить в школу через весь город.

Необычайно странной, печальной, гнетущей сердце предстала та наша городская жизнь – после камчатского существования на лоне дикой и могучей природы, после океанского гула, снежных ураганов, громадной луны над краем сопки, перед которой пробежала однажды по снегу стая волков... Непонятны и чужды мне были эти городские жители, столь уверенные в своих действиях и не знающие, что значит болеть и мучиться от удушья по ночам...

Непонятной и бесконечно чуждой была и красивая, сладко пахнущая духами врача из крайкомовской больницы, куда я все же был определен на лечение. Когда я время от времени приходил к ней на прием, она всегда смотрела на меня с задумчивой жалостью, и мне было мучительно стыдно стоять перед нею раздетым, со своими тощими ребрами, тоненькими руками и углой грудью, в которой не смолкал влажно клокочущий бронхитный хрип.

Зимой мне пришлось ходить по нескончаемо длинной улице Серышева, пересекавшей центр города и тянувшейся далее, почти к самой окраине, где находилась моя школа. И вот на этой-то улице меня стала подстерегать страшная и неумолимая беда – само Зло человеческое, о котором я до этого не имел никакого представления...

Прошло уже добрых полвека,⁴⁴ а я, несчастный, все еще никак не могу забыть этого. Недалеко от школы меня стал встречать некий уличный мальчишка, подросток лет пятнадцати, русский паренек в большой ватной телогрейке, видимо, отцовской – с заплатками бедности на ней, с закатанными рукавами, которые были слишком длинны для мальчишеских рук.

Этот разбойник начинал свой разбой с того, что обшаривал на мне все карманы, вытаскивая из них мои детские сокровища, какие обыкновенно бывают у всех мальчишек на свете, забирал всю мелочь, которую давала мне сестра на тот случай, если часть пути я захотел бы проехать на автобусе или трамвае. Затем он потрошил мою школьную сумку, вынимал и перекладывал в карман своей залатанной телогрейки мой школьный завтрак, который был заботливо уложен сестрою в бумажный пакет. Но, полностью ограбив меня, этот бандит не ограничивался добычей. Скверно усмехаясь своим недобрым плебейским лицом, покрытым ранними морщинками, он смотрел мне в глаза непонятным, почти веселым, внимательным взглядом и принимался мучить меня. Он бил кулаками по лицу, разбивал в кровь губы и нос, а потом, нагнув и подмяв меня под себя, протягивал снизу руку и своими грязными длинными ногтями расцарапывал мне лицо. Это было хуже всего. Это было уже не только насилие, грабеж и мучительство...

Спустя почти полвека мне тяжело вспоминать об этом. Измученный и ослабленный болезнью, я тогда не мог сопротивляться. Пока бандит обшаривал мою сумку и затем избивал меня, мое хилое тельце сотрясалось от кашля и в груди страшно хрипело, я задыхался. Ничего не стоило этому почти взрослому парню расправиться со мной, как того душа его пожелает. Но зачем же он расцарапывал ногтями мое лицо? Словно ставил на него кровавую печать своей ненависти. Меня можно было ограбить и избить, но за что же ненавидеть? Почему люди, делающие зло другим людям, еще и ненавидят их?

Алексей

За эту зиму и последующие весну и лето мы с сестрою переменили три квартиры. Я не знаю, почему это происходило. У сестрицы моей был решительный, независимый характер, и, несмотря на свои шестнадцать лет, она никогда не мирилась с тем, что ей не нравилось. Маленькая ростом, но очень сильная, крепконогая, подвижная, сестра хорошо танцевала, прекрасно плавала и занималась спортивной гимнастикой. Одно время она даже хотела пойти в

⁴⁴ В.Э.: Значит, повесть писалась около 2001 года? (Ким родился в 1939; теперь ему 12, значит действие происходит в 1951 году).

цирковое училище, чтобы стать акробаткой. Но судьба у нее вышла другая, и она впоследствии стала строительным инженером.

Вторую квартиру она нашла в городской слободке, похожей на деревню своими одноэтажными домиками, палисадниками, огородами за кривыми заборами, и эта слободка была расположена в низине на берегах гниловатой речки Плюсинки. В приземистом неприглядном домике стояла огромная русская печь с лежанкой, и была холодная пристройка с обмазанными глиной стенами. Эту пристройку и заняли мы с сестрой.

В том доме жили три одиноких человека, находившиеся в каком-то родстве, но не очень близком. Общего семейного уклада у них не было, питались они отдельно, располагались по разным углам большой темной комнаты в выгороженных закутках. Я не знаю, кому из них принадлежал дом и почему эти люди жили вместе. Была там девушка Панна, полненькая, круглолицая, с ямочками на щеках, с белокурыми кудрявыми волосами. В отдельном чуланчике размещался молодой мужчина, уходивший на службу в синем мундире с золотыми нашивками и в форменной фуражке, – не то летчик гражданской авиации, не то юрист, как полагаю я теперь. А в закутке около русской печи располагался на дощатом топчане слепой человек по имени Алексей. На табуретке возле его постели всегда стоял старенький баян со стертymi перламутровыми пуговками-клапанами.

Пять лет назад прошла самая страшная для России война, после которой многие люди вдруг оказались в обстоятельствах одинокого существования. У одних погибли или развалились семьи, у других они еще не образовались, а многие, сорвавшись с родных мест, поехали в дальние края. С Панной, например, мы познакомились еще на Камчатке, где девушка, чуть постарше моей сестры, оказалась почему-то одна, без родителей. Ее дальний родственник, старший брат третьего жильца нашего дома, был директором русской школы в том же поселке, где мой отец работал директором корейской школы.

И вот к этим одиноким, но вместе живущим людям добавились мы с сестрой, стали жить в холодной, безо всякого отопления, крошечной пристройке, похожей на тюремный каземат. Там едва умещалась одна железная солдатская койка, на которой мы с сестрой спали «валетом» – головами в разные стороны.

О, это была ужасная комната! Маленькая кособокая дверь, которая вела туда, с трудом закрывалась, тяжело разбухшая от сырости. Крошечное окно с прогнившими рамами было всегда наглухо затянута ледяной коркой. В морозные дни зимы грубая штукатурка на стене покрывалась лохматой шубой инея. По утрам иней хрустел и на моих волосах, делая их жесткими, как сосульки, – всю ночь, мучимый удушливым кашлем, накрытый тяжелым ватным одеялом и всей теплой одеждой, какая только имелась у нас с сестрой, я отчаянно потел, и волосы у меня были мокрыми. Лежа в постели головами в разные стороны, мы с сестрой дыханием своим и руками грели друг другу ноги.

Но, несмотря на дикie условия, нам нравилось жить в этом доме. Любящая независимость сестра была довольна, что комната теперь с отдельным входом, не смежная и не проходная, как на предыдущей квартире. А мне было приятно водить компанию с хозяевами дома – с миловидной Панной и со слепым баянистом Алексеем. Придя из школы, я до самого вечера, до прихода из школы сестры, находился в большой хозяйской половине с русской печью, делал там уроки и потом дружески общался с хозяевами.

Панна была большая любительница читать книги, и это все были книги такие же пухлые, как она сама, и, видимо, столь же приветливые и ласковые, как ее нрав, – уютно устроившись на лежанке печи, засветив лампу, девушка на долгие часы с умильной улыбкой на лице склонялась над шелестящими страницами. Я к тому времени тоже приистрастился к чтению и был заядлый книголюб: еще на Камчатке, учась в четвертом классе, открыл я для себя это чудо и в поселковой библиотеке брал и перечел немало книг. В Хабаровске я также записался в библиотеку и всегда заказывал книги не менее пухлые, чем те, что читала Панночка. И, пристроившись где-нибудь неподалеку от нее, я столь же безудержно отдавался запойному чтению.

Со слепым Алексеем у меня были другие дела. Этот высокий, с прямой осанкой, крепкого телосложения человек с белыми неподвижными глазами был всегда добр ко мне. Разговаривая, он неизменно улыбался – и всегда почему-то смущенно, казалось мне, даже робко, словно это он был мальчишкой двенадцати лет, а я перед ним – взрослым человеком. Улыбка его была широка, осклабиста, с лукавым загибом углов рта вверх, отчего на худых щеках его образовывались глубокие складки. Белые зрачки глаз при этом обращались куда-то вверх, вдаль.

Он со мною и разговаривал как со взрослым. Впрочем, рассказы его были о том, что понятно и взрослому, и ребенку: это были воспоминания о его деревенском детстве. Оказалось, что Алексей в раннем детстве видел вполне нормально, ослеп он уже подростком. И в его рассказах, самых простых и бесхитростных, было столько света, простора, живого движения. Я уж и не помню точно, о чем они были, эти рассказы: кажется, о каком-то деревенском попе, о драчливом петухе, который жестоко клевался, о рыбной ловле... В сущности, он тогда делал то, что пытаюсь делать сейчас и я, – прояснял в памяти увиденные картинки мира, которые и являются прошедшей жизнью, бесценной и прекрасной. Иногда по моей настойчивой просьбе Алексей брал в руки баян и пел хрипловатым приятным голосом разные песни. Это были и известные в то время песни, которые я слышал раньше, и некоторые неизвестные мне странные, диковатые песенки из особенного народного репертуара, в которых изливается тоска, жалоба русского человека с неудачной судьбой: бродяжки и тюремные саги, сиротские жалобы, воровские залихватские куплеты, мещанские баллады о загубленной девичьей любви... Русский человек улицы, человек городской площади, дорожно-вокзального бесприютства любит подобные песни...

Дело в том, что Алексей был традиционным слепым певцом, уличным музыкантом, без которого не обходится русская жизнь на миру. Он пел на больших, шумных хабаровских базарах, тем и зарабатывал себе на жизнь. Подаяние, которое он собирал, не было гонораром нищего попрошайки, это были трудовые деньги, но Алексей никогда не говорил дома о своем занятии и стыдился, очевидно, перед знакомыми. Если кто-нибудь из них заговаривал на базаре с ним, он тут же собирал баян и удалялся. Зная об этой его болезненной гордости и стыдливости, знакомые Алексея подходили и клали ему деньги в шапку втихомолку.

В Хабаровске среди простого народа, вынужденного в трудное послевоенное время толкаться на барахолках и базарах, слепой Алексей-баянист был весьма известен. Уже много лет спустя, взрослым человеком, я разговаривал с разными людьми из Хабаровска, и они помнили его.

Этот слепой музыкант, принадлежавший уличному народному искусству, независимому от всяческих институтов культуры, был в пределах своего мира выдающимся человеком. Он не пристрастился к вину, что является обычным явлением у русских людей, чья жизнь неблагополучна и беспросветно тяжела. Я свидетель тому: никогда не видел его не то чтобы пьяным, но и попросту выпившим. Несмотря на свое беспомощное состояние, он жил, никого не утруждая, ухаживал за собой сам и выглядел вполне опрятным. Свою немногочисленную одежду бедняка всегда содержал в порядке, ничего рваного, грязного, с дырами или с оборванными пуговицами я не видел на нем. Когда он бывал дома, то никому не мешал, передвигался бесшумно, никогда ничего не задевая, или тихо сидел в своем закутке возле печки, размышляя о чем-то, с кроткой улыбкою на лице, уставясь куда-то в пространство неподвижными глазами.

Он ходил по улицам без палки – с высоко поднятой головою, с баяном, завернутым в большой платок и подхваченным на плечо. Не имея поводыря, он находил дорогу в этом огромном городе, в этом мире. Он рассказывал мне о деревенском детстве, о своей жизни с чувством большой и чистой любви к ней. Он ни разу не пожаловался и не высказал чего-нибудь, что явилось бы проявлением хоть малейшего недовольства судьбой.

Мне за свою жизнь пришлось встретиться с некоторыми поистине значительными людьми нашего мира, и слепой Алексей был одним из них. Он мог бы снять с моего детского сердца печать несправедливости, чем был отмечен, как открылось мне, к горести моей, человек в этой жизни. Мне надо было только рассказать тогда Алексею о моем мучителе, который встречал меня на пути в школу, и спросить, что же мне делать...

Но я ничего ему не рассказал и ни о чем не спросил. Со всем упорством своего маленького, но непреклонного сердца я продолжал ходить в школу по той же дороге, где меня ожидали позор, унижение и боль. Уже заранее, издали увидев длинную, нескладную фигуру своего мучителя, я принимался рыдать от бессильной ярости, но все равно шел ему навстречу... Ну что я хотел этим доказать? И кому? А мучитель с нескрываемой радостью на лице поджидал меня и с удовольствием принимался за свое дело.

Алексей был добр и что-то знал такое, чего не знал я. Впоследствии мне не раз хотелось снова встретиться с ним и поговорить. Но это было невозможно – я услышал от одного человека, который в те далекие годы тоже знал слепого певца, что Алексей вскоре погиб. Он переходил улицу, со своим баяном на плече, как всегда, без палочки, высоко поднимая голову и как бы доверчиво глядя в небо, и его сбил мчавшийся по дороге грузовик.

Летом наши родители вернулись с Камчатки на материк, отработав свои договорные три года. Встреча наша состоялась в доме лектора Пака, там отец должен был пожить с семьей в ожидании назначения на новое место. Когда мы в этот день подошли с сестрой к старому деревянному дому, на первом этаже которого жили Паки, и с улицы увидели в раскрытое окно отца и мать, с нами что-то случилось. Я помню только, что, отчаянно вскрикнув, кинулся с улицы прямо к окну, вмиг перелетел через высокий подоконник и с громкими рыданиями упал в объятия отца. Тот же путь через подоконник совершила и сестра, хотя входная дверь в дом находилась рядом, в пяти шагах... Кажется, я впервые тогда увидел слезы на глазах отца.

Вскоре он получил назначение преподавать русский язык и литературу в сельской школе, в Вяземском районе. Место это было в глухом таежном углу, недалеко от реки Уссури, и деревня, в которой нам предстояло жить, носила необычное для российских деревень и весьма привлекательное название – Роскошь.

Роскошь

Деревня с прелестным названием Роскошь была расположена в двух километрах от станции железной дороги среди лесистых сопок Уссурийского края. Это была обычная бедная русская деревня, бревенчатая, под тесовыми крышами, с убогими сараями и крошечными банями. Чему обязана она столь великолепным названием – неизвестно. Разве что тайга, роскошная уссурийская тайга, сохранившаяся к тому времени во всей своей девственной красоте и силе, со всяким диким зверьем: кабанами, изюбрями, тиграми и медведями, тьмою всякой красной дичи, с изобилием грибов, ягод и орехов – тайга, и живность в ней, и необычайно красивые окрестности деревни могли дать ей это название, звучавшее без всякой иронии и самоиздевки.

Как и все деревни, Роскошь была населена крестьянами, работавшими почти бесплатно на государство, и вся жизненная надежда их была связана лишь с тем, что давали приусадебные участки. На них в основном выращивали картошку, которая рождалась в тех краях очень хорошо; картошкой питались и сами жители, ею кормили домашний скот, свиней и птицу.

В сентябре, когда начались занятия, классы нашей семилетней школы в деревне оказались пусты – вся округа начала уборку картофеля, и дети принимали в ней участие наравне с родителями. Когда после уборки, через пару недель, ученики начали появляться в школе, вид у них был изможденный, руки у всех были черны от земли, покрыты темными, кровоточащими трещинами, и на ладонях блестели твердые роговые мозоли. Но, несмотря на усталость, крестьянские дети, мои новые друзья-приятели, с довольным видом сообщали друг другу, сколько мешков картошки накопили их семьи со своих приусадебных соток. А участки у колхозников в Роскоши были немалыми – до полугектара, а у некоторых даже и больше...

Там впервые я соприкоснулся с русской деревенской жизнью, невзрачной на вид, как картошка, но такой же богатой содержанием жизненной энергии и добрых надежд нации. Для России и раньше, и теперь, и, наверное, в будущем деревня была и останется главным хранилищем духовных ценностей и нравственного богатства русских людей. В серой деревянной деревенской Руси предстояло мне распознать душу ее народа, проникнуться ее теплом, ощутить и полюбить корни могучего русского языка. Русский писатель во мне родился, я думаю, именно там, в дальневосточной деревеньке Роскошь. Именно там были предприняты и мои самые первые в жизни попытки написать какие-то стихи.

Но лесной воздух, насыщенный парами болот и вечной прохладой таежных дебрей, куда не проникали лучи солнца, сырость и холод Уссурийского края почти докончили меня. Хрипы в груди и кашель уже не давали спать по ночам, влажный и липкий пот, в котором я буквально купался во время припадков удушья, казался последним смертным потом.

Люди обычно не замечают того, что Бог постоянно творит каждого из них, – и эта Его работа, это творчество ни на миг не прекращаются. Людям обычно кажется, что они давно существуют такими, какие они есть, и ничто в них уже не изменится. Они не верят и не хотят верить тому, что каждый из них родился для того, чтобы умереть. Нет и нет! – вопит любая, самая малая, клеточка его существа, и человек бодрой рысью устремляется в жизненную гонку...

Но только тому, чью грудь рвет и душит непобедимый недуг, дано постичь роковую незаконченность своего существа – однажды ночью, вдруг, уставясь широко раскрытыми глазами в кромешную темноту. Вся жизнь лишь кажется законченной, как достроенный дом, – и это иллюзия, охватывающая смертную душу. И только тем, для которых узелок за узелком развязываются пути жизни, открывается нечто ошеломительное, странное – и безмерно

неутешительное. Оказывается, что ты никогда не дойдешь, сколько бы ни шел, – никогда не доживешь, сколько бы ни жил.

И то, что считал я своим существом, своей личностью, неким Анатолием Кимом, вдруг оборачивается не чем иным, как клочком голубоватого тумана поутру, за окном, над смутным картофельным полем. Или становится совершенно ясным, что багрово-золотистая осень тайги светится, пылает где-то в височной части моей головы – там, где с лихорадочным беспокойством бьется тоненькая нервная жилка.

И меня уже нет – есть картина, странный, немного сумбурный кинофильм, который составляется из кусочков желтой казахстанской степи, синеватых каменных глыб Камчатки и оранжево-буйных всплесков осенней уссурийской тайги. Мое «я» – это просторы и ландшафты Земли, на которых меня уже нет. Но, коли я все же существую, во мне продолжают существовать те картины мира, из которых создается кинофильм моей судьбы.

И этот фильм тоже не будет закончен.

Но я вновь просматриваю превосходный «отснятый киноматериал».

Наша первая осень в уссурийской деревне, золотистое, теплое бабье лето. Сказочное изобилие грибов в лесу. Увитые лозами дикого винограда белые березы и гроздья темно-синих ягод на них. Райские деревья на опушке леса: усыпанные перезрелыми ягодами боярышники и дикие яблони...

Грибов в ту осень народилось столько, что за ними даже неинтересно было ходить в лес. И вот как это происходило. Мы с приятелем Колей Смотряковым однажды вышли с ведрами в руках за деревню и, не дойдя еще до леса, увидели возле дороги большой березовый пенёк, весь усыпанный светлыми, чуть желтоватыми грибами. Это были осенние опята. Мы с Колей подошли, быстренько набрали полные ведра грибов, после чего он сказал: «Ну, все. Пошли домой». Тут же рядом, вблизи пня, мы нашли несколько больших подосиновиков с багровыми лоснящимися шляпками. Эти гиганты едва уместились сверху ведра, туго набитого мелкими опятами.

Жаренные деревенским способом, в масле и с луком, грибы настолько понравились всем в нашей семье, что однажды отец с матерью решили сами сходить за грибами. Они раньше никогда этого не делали: лесная жизнь и всякие лесные охоты и промыслы были им неизвестны. Вот и вышло так, что родители притащили домой и, ни в чем не сомневаясь, накормили семью какими-то грибами, от которых отец и я чуть не умерли. Мы провалялись два дня, то и дело теряя сознание, нас рвало какой-то пенистой желчью.

Малолетние братишка и сестренка отделались легким недомоганием. Одной матушке ничего не было: жертвуя собою, как и всегда, она почти не ела жареных грибов, побольше подкладывая нам с отцом. И ей же пришлось выхаживать нас, отпаивать свежим молоком, как посоветовали деревенские женщины.

Но не только грибами потчевала нас уссурийская тайга. Не забыть мне вкуса черного дикого винограда, мелкого, как смородина, с сизым налетом на ягодах. После первых осенних заморозков они окончательно доспевали и были необычайно сладкого и одновременно терпкого вкуса. И дикий лимонник с желтыми ягодами, пахучими и кислыми, запомнился мне навсегда. И непередаваемый вкус лесных яблочек, размером с черешню, с нежной мучнистой мякотью...

Та золотая осень в тайге, вокруг деревни Роскошь, была расшита яркими красными ягодными узорами.

Как во сне, вижу сейчас и другие чудесные творения Уссурийского края. Просторная роща пробковых деревьев. На их стволах лопнула и отпала старая кора, и от этого деревья кажутся больными либо высохшими. А вот выступили из таежной чащобы на широкий перелесок и темные толпы маньчжурского ореха, похожего на грецкий: в толстой мясистой упаковке, с теми же измятыми твердыми скорлупками.

Осенью золотисто-багровые просторы лесов вдруг оглашались могучим ревом, и эхо далеко разносило по горам эти дикие трубные звуки. Местный охотник, он же и учитель физкультуры в школе, разъяснил моему отцу, что это режут изюбры, дикие олени, – у них начался гон, свадебная пора. Этот учитель, по фамилии Лебедь, красивый, как киноактер, еще молодой мужчина, показал нам с отцом, как надо перекликаться с изюбрами. Он снял ствол со своего охотничьего ружья и, приставив его дулом ко рту, стал протяжно трубить. Звук получился таким же хриплым, диким и грозным, как и рев зверя, – и тотчас же издали донесся ответный крик изюбра.

Учитель Лебедь пристрастил к охоте и моего отца. Отец купил дорогое ружье-двустволку, обзавелся всем необходимым охотничьим снаряжением, в доме у нас появились такие необычайно привлекательные вещи, как мешочки со свинцовой дробью и тяжелыми пулями – «жаканами», коробки с черным порохом, с блестящими пистонами, широкий пояс-патронташ с отделениями для зарядов с дробью и пулями, шомпол из красного дерева, медные и картонные гильзы. Мы жили на квартире у одинокой старухи Царенчихи, в бревенчатой избе, и занимали единственную комнату – сама же хозяйка ютилась в крошечной передней и спала на русской печке. Тесновато было нам в этом доме, и все охотничье снаряжение, пакеты с порохом и мешочки с пулями то и дело попадали матери под руку, и она ворчала на отца, что он подвергает опасности семью. Но он был захвачен новой страстью и, не споря с ней, увлеченно занимался своим опасным делом: менял пистоны на патронах, насыпал порох маленькой меркой, набивал патроны, заколачивал в них войлочные пыжи. И я с удовольствием помогал ему.

В теплые дни бабьего лета я тоже ходил с ним на охоту. Из-за болезни я был слаб, поднять ружье мне было не под силу, и я не стрелял. Но уж очень хотелось побродить вместе с отцом по тайге, и я со слезами умолял его взять меня с собою, и он уступал, несмотря на то, что матери не нравились эти наши охотничьи подвиги. После каждого из них мне становилось хуже, я сам чувствовал это – и все же неодолимо тянуло в лес, и огромным счастьем для меня был каждый наш совместный поход.

Я был при отце кем-то вроде охотничьей собаки: шел впереди и вел его за собою. У меня было чутье на дичь, я всегда точно выводил на нее. К тому же я научился весьма искусно свистеть в маленький жестяной свисток, подражая пisku рябчика. Даже заядлый охотник Лебедь не умел столь хорошо свистеть рябчиком, как я, а у моего отца это и вовсе не получалось. Весь потный, задыхаясь от хриплого клокотания в груди, я тихонько шагал по неведомым охотничьим тропам и время от времени самозабвенно принимался свистеть, стараясь передать все тончайшие оттенки птичьего голоса. И в ответ отзывались рябчики, а некоторые из них прямо летели ко мне, нежно шумя крыльями.

Отец был никудышным охотником и стрелял плохо. Почти никогда не удавалось нам вернуться домой с добычей, но это меня не особенно огорчало. Охота привлекала мою душу не охотничьими трофеями, а чем-то совершенно иным. Я тогда не знал и не мог знать того, что в будущем, когда вырасту и окрепну, так и не стану охотником. Могучий зов живой природы, ее родной голос и мое сердце, радостно откликающееся на этот зов, ничего общего не будут иметь с жадной обрести кровавую добычу. Но я должен был уже тогда, в детстве, однажды узнать об этом.

Был особенно неудачный день охоты. Я свистел хорошо, и на мой коварный зов прилетало множество рябчиков. Они садились на деревья недалеко от нас, и отец стрелял, но каждый раз промахивался. И чем больше он промахивался, тем хуже стрелял. Руки у него заметно дрожали, на лице застыла виноватая, растерянная улыбка. Ноздри его потемнели от пороховой копоти, он расстрелял почти весь патронташ.

Я также задыхался от волнения и впадал в отчаяние, мы с отцом растерянно переглядывались после каждого его промаха, и я первым отводил глаза... Наконец мы совершенно пали духом, я почувствовал крайнее утомление, и нам пришлось присесть под деревом. Мы молча отдыхали, потихоньку осознавая всю меру своей неудачи.

И тут я, немного отдышавшись, опять взялся за свисток. Тотчас недалеко отозвался рябчик – и вскоре подлетел, фырча крылышками, и уселся неподалеку. Мы с отцом отдыхали на открытом месте, посреди лесной поляны, сидя под раскидистой березой. На соседнюю березу, шагах в двадцати от нас, и опустился прилетевший рябчик. Возбужденный и растерянный от неудач отец стал медленно, очень медленно поворачиваться с ружьем... Он тщательно прицелился и выстрелил.

Птицу на моих глазах разнесло в клочья. То, что осталось от нее, еще некоторое время висело на ветке, цепляясь за нее сжатыми лапками. Затем кровавые ошметки того, что совсем недавно было живым красивым рябчиком, упали под дерево в траву... Это был первый в моей жизни охотничий трофей – и последний.

С того дня и до сих пор я никогда больше не охотился.

Женьшень

Год, прожитый в деревне Роскошь, прошел быстро, но в памяти сохранился надолго. Я мог бы и сейчас нарисовать те осенние сливовые заросли, ничьи на деревенских задворках, где

приходилось мне лакомиться чудными желтыми сливами. Их в основном кто-то успевал собрать, но на ветках всегда оставалось достаточно недосмотренных ягод, и они-то были моей добычей. Я лазал в густых колючих зарослях, нагибал ветки, собирал с них ароматные сливины – и однажды вдруг услышал шуршание и треск в соседней куще. Нет, это был не медведь, это была небольшая симпатичная девчушка с синими глазами и веселыми конопушками на носу – Галя Фатина, ученица седьмого класса. Для пущей важности мне хочется сказать, что я испытал к ней свою первую любовь, и, может быть, она была взаимной, потому что в ответ на мое любовное письмо к Гале, переданное через ее подружку, я получил записку, в которой значилось: «ЧТО ТЫ, ТОЛЯ, ЗАДАЕШЬСЯ, ВЫСОКО ВОЗНОСИШЬСЯ? ПО ПОХОДКЕ СРАЗУ ВИДНО – СКОРО ОПОРОСИШЬСЯ». И всё же по такому ответу мне трудно было решить определенно, что я любим и дорог, и в неуверенности этой я пребываю до сих пор.

Но вполне возможно, что с того случая во мне и шевельнулся затаенный во всех человеческих душах вопрос вопросов: любят ли меня так же, как и я люблю? Вопрос этот обращен ко всему, что составляет основу нашего бытия: к другому человеку, к жене, к своей судьбе, к самой жизни, к Богу. Я не мог тогда столь ясно определить это главное условие нашего существования, как определил сейчас, – для этого понадобилась целая жизнь. Детское сердце оказалось способным лишь прикоснуться к жгучей тайне.

Однажды ночью, когда приступ болезни был особенно сильным и, лишь промучившись несколько часов, мне наконец удалось уснуть, я внезапно проснулся от звука голосов моих родителей. Они полагали, наверное, что я сплю, и негромко разговаривали в темноте. Речь шла о том, что предстоял новый переезд – на Сахалин, но их беспокоило состояние моего здоровья. Глубокая тревога слышалась в голосах моих дорогих родителей. Отец даже поднялся с постели и, подойдя в темноте ко мне, осторожно приложился ухом к моей груди, вслушиваясь в хриплое дыхание. Я не подавал вида, что проснулся, и лежал, не шевелясь.

И разговор продолжился такой:

- Ребенку становится все хуже и хуже...
- А что поделаешь?.. Никакие лекарства не помогают.
- На Сахалине, говорят, сырой климат.
- Если ему суждено умереть, то какая разница где...
- Конечно... Надо, наверное, ехать.
- Да, надо ехать... Неужели нам суждено потерять его?

Я не могу определенно сказать, что со мною произошло в ту минуту. Но что-то очень важное, несомненно, открылось моей душе. Я ничуть не испугался того, что услышал. И родительское отчаяние, в котором они уже готовились к самому худшему, не встревожило меня. Наоборот, я как-то мгновенно успокоился. Мне помнится, что я даже улыбнулся в темноте и вскоре уснул с легким сердцем. И во сне продолжилось то же самое уверенное ликование: я знал уже, что не умру, что напрасны тревоги моих родителей...

В конце августа мы уехали из Роскоши и отправились на Сахалин. А когда во Владивостоке сели на пароход – буквально в тот же день началось мое чудесное выздоровление. Кашель исчез и хрипы в груди прекратились, как будто всего этого никогда у меня и не было. Я бегал по всему пароходу вместе с какими-то ребятишками, с которыми успел познакомиться, и у меня было такое чудесное настроение!

Погода на море стояла замечательная. День этот был в моей жизни одним из самых значительных, отмеченных судьбою, и поэтому, наверное, я столь хорошо его запомнил. Морской простор был ярко-синим, небо – безупречно голубым и звонким. Ослепительное солнце заливало палубу парохода потоками теплых лучей, припекало мою стриженую голову. Дышалось глубоко, радостно, легко – и это ощущение доставляло мне неизъяснимое наслаждение: ведь столько лет самым мучительным для меня было просто дышать. Любой глубокий, порывистый вздох мог вызвать в моей груди хриплое клокотание и изнурительный кашель.

На Сахалине, в небольшом рыбацьем поселке, куда был направлен работать мой отец директором корейской школы, болезнь совершенно оставила меня. Я не могу объяснить себе этот редкий медицинский случай, да и не хочется мне ничего объяснять. Сколько порошков, сладких, горьких и соленых микстур было выпито, сколько проглочено рыбьего жира, от одного запаха которого меня выворачивало, и съедено свиного жира, перемешанного со свежим медом, – все было напрасным... А тут в один день и без всякого лекарства прошло, зажило, прочистилось, свободно задышалось!

Тогда за одно лето я вырос на шесть сантиметров! Отец купил мне велосипед, и я стал гонять на нем с утра до вечера, даже научился свободно ездить, выпрямившись в седле и небрежно заложив руки за спину...

Однажды мать подозвала меня, усадила за стол и выложила небольшой тряпичный сверток. Глаза у матери светились от какой-то большой сдержанной радости – прекрасными были сияющее лицо и нежный материнский взгляд, направленный на меня, но различающий, казалось, сквозь мою сущность и что-то другое. Она бережно развернула узелок, словно там затаилось живое, хрупкое, трепетное существо. И как же я был удивлен, когда увидел кусок обыкновенной желтоватой бересты, свернутый корытцем и поверх обвязанный бечевкой. Размотав ее, матушка развернула бересту, и под нею оказалась пригоршня темной земли, из которой торчали какие-то лохматые корешки.

– Смотри, сынок... Ты знаешь, что это такое? – необычайно серьезным голосом проговорила она. – Это настоящий горный женьшень. Один охотник нашел его и выкопал в тайге, а я купила у него за большие деньги. Это старый, очень ценный корень. Он лежит в той же земле, в которой вырос. Так надо выкапывать лесной женьшень – чтобы ни один его волосок не пропал... Я это купила для тебя, но до сих пор не могла тебе дать, потому что нельзя было, – говорила дальше мать, светло улыбаясь. – Женьшень, сынок, не надо давать больному. Говорится ведь, что женьшень добавит еще сто болезней тому, кто болен, а того, кто здоров, сохранит от ста болезней. Я дождалась наконец, что ты выздоровел, и теперь приготовлю его для тебя. И ты съешь женьшень, и больше никогда не заболеешь, и будешь жить долго-долго.

Мать купила эти корни у какого-то старого охотника, который научился искусству искать женьшень у корейцев, живших раньше на Дальнем Востоке. Таким образом, этот чудодейственный корень жизни я получил не только благодаря стараниям любящей меня матери, но и, считай, непосредственно из невидимых рук моей далекой Прародины...

Моя матушка приготовила женьшень по старинному способу: сварила корень вместе с цыпленком. Она велела мне съесть все мясо и разваренные кусочки корешков, разжевать мягкие косточки и выпить бульон без остатка. Цыпленок был большой, а порезанные кружочками корешки оказались горьковатыми, я весь вспотел от усердия, но съел все, как мне было сказано. Матушка сидела напротив и со счастливым видом смотрела на меня.

Я всю жизнь помнил это лицо матери – и сейчас, когда пишу, вижу его... Когда через много лет матушка скончалась, я по памяти нарисовал именно это ее лицо, и портрет был помещен на каменном надгробии. Теперь, когда я приезжаю в небольшой русский город Боровск и иду навестить материнскую могилу, именно эта сияющая улыбка и добрые глаза встречают меня еще издали – поверх могильной ограды, среди березовых белых стволов кладбищенского леса.

Поселок Ильинск, в котором мы оказались, весь состоял из серых дощатых барачных и старых японских домов весьма невзрачного вида. Улицы были непокрытые, пыльные, по их краям тянулись сточные канавы с вонючей грязной водой. Громадные крысы преспокойно посиживали на берегах этих канавок. Повсюду видны были следы убогой, беспорядочной и безрадостной жизни на заброшенной окраине мира. И только воинский городок с аккуратными рядами крашенных свежей краской казарм, стоявших на окраине поселка, придавал ему некую цивилизованность и, можно сказать, даже нарядность. По крайней мере аляповато раскрашенные ворота воинской части, зеленые пушки, всегда зачехленные, и рядами стоящие грузовики с бронетранспортерами притягивали мое детское внимание и отвлекали от унылой поселковой действительности. Наша семья жила в длинном двухэтажном японском здании, где размещалась корейская школа-семилетка, – отцу выделили там директорскую квартиру. Нам рассказали, что в этом доме раньше, при японцах, было веселое заведение с девками, и я услышал жутковатые рассказы о том, как некоторые из них были убиты или замучены пьяными гостями и закопаны в подвалах дома. И теперь еще по ночам, рассказывали нам, можно услышать женский плач, доносящийся из каменных подвалов. А иногда и раскрывается темное окно, из него наружу высовывается женская белая тень и нежным голосом заманивает припозднившегося прохожего. От таких рассказов у меня замирало сердце.

Но днем здание школы и двор заполнялись корейской детворой, начиналась беготня, гремел медный звонок, созывающий всех на уроки. Наша квартира помещалась в дальнем конце школы, отгороженном невысоким палисадником, и оттуда я часто наблюдал за шумной жизнью школьных перемен и занятиями по физкультуре, проходившими на спортивной площадке. Я ходил в другую, русскую, школу, и вначале у меня не было друзей среди корейских ребят, но постепенно я стал знакомиться и с учениками отцовской школы. Они со мной хотели

разговаривать на русском языке, а я с ними старался говорить по-корейски – так мы взаимно обучали друг друга языкам.

Сахалинские корейцы показались мне несколько другими, чем те, которых я встречал на Камчатке. Там в общем-то были несколько забитые, робкие люди, державшиеся в стороне от русских, жившие своей скрытой жизнью. А сахалинские мои соплеменники, в особенности подростки и молодые парни, выглядели вполне независимыми, мало чем отличались от русских парней, одевались щеголевато и всегда по моде: широкие брюки-клеш, хлопавшие на ногах и подметавшие пыль дорог, маленькие кепочки-«восьмиклинки» с узеньким козырьком... Иной щеголь выставлял в распахнутом воротах рубахи полосатую морскую тельняшку. Словом, не отставала корейская молодежь от моды тех лет.

Шли пятидесятые годы, жизнь при японцах давно прошла, и у моих друзей-корейцев постепенно проходило угнетавшее их раньше чувство своей второсортности и отсюда душевной угнетенности.

Сахалинским корейцам пришлось пройти сквозь сложный психический зигзаг – уход в сторону от японского давления и поворот к русскому натиску – немного раньше, чем их камчатским соотечественникам. И поэтому тот собственный жизненный уклад и душевные качества, которые они обретали при новых условиях, были уже выработаны и обретены: характер сахалинских корейцев уже определился.

О, этот своеобразный летучий и туманный характер сахалинских корейцев! Я хочу о нем рассказать подробнее и, вглядываясь в него пристальным взором, найти сходство с ним и своего собственного характера. Ибо я со всей серьезностью берусь утверждать, что в душевном устройстве людей имеют значение как кровь, что бежит по их жилам, так и вода, которая течет по руслам рек через земные долины, наполненные ровным гулом человеческой жизни.

Сахалин-1

Тогда я учился в выпускном классе семилетней школы. Возле нашей школы, за широким пустырем, находилась лесопилка, и высокие штабеля бревен громоздились рядом со школьным двором. На переменах да и после занятий я часто играл там с друзьями.

Точно такие же штабеля были и в эпизоде нашумевшего «перестроечного» кинофильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Там женщины увидели на круглых торцах бревен написанные краской имена своих мужей, которых давно арестовали, увезли и посадили в сталинские концлагеря. Огромная страна была густо затянута паутиной небывалого еще на земле тоталитарного режима. Миллионами гибли люди в северных лагерях, в тюремных казематах, под пулями карателей НКВД.

А мы, мальчишки, ничего об этом не знали и бегали по бревнам, наваленным высокой горою. И все, чем мы рисковали, – это нечаянно свалиться с бревна и сломать себе ногу или руку. О глубоком неблагополучии народного существования, частичками которого были и наши мальчишеские жизни, мы и не догадывались. То, что жизнь наша убога, печальна и бедна и что она могла бы быть намного лучше, – такое нам и в голову не приходило. Весеннее солнце наделало сырости и развезло грязь по всей земле, а на бревнах было сухо, там можно было отыскать уютный закуток, укрытый со всех сторон, и, схоронившись от холодного ветра, погреться под теплыми солнечными лучами... И на большой перемене, которая продолжалась минут двадцать, мы бегали туда посидеть на солнышке. Иногда, придремав в весеннем блаженном тепле, мы опаздывали на уроки, и за это нам, разумеется, попадало от учителей.

И вот однажды, уже довольно много времени спустя после начала очередного урока, в класс вошел Саша Горшков, комсомольский секретарь. Я и подумал, что он бегал на штабеля бревен, да что-то сильно подзадержался... Он встал у порога и, потупив голову, долго ничего не говорил – и вдруг навзрыд заплакал, утирая кулаком слезы. Что за дела? Саша Горшков был постарше других и уже интересовался девочками, «женухался». Он и еще несколько парней из нашего класса: Володя Молибог, Коля Хе, Иванов Саша – они что-то там делали с нашими крупными, упитанными девочками, загоняя их на перемене в темный угол класса. А девочки только радостно повизгивали в ответ... И вдруг он плачет, комсомольский вожак выпускного класса! Это была очень выразительная фигура: в свои пятнадцать–шестнадцать лет парень уже выглядел как комиссар, носил темный китель «сталинского» покроя, ходил в высоких, до блеска начищенных черных сапогах. (Наверное, он впоследствии стал каким-нибудь партийным работником). И так, отвернувшись лицом к стене, Саша Горшков поплакал, а потом срывающимся голосом произнес что-то невообразимое:

– Сталин умер.

Теперь-то весь мир знает, что такое сталинские лагеря. А тогда, в марте 53-го, нам показалось, что закатилось солнце жизни для нас. Было совершенно немыслимо на месте этого солнца вообразить что-то другое. Как-то даже и близко не представлялось, чтобы вместо этого имени на лозунгах с привычными словами «ДА ЗДРАВСТВУЕТ...» появилось бы какое-нибудь другое имя.

Тогда было незыблемое представление, что обязательно надо кричать «ДА ЗДРАВСТВУЕТ...», – тоталитарный режим в любой своей форме рождает прежде всего жалкое раболепие в своих гражданах.

Боже мой, так неужели ничего другого в моем детстве не было, кроме этого чувства рабства?

Нет, было и другое.

Был огромный лохматый медведь, которого я увидел за кустом шагах в десяти от себя, а точнее, сначала услышал сильнейший треск сучьев, затем успел мгновенно заметить краем глаза темно-бурую гору звериного меха – медвежий бок... Дело было летней порою, когда на Сахалине созревала черника – сочная темно-синяя ягода, усыпавшая сплошняком невысокие кустики в лесу. Компания детворы с жестяными бидонами и ведерками отправилась в лес, не так уж далеко от поселка, и там произошла эта неожиданная встреча с мохнатым Хозяином. Он, по всей видимости, тоже лакомился ягодами и, столь же увлеченный сбором черники, как и мы, не заметил нашего приближения. А может быть, он попросту спал, забившись в прохладное место. Что бы там ни было, встреча оказалась неожиданной для обеих сторон – я заорал благим матом и в беспамятстве кинулся прочь, бросив оземь бидон с ягодами, а медведь затрещал по кустам, как нечаянно влетевший в лес локомотив, и умчался в обратную сторону. И поскольку он двигался намного быстрее меня, то и скрылся в лесной глубине раньше, чем я успел выбежать на опушку. Там уже мелькали последние две-три фигуры из нашей ягодной компании, улепетывавшие во всю прыть и далеко обогнавшие меня. А я, несколько опомнившись, приостановился, оглянулся и прислушался. Сзади было все тихо. Тогда, чуть поскуливая от страха, все еще державшего меня за шиворот, я поплелся назад – искать брошенный бидон с ягодами...

Было холодное синее море с серой полосой прибрежного песка, в котором покоились выброшенные волнами куски дерева, обглоданные соленой водой, похожие на громадные кости. Много часов моей мальчишеской жизни прошло на том берегу. Впервые увидел я там сказочных великанов, бредущих вдоль морского горизонта с облаками в обнимку. Небольших рыбок и крабью мелочь, что удавалось добыть на отмели, мы пекли на кострах и съедали всей компанией первобытных охотников и сборщиков, забыв о цивилизации, не помня о школе и нудных учебниках, безо всякой заботы о том, во имя кого кричать «да здравствует».

На этом первозданном океанском берегу происходили весьма суровые дела, соответствующие первобытным отношениям. Мой приятель Кешка, по прозвищу Ташкент (он с родителями приехал на Сахалин из Ташкента), рассказал мне под большим секретом, как несколько мальчишек, под руководством Кабасы, шпанистого пацана из поселка, убили какого-то пьяного корейца и закопали его под сопкой в песок. И все это вполне могло быть: Кешка-Ташкент клялся мне, что он говорит правду.

Да, и такое было. Но там же, среди этих серых телогреек лагерного вида, в которые было одето большинство взрослых и детей (они ходили в родительских обносках, закатав для удобства длинные рукава на своих худых, тонких запястьях), среди тяжелой, мрачной матерщины пьяных сезонников и сезонниц прошла и моя самая настоящая первая любовь.

Я не буду сейчас расплываться от умиления по ее поводу – нет такой задачи в этой повести. Может быть, в другом настроении придут другие слова и разукрасят эту любовь в самые радужные цвета. А теперь я хочу говорить лишь о тех тяжких ударах и, возможно, скрытых переломах души (как бывают и скрытые переломы костей), которые я испытал в связи со своим первым чувством.

Мне сейчас надо осознать во всей беспощадной правдивости, каким образом и из чего складывалась моя душа, столь мучительная и непонятная для меня самого... Надо подумать о том, как я постепенно становился тем человеком, каким являюсь сейчас, – и тогда, может быть, я наконец пойму, кто я такой на этом свете. А без этого – нет мне покоя. Я складывался как человек в условиях торжествующего абсурда, среди людей, ведущих абсурдное существование, и сам был носителем этого абсурда. И не знаю, насколько Красота мира и Любовь человеческая

смогли внести в мое существо те качества, которые угодны Богу и оправдывают присутствие человечества во Вселенной. Вот как происходила тогда во мне борьба любви и отчаяния.

Моим идеальным существом стала девочка по имени Бэла Дидикаева, осетинка, – как сейчас говорят, представительница «кавказской национальности». В свои двенадцать лет она была уже поразительная красавица, известная на всю школу и на весь наш маленький городок. Именно Бэле дано было пробудить в моей душе древний хан всех корейских мужчин – глубочайшее благоговение перед женской красотой. Мне от нее ничего не надо было, я хотел бы, чтобы она только один раз обратила на меня свое внимание – и узнала... Что именно? То мне трудно сказать.

И вот благодаря вмешательству высших сил, наверное, внимание прекрасной Бэлы было обращено на меня. Невероятно, но я был узан и даже как бы избран этой юной красавицей. Мне даже было дозволено выбирать именно ее в наших детских играх, где требовались пары, и даже сидеть рядом с нею в кино и держать ее за руку.

Она была дочерью офицера, майора из той войсковой части, что стояла в нашем поселке. Я ходил в военный городок, где жили мои новые друзья, дети офицеров, мы там играли на огороженном высоким дощатым забором пустыре позади штабного дома. Иногда вечерами всей компанией ходили в солдатский клуб смотреть кино.

Несколько девочек и мальчиков подросткового возраста составили замечательный ансамбль для детских игр тех времен – это были чудные игры: «штандер», «ручеек», прятки, круговая лапта («вышибалы»), «глухой телефон». Дети были в общем-то нормальными детьми из того благополучного слоя населения, к которому относилось армейское офицерство, и в их жизнь дикость окружающего мира не проникала, отгороженная высоким забором штабного двора. Я попал в этот обособленный детский мирок случайно – и дружил с лучшей из лучших девочек на свете. Но за это счастье мне пришлось платить.

Я был маленьким, большеголовым и довольно хилым после долгой своей болезни корейчонком, но меня избрали, я был отмечен благосклонностью Бэлы, и это пробудило в моем трепещущем, словно у кролика, сердце какую-то безумную отвагу. Я дрался с неблагородной шпаной из уличных шаек, которые, как волки, кружились вокруг наших невинных игрищ, затаив в душе какие-то преступные замыслы. Они подлавливали меня, когда поздно вечером я один уходил из военного городка домой. Они вызывали меня на кулачный бой с кем-нибудь из них и выставляли против моих мелких кулаков и жиденьких мускулов какого-нибудь бугая на голову выше меня. И я дрался с ним и зарабатывал себе на лоб громадную шишку, а под глаз синяк – и носил все это перед Бэлой, ласково и понимающе смотревшей на меня, как боевые знаки отличия.

Но это трудное мое счастье продолжалось недолго. В те дни я впервые почувствовал, что самое невозможное возможно для меня, если я буду драться за то, что люблю, ничего не боясь и с готовностью в душе пойти до конца... Кто-то мне помогал – чтобы я мог преодолеть свою робость и смело, весело взглянуть в глаза опасности. Однажды после кино возле клуба меня окружила целая ватага неразличимых в темноте пацанов, и мне было сказано, что я, корейская морда, много о себе воображаю и дружу с девчонкой, с которой хочет дружить сам Паротик (это был бледный курящий и пьющий малый лет шестнадцати, главный «пахан» детского уголовного мира нашего поселка), и сейчас из меня сделают урод... В тесно сомкнувшийся круг ворвался какой-то кудрявый крепыш, широкоплечий, на голову выше меня. «Дайте, я врежу ему, пацаны!» – попросил сей добровольный экзекутор-любитель у почтенной публики и второпях не очень удачно смазал меня по скуле. (Впоследствии я узнал, что это был некто Валера, новоприбывший к нам офицерский сынок – один из тех ребят воинского городка, которым самим нравилась Бэла и не нравился я).

Я тогда громко и весело рассмеялся. Этот неожиданный и для меня самого смех спас меня. Мне показалось смешным то, как суетился и спешил кудрявый малый, изготавливаясь врезать мне. Моя готовность принять все – безо всякого страха и упрека, в благодарность за избранничество Бэлы – оказалась и на самом деле великой. И я почувствовал во враждебной темноте сахалинской летней ночи, что мне кто-то помогает... Прибежали большие ребята из корейской школы, которых успел позвать мой младший брат, и после нескольких тычков по зубам и увесистых пинков в зад мои враги быстро рассеялись в темноте.

Итак, я оказался узанным Бэлой, и она пожелала предпочесть меня, а не другого, и этот другой, могущественный руководитель нашего поселкового детского уличного мира, просто уже

обязан был как-нибудь расправиться со мной. Потому что я не собирался уступать и, охваченный счастьем и гордостью, смело шел навстречу судьбе.

Но вся эта моя готовность заплатить хоть жизнью за свое счастье не понадобилась. Вскоре воинскую часть перевели куда-то в другое место. В последний день, когда на железнодорожной станции уже стояли на открытых вагонах-платформах зачехленные пушки и грузились в товарные вагоны солдаты, офицеры и их семьи, было тепло и ясно и весело играл военный духовой оркестр.

Я стоял один в стороне и смотрел, как от грузовиков к вагонам бегают мои уезжающие друзья, таская домашний скarb. Бэла тоже хлопотала, оживленная, веселая, не обращая на меня внимания. И я скоро ушел домой.

Мать попросила меня наколоть дров, и я с топором пошел к сараю. Я занялся дровами и все время слышал, как играет на станции духовой оркестр... Потом не выдержал и, бросив топор на землю, кинулся бегом к станции. Когда я вбежал на железнодорожную платформу, поезд уже тронулся и вагоны медленно проплывали мимо. Духовая музыка, звучавшая из переднего вагона, была уже далеко.

Я хотел еще раз увидеть Бэлу. Я молил об этом Бога. Но Он почему-то не разрешил мне этого.

Вместо нее в широко открытой двери проходящего вагона я увидел кудрявого Валеру, того самого, который когда-то небольно стукнул меня кулаком по скуле. Теперь он равнодушно мельком посмотрел на меня и, видимо, не узнал.

Сахалин-2

Этим же летом наша семья уехала из Ильинска – мы перебрались поближе к южной оконечности острова, в город Горнозаводск, при японцах называвшийся Найхоро-Танзан. Он мало чем отличался от предыдущего нашего места проживания: все такие же длинные унылые бараки пыльного цвета, все те же немощные грязные улочки, покрытые черным прахом угольного шлака, выбрасываемого жителями прямо на дорогу. Городок этот располагался не вдоль морского берега, как прежний, а как бы впритык к морю – протянувшись на несколько километров по речной долине в глубину острова, между высокими крутобокими сопками, часть которых была покрыта темной зеленью лесов, а часть – яркой травой безлесья, среди которого торчали, словно причудливые скульптурные изделия, серебристые останки давно сгоревших деревьев. Здесь, на лысых сопках, когда-то были хорошие леса, но японцы их вырубili, а что не успели взять, то сгорело в лесных пожарах.

Если посмотреть со стороны моря, проезжая мимо Горнозаводска на пароходе, то можно увидеть лишь серую полосу песка и несколько длинных барачков точно такого же цвета, как и песок, да еще черную высокую трубу кочегарки, из которой выдавливался в небо лохматый угольный дым.

На пароходе я никогда не проезжал вдоль этих берегов, следовательно, ожившую сейчас в моей памяти картину я видел лишь с поверхности волны, покачиваясь на ней, когда заплывал вместе с ватагой товарищей далеко от берега. Людей на нем уже нельзя было различить, никаких звуков с пляжа тоже не долетало – и мы плыли, время от времени оглядываясь на безлюдную тишину вдаль видневшегося города, который предстал перед нами, парящими над бездной морской пловцами, совершенно незнакомым и таинственным.

Этот небольшой шахтерский городок, протянувшийся в глубину речной долины, стал для меня тем местом на земле, где вызрела моя юность, словно птенец под надежным родительским крылом. С четырнадцати и до семнадцати лет я благополучно и счастливо прожил в Горнозаводске. И в этом заурядном уголке глубочайшей сахалинской провинции и суждено было мне впервые прикоснуться к сокровищам, дорожке которых нет ничего в человеческом мире. Там я впервые прочитал «Войну и мир» Толстого и проникся высшим духовным трепетом поэзии Лермонтова. В это же время я написал и свои первые лирические исповедальные стихи и сделал первые рисунки с натуры и этюды масляными красками.

Выходя из моря на берег ярким летним днем, подталкиваемый в спину дружескими крепкими ударами волны, я однажды ощутил себя ловким и сильным мускулистым парнем – так я незаметно и радостно проделал переход из детства в юность. И если все пронизанное светом детство мое было целиком связано со стихиями и чудесными откровениями природы, то юность моя оказалась благословенной встречами с людьми, которые бескорыстно несли мне дары уже другой, человеческой, духовной стихии и красоты, «творчества и чудотворства». Когда я

перешел в девятый класс, в нашу школу приехала работать довольно многочисленная группа молодых учителей из Москвы, выпускников известного педагогического института. Это был энергичный, веселый народ, исполненный желанием немедленно сеять вечное и доброе по самым передовым методам педагогической науки. В сравнении с нашими прежними учителями, дремучими представителями старорежимной провинциальной педагогики, блистательная столичная молодежь выглядела соколами рядом с воронами. И хотя мы уже сжились со своими грозно каркающими педелями до состояния теплой, чуть попахивающей лицемерием, привычной домашности, новые порядки и веяния, пришедшие вместе с молодыми учителями, были встречены нами всей душой. Хотя надо сказать, что сразу обнаружились вопиющие недостатки в прежнем обучении по разным дисциплинам: мы оказались неучами по математике и химии, невеждами по астрономии и географии, полуграмотными в русском языке и дураками по литературе. Но сразу же всей дружной компанией, «без уныния и лени», столичная плеяда молодых учителей принялась вытаскивать нас из болота невежества и безграмотности.

Начались дополнительные занятия в школе – занимались после уроков допоздна. Иногда ходили мы и в общежитие для учителей, куда некоторых из нас приглашали на индивидуальные занятия. Времени и сил молодые учителя для нас не жалели, никакой личной корысти для них не было да и не могло быть. То был порыв чистого энтузиазма новой интеллигенции, продолжающей классические традиции старинной русской педагогики. Видимо, в знаменитом московском институте профессора хорошо обучили своих студентов правилам педагогического благородства и сумели внушить им высокое чувство ответственности за свое дело.

В сущности, они были бедным классом в существовавшей тогда табели о рангах государственных служащих: учительская зарплата была одной из самых низких, пожалуй. Жили они в обычном и типичном для нашего городка длинном бараке с общим коридором, в маленьких комнатках с печным отоплением. За водой ходили с ведрами к колодцам или к водопроводным колонкам на улицу, готовили еду и стирали в своих клетушках – часто приходилось видеть, как на веревке, протянутой через всю комнату, висело сохнувшее целомудренное учительское белье. И как ни прискорбно об этом упоминать, но нашим милым, интеллигентным, благоухающим хорошими духами учительницам приходилось бегать по нужде в классическое дощатое сооружение во дворе, грубо вымазанное для красоты и гигиены белой известкой.

Бедность не порок, как говорится, и с бедностью наша интеллигенция давно научилась справляться, и даже настолько успешно, что бедности этой порою и вовсе не было заметно. Однако в привычной борьбе с нею более умелыми оказывались все же наши молодые учительницы, а вот с мужской половиной московской педагогической плеяды обстояло дело похуже. Помнится, Юрий Петрович, замечательный и любимый наш физик и математик, чернобровый красавец, приходил в начале нового учебного года в замечательном костюме цвета кедровых орешков, в наглаженных брюках, в ослепительно белой сорочке и при галстукке. К концу же учебного года он являлся на урок в том же костюме, но с дыркой на локте и с такими пузырями на коленях измызганных неглаженных штанов, что просто неудобно было на него смотреть. О галстукке и белой сорочке и он, и мы постепенно забыли и старались не вспоминать.

Но именно он, наш добрейший Юрий Петрович, ни разу ни на кого не повысивший голоса, со всеми учениками обращавшийся неизменно на «вы», приучил нас слушать классическую музыку. Оказалось, что физик наш к тому же и неплохой пианист, профессионально игравший Чайковского, Рахманинова. По заведенному порядку ученики старших классов с кем-нибудь из учителей должны были в большие праздники и под Новый год всю ночь дежурить в школе, и всегда дежурить доставалось безотказному Юрию Петровичу, и он в те ночи часами играл нам на ободранном школьном пианино. С тех пор и стала мне близкой, как бы моей собственной, светлая печаль «Времен года» Чайковского. Чудно играл наш физик, он оживил для многих из нас, впервые слышавших настоящее исполнение (а не хриплое клекотание по радио), дотоле непонятную и мертвую для нашей души классическую музыку.

В группе новых учителей, в большинстве состоявшей из девушек, был еще один мужчина, Виталий Титович Коржилов. Этому человеку я обязан прежде всего тем, что в свое время принял решение пойти на все и стать писателем. Виталий Титович тогда казался мне настоящим гигантом, Геркулесом. Когда приходилось видеть его в общественной бане, куда ходили мыться все рядовые граждане города, потому как в бараках и горнозаводских многоквартирных домах тогда еще не было ванн, я поражался красоте и мощи его внушительной фигуры. Поистине это был русский богатырь, с необъятными плечами, с выпуклыми полушариями мускулов на волосатой груди, с толстыми, как бревна, ногами и спиной, как скала. Но этот богатырь,

кудрявый, синеглазый, с широким улыбчивым ртом, говорил на уроках таким тихим, тонким голосом, столь кротко и смущенно улыбался, что его никто не боялся, и ученики на занятиях откровенно занимались кто чем хотел и разговаривали между собою. Гул стоял на уроках Виталия Титовича, как на вокзале, и услышать его объяснения по литературе было невозможно.

Но он был, оказывается, поэт, настоящий поэт, и у него даже были книжки! Вещь поразительная для меня – я впервые видел живого поэта. На праздничных вечерах в школе Виталий Титович Коржиков читал свои стихи со сцены, но, как и на уроках, тихим, тонким голосом, столь противоречащим его внушительной фигуре, и так же пошумливая и разговаривала публика, и ничего из того, что он декламировал, разобрать было невозможно. А он бормотал себе, глядя синими глазами куда-то в пространство, и даже время от времени делал какие-то выразительные жесты, потрясал сжатым кулаком – наш добрейший Виталий Титович... Впоследствии я читал его книжки – это были добротные стихи о матросской жизни, о мужественной романтике Севера, о любви, о Родине, о мужской дружбе – такие же сдержанные, мужественные и нежные, каким был и сам наш школьный учитель.

Это были молодые люди, старше нас всего лет на семь–десять: Мария Григорьевна Шевырева, математик, Тамара Петровна Вагина, преподавательница русского языка и литературы... И, как я теперь понимаю, это были представители той советской интеллигенции, которая несла в себе все лучшее, что было в нашем многомиллионном обществе. Детьми пережившие страшную войну, уже вполне взрослые для того, чтобы осознать все зло сталинского сатанизма, наши молодые учителя и учительницы давали нам то единственное противоядие и ту духовную пищу, которая только и могла спасти для добра наши юные души: знания и культуру России.

В этой великой стране, что бы с нею ни происходило в продолжении XX века, всегда оставалось в запасе огромное наследие отечественной культуры. И это наследие, это богатство не удастся разграбить и разбазарить никаким политическим бандам, никаким разбойничьим шайкам государственных жуликов. То, что оставили потомкам Пушкин, Лев Толстой и Достоевский, не подлежит ограблению и никогда не перестанет быть ценностью русского народа.

Время было невнятное, мутное. Недавно умер Сталин, расстреляли Берию, главного политического палача режима, – два грузина правили, казнили и миловали на Руси. После них страной стал управлять украинец Хрущев. Он пообещал, что скоро наступит коммунистический рай. Народы сталинской империи покорно несли свой повседневный труд. Дети росли, учились в школах, пели патриотические песни.

Заканчивая школу, мы, сахалинские юнцы и девушки, мечтали вырваться за пределы нашего голубого острова, разлететься по Большой земле и там искать свое счастье. Я решил поехать учиться в Москву. Такое смелое решение подсказала мне сама судьба – никто ничего не советовал, заранее я ничего не обдумывал, а просто однажды мне стало совершенно ясно, что я должен отправиться в Москву. И моя мать сразу же согласилась со мной, отец тоже не стал возражать.

А до Москвы было далеко! Никаких близких или родных там не было, и никто из всего нашего корейского рода Кимов никогда там раньше не бывал. Я отправлялся туда самым первым. Москва сияла вдали своими волшебными лучами – о, как манили они меня, как замирало мое сердце!

В Москву!

Мое детство было связано с духами стихий – степей, гор и океанов. Моя юность определилась встречей с Москвой, с которой окажется связанной вся остальная моя жизнь. Есть какая-то магическая притягательность этого города для тех, кто когда-нибудь жил в нем или просто побывал там однажды. Понравилось ли в столице или нет, но даже случайный гость Москвы будет потом долго вспоминать ее с особенным, ни на что другое не похожим, беспокойным чувством. И, вполне возможно, чувство это еще не раз призовет человека в Москву, и он будет стараться приехать туда, словно обещано было ему там какое-то счастье, равного которому нет ничего в мире.

А я прожил в столице более тридцати лет, и за все это время, наполненное для меня ежедневным чудовищным напряжением всех моих сил в борьбе за духовное существование, так и не понял, какое счастье тайно обещала Москва, когда впервые призвала меня к себе в дни моей юности...

Не помню уже, каким образом принималось решение, что после школы я поеду именно в Москву, но вспоминается, как эта поездка совершилась на деле. Началась она с того, что большая группа одноклассников отправилась из Холмска, сахалинского портового города, очередным

пароходом до Владивостока, а уж оттуда мы все, выпускники горнозаводской школы 1956 года выпуска, разъехались кто куда.

Во Владивостоке я оказался уже один, без друзей. Впервые провел ночь на вокзале, где народу было так много, что лавки и диваны оказались все заняты, спать пришлось на полу под лестницей.

На другой день я неожиданно встретился со своими учительницами, Марией Григорьевной и Тамарой Петровной, которые тоже собирались ехать в Москву. Оказалось, у них закончился сахалинский контракт и теперь они, окончательно рассчитавшись, возвращались домой. Мне невероятно повезло: я присоединился к ним, и Тамара Петровна тут же решила, что в Москве я останюсь у нее, в ее родительском доме. Мы взяли билеты на поезд и поехали.

От тихоокеанского побережья до Москвы поезд шел тогда 11 суток (теперь идет, говорят, одну неделю), и я, ехавший вторым классом в жестком вагоне, отлежал за это время все бока – потом ребра мои и кости на спине болели, словно от ушибов.

Когда-то, в раннем детстве, мне уже пришлось ехать вместе с родителями по этому же великому транссибирскому пути. Но тогда мы ехали в обратном направлении от Казахстана до Владивостока, и нас везли в товарных вагонах отдельным эшелонном, который довольно часто, бывало, загоняли куда-нибудь в тупик на запасной путь, где и приходилось торчать иногда по несколько суток. А на этот раз огнедышащий паровоз тащил скорый поезд почти безостановочно, днем и ночью, делая редкие остановки-передышки в больших дальневосточных и сибирских городах: в Хабаровске, Барнауле, Красноярске, Новосибирске... И надо было при такой неистовой непрерывной езде катить более десяти суток, чтобы добраться до Москвы... Велика Россия!

Не могу точно сказать, к впечатлениям этой ли поездки в Москву, в зеленой коробочке пассажирского вагона, или к воспоминанию о тягучем переезде из Казахстана на Дальний Восток, в товарных теплушках, относятся картины, встающие сейчас у меня перед глазами. Вот я высовываюсь из окна вагона и, прижмурившись под секущим встречным ветром, смотрю на загибающуюся полукругом головную часть нашего поезда с черным паровозом впереди, над которым возносится пар, смешанный с дымом, ритмичными толчками вырываясь из широкой, как ведро, локомотивной трубы. В такт этим отсекаемым в воздухе рывкам дыма паровоз натужно пыхтит: чух! чух! чух! чух!

А вот я вижу вдаль, на горе, среди нагромождений скал, что-то белое – такую же огромную скалу, как и соседние, но только белую и, если присмотреться, весьма похожую на знакомую усатую голову... Да, это была она – высеченная из цельной скалы гора-голова Сталина, которую выкрасили в белый цвет. Люди, едущие в поездах транссибирской магистрали, должны были видеть ее издали... А сделали ее какие-то заключенные из местных концлагерей. Наверное, творческий замысел возник у одного из них, потом был обсужден с начальством, и оно санкционировало создание этого поистине древнеегипетского монумента. Почему я думаю, что мысль о сотворении колосса пришла в голову заключенному, а не какому-нибудь верноподданническому чиновнику из лагерного начальства? Конечно, я могу и ошибиться, всяко могло быть, но дело в том, что желание непомерно возвеличить образ своего пахана, фараона, императора появляется прежде всего в рабском сознании. Сам император, величественный фараон или вождь народов вряд ли стали бы мелочно интересоваться, сколько метров в высоту займет их изображение. Лукавое чувство торжества и восторга при мысли, что будет создан скульптурный бюст царственного фараона с гору величиной, должно родиться в душе истинного раба. Не будем ее называть низкой за то, что, несмотря на все мучения, страхи и унижения, которым подвергает хозяин своего раба, тот таит в себе некий немой и ужасный восторг перед образом всемогущего пахана. И порой, захлебываясь собственной кровью, которую пускали ему из носа слуги и палачи тирана, иной заключенный оказывался способным любить его и даже умереть, выкликая при расстреле имя усатого фараона.

Так бывало, об этом рассказано в разных книгах о России того странного периода, когда я появился на свет... Какая-то жутковато-величественная тайна содержится во всей этой чертовщине. А в том году, когда я, уже закончив школу, семнадцатилетним парнем ехал в столицу учиться, этой зловещей тайной преисполнилась вся громадная страна. И Сибирь, через которую

вез меня паровоз
в звонком стуке колес,
в черном ливне мелькающих шпал, –

огромный каторжный край был особенно густо насыщен этим духом непонятной покорности, немного восторга рабов пред своим господином... Ничего себе! Каторжники, которых загнал за колючую проволоку товарищ Сталин, делают из каменной горы его усатую голову, издали действительно имеющую грубое сходство с «родным и любимым», как пелось в песнях.

С тех пор прошло очень много лет. Ни тех паровозов уже звонкоголосых, ни надежд моей юности, ни фараонов далеких и даже самого царства фараонова нет. Все это ушло в прошлое, не сбылось, развалилось. Думаю, что и гигантский бюст вождя народов тоже не остался – могли взорвать при власти других вождей... Но тайна, тайна народа осталась! Она заключается в том, что он почему-то не может благополучно существовать сам по себе, без всяких пришлых князей – варягов, грузин и прочих. Смотрите, как он сейчас, в эти дни, тоскует по сильной руке над собою и, словно в каком-то отчаянии, ищет нового вождя!

Но пора вернуться к Москве времен моей молодости. Я приехал туда с благим желанием поступить учиться в Художественную академию. В своей сахалинской школе я уже слыл «художником», то есть рисовал в стенгазете и оформлял рукописный литературный журнал, главным редактором которого, кстати, и являлся. Кроме этого, я написал масляными красками портрет кудрявого рыжего друга, Коли Волосатова, портрет сестренки, несколько маленьких этюдов с натуры (море, одно лишь море и сопки!) – все это было показано на областной выставке детского творчества, и мне присудили первую премию. Пожалуй, эта премия и решила мой выбор – я захотел всерьез учиться живописи.

К тому же в школе я начал писать стихи и сочинять прозу – все это под руководством Виталия Титовича и Тамары Петровны, наших «литераторов», – и преуспел, учителя хвалили (отсюда и редакторство рукописного журнала, выпускаемого в двух экземплярах – с банальным названием «Юность»). Сочинения мои зачитывали вслух в классе – для примера, а стихи даже хотели напечатать в нашей районной газете...

Однажды зимой пришел в школу некий невнятный, молчаливый человек с какими-то пустыми, светлыми, безумными глазами. Меня позвали со школьного двора, где мы, старшеклассники, убирали снег, в учительскую. Там меня и представила Тамара Петровна этому молчаливому человеку. Он крутил в руках экземпляр нашей классной «Юности» – это оказался мой коллега, главный редактор районной газеты. Он заявил, что готов опубликовать в газете некоторые стихи, в том числе и мои. Я ответил ему, что не возражаю, пусть напечатает, но только мои стихи печатать не нужно. Он поднял на меня свои пустые сумасшедшие глаза, отдаленно выразившие удивление. Видимо, редактор не знал, что и подумать... Откровенно говоря, я и сам не понял, почему отказался от возможности первой в жизни публикации. Может быть, Тот, Кто ведет меня по жизни, уже замыслил тогда, что я буду писателем, и не захотел гасить мой писательский дух соблазном легкого напечатания. Нет, я должен был годами и годами желать этого – как юноша любви, как узник освобождения, как больной исцеления. Мучениями и отчаянием души заплатить за это великое счастье – быть напечатанным...

Итак, уже не колеблясь и ни в чем не сомневаясь, я приехал в Москву, чтобы выучиться и непременно стать художником, таким, как Рембрандт, например («Портрет старушки»), или Джорджоне («Спящая Венера») – репродукции этих картин мне доводилось видеть на цветных вкладышах в Большой Советской Энциклопедии, которую отец выписал – от «А» и до «Я». Признаться, меня манила жизнь гениального художника: я уже читал роман про испанского гения, «Гойю» Эмиля Золя. И мне хотелось, честно говоря, чтобы меня так же полюбила какая-нибудь выдающаяся красавица, вроде герцогини Альбы.

Да вот не вышло пока. Конечно, теперь я понимаю, что всегда, всю жизнь был баловнем судьбы. В моей жизни все происходило так, чтобы я наилучшим образом подготавливался стать серьезным писателем. То есть таким писателем, который знает изнанку жизни, а не просто одну ее радужную поверхность. И для того, чтобы я обрел необходимые знания, судьба всегда пристраивала меня в такие школы жизни, где я мог изучать причину сокрушительного поражения, постигающего каждого человека, будь он безвольным пловцом, барахтающимся безо всякой жизненной цели или, наоборот, неистово устремляющимся к какой-нибудь бредовой пустоте. Словом, я прошел школу самого темного дна жизни – и самых холодных, прозрачных ее вершин. И этот путь познания начинался у меня в Москве.

Я не поступил в Суриковский институт – самоучку-дилетанта, представившего в приемную комиссию слабые любительские работы, не пустили и на порог этого высшего учебного художественного заведения. Мало того – я провалился на экзаменах по рисунку и в художест-

венное училище, куда направили меня из комиссии института благодаря хлопотам Тамары Петровны.

Я жил у нее по прибытии в Москву – в пригородном поселке на станции Загорянка, где находился дом родителей моей учительницы – замечательный дом из ровных больших бревен, с просторной верандой, с помещением на жарком чердаке, где пахло смолой, сухой пылью и ржавчиной каленого железа кровли. На этом чердаке я готовился к приемным экзаменам в училище, писал маслом натюрморты: грибы, кувшины, бутылки... И, спрятавшись на этом чердаке, я пережил минуты самого черного отчаяния, стыда, ожесточения, когда впервые почувствовал Того, Кто вел меня по жизни, – и Он повел меня вовсе не туда, куда мне хотелось. С того дня, видимо, так оно и продолжалось: я оголтело устремлялся в жизни не туда, куда мне следовало, и бунтовал против Того, Кто был мне руководителем. И чем этот бунт может кончиться для меня?

В доме моей доброй учительницы, которая была старше меня всего-то лет на семь (Боже мой, ведь в таком случае ей уже, наверное, за шестьдесят...), я узнал много для себя нового. Например, чтобы съесть кильку, вовсе не нужно выпускать ей кишки и, тарахтя вилкой и ножом по тарелке, еще и пытаться при этом отрезать несчастной рыбешке голову.

Нельзя было без разрешения брать из книжного шкафчика книги, хотя они и были такие замечательные и интересные: «Айвенго», например, Вальтера Скотта, «Кашеева цепь» Пришвина, «Новеллы» Проспера Мериме... Я был совершенно неотесанным сахалинским парнем, которому невдомек, что у книги есть владелец, что надо прежде спрашивать у него позволения взять почитать ее, если даже она и лежит на полке шкафчика в той же комнате, где ты сейчас проживаешь.

Ни в коем случае нельзя было включать без спроса телевизор, если хозяева сами не смотрели его, – я тогда впервые в жизни увидел «живой» телевизор: на Сахалине, в шахтерском городке, телевизоров еще ни у кого не было. У моих же подмосковных хозяев, людей хотя и не высшего, но достаточно высокого советского класса, он был: с экраном величиною с записную книжку, перед которым на подставке пристраивалась большая пустотелая выпуклая линза, куда наливалась вода.

Перенимать новые культурные навыки и избавляться от дурных, некультурных, помогал мне один человек, которого моя учительница по-домашнему называла дядей Витей (или дядей Митей?), – это был брат хозяйки дома, матери Тамары Петровны. Тщедушный и маленький человечек, ростом даже меньше меня, со скошенными к переносице глазами, с зачесанными на лысину жиденькими волосами, этот дядя Витя-Митя обладал, однако, рокошущим низким голосом и имел обыкновение разговаривать самым решительным, грозным, безапелляционным тоном. Можно было оробеть перед ним, только слушая его голос, но все впечатление портили эти косые глаза и совершенно пустой рот, в котором торчал всего один желтый зуб, да и тот заметно пошатывался при разговоре. Ему, наверное, было лет шестьдесят, он был пенсионером, Тамара Петровна как-то сказала мне, что дядя Митя-Витя алкоголик, и вообще в доме моей учительницы все относились к нему не очень-то серьезно. Однако на меня он произвел большое впечатление, и не только тем, что знал, как надо правильно есть кильку, буженину, осетрину и все непривычные для меня деликатесы, но главным образом жутковатыми рассказами из своего воинственного прошлого. Он когда-то, по его словам, служил крупным чином «в органах».

– Был у меня подчиненный, эстонец Мага, – рассказывал он мне, округлив скошенные к переносью глаза, – так он занимался только тем, что расстреливал на Лубянке этих самых дармоедов, которых приговаривали к смер-р-рти... У Маги был свой, специальный, маузер-р-р, – рыча, грозно оттопыривая нижнюю губу, рассказывал дядя Витя-Митя. – Ему в глаза невозможно было смотреть, такие они были у него стр-р-рашные.

И я тоже, будучи впечатлительным юношей, начинал испытывать страх перед сатанинским взором этого Маги. Но, заметив во рту бывшего офицера органов шатавшийся зуб, я невольно проникался беспокойством, как бы он тут же не выпал на тарелку, где лежали останки килек, что и выводило меня из страха. Это были новые для меня люди: жители столицы, обитатели той срединной устоявшейся советской жизни, которая взошла, как я теперь понимаю, к вершинам своего благополучия – высшей стадии коммунистического империализма. Моя романтическая, мягкая, сверкающая лазурью дальневосточная юность навсегда осталась позади. Я начинал новую жизнь. Отец моей учительницы, какой-то крупный начальник, помог мне устроиться на работу, и вскоре я переехал в общежитие строительных рабочих.

В Москве-1

Москва второй половины пятидесятых годов завершала созидание своего облика имперского супергорода, мирового оплота социализма. Только что были отстроены высотные дома, так называемые «сталинские небоскребы», и здание Московского государственного университета на Ленинских горах – величественные розовато-серые гиганты, упиравшиеся острыми тонкими шпилями в самое небо. Завершалось строительство огромного спортивного комплекса в Лужниках с Центральным стадионом на сто пятьдесят тысяч зрительских мест. Были возведены новые многоэтажные районы, равные небольшим городам, – вдоль Москвы-реки на Фрунзенской набережной и на юго-западе, в Черемушках. Начиналась тогда и застройка жилыми кварталами многочисленных окраин столицы, которые впоследствии по общей площади намного превысили размеры старой Москвы.

Прошло чуть больше десяти лет после окончания Великой Отечественной войны, и отстоявшая себя, укрепившаяся и невероятно повысившая мировой политический престиж империя Советов желала продемонстрировать свое величие новым обликом древней столицы. Москва пятидесятых–шестидесятых годов стала Москвой строительной, и таковой она осталась еще на многие годы...

Идеей и пафосом грандиозных строек было охвачено все государство: именно в те годы началась строительная гигантомания в стране. Возводились колоссальные гидроэлектростанции на Волге и на сибирских реках: Сталинградская, Братская, Красноярская. Прокладывались большие каналы в Средней Азии. Тогда и родилось захватывающее воображение название: «стройка коммунизма» или же – «стройка века». Так вот, строительство новой Москвы с ее сталинскими небоскребами и громадными микрорайонами тоже относилось непосредственно к «стройкам века».

Этот процесс строительной экспансии Москвы происходил на фоне широкой миграции сельских жителей в города, особенно сильной в те годы. Тогда только что стали выдавать колхозникам общегражданские паспорта и разрешили жить где хочется, а не только в своем родном колхозе, где почти ничего не платили за работу... И вышло так, что большую часть новоявленных московских строителей составили недавние жители деревень, народ, привычный к тяжелому физическому труду. И очень быстро вчерашний крестьянин из-под Тамбова или Пензы становился в Москве каменщиком, штукатуром, бетонщиком, маляром.

Как правило, лимитчики поселялись в общежитиях, принадлежавших строительным организациям, получали там в общей многоместной комнате свое койко-место: кровать с постельными принадлежностями и индивидуальную фанерную тумбочку. В комнате, куда меня вселили, моими соседями по койке были парни разной национальности – поистине «семья братских народов». Там были татарин Витька Бигбулатов, украинец Петро Черевко, чуваш Игорь, русский мужик Мишка со своей женой Нюрой...

В той же комнате обрел я соседство и затем дружбу на долгие годы с Валерием Костионовым, который был постарше и впоследствии, когда я уже давно покинул общежитие и шел своим путем, пробиваясь в литературу, во многом помогал, поддерживал меня... Он вскоре женился и переехал к жене. Но поскольку невеста оказалась тоже «лимитчицей», то и жить им пришлось в общежитии, притом женском, и жизненное пространство было точно таким же, как и прежде: казенное койко-место жены. И у Валерия московская домашняя жизнь началась в какой-то большой, похожей на больничную палату женской казарме. Правда, их кровать, находившаяся где-то посередине этой неудобной комнаты, была со всех сторон выгорожена ситцевыми занавесками, за которыми и принимали меня, дорогого гостя, мои добрые друзья...

В одном из подобных «классических» общежитий поселился и я, устроившись работать в тресте Мосстрой-2. Никакой строительной специальности я, разумеется, не имел, и меня взяли в качестве разнорабочего. Мне еще не исполнилось 18 лет, поэтому рабочий день мой по закону был шесть часов. Общежитие находилось в пригороде Москвы, в поселке Кокошкино, куда надо было добираться минут сорок на электричке. Жил я в четырехместной комнате в двухэтажном бараке с длинными коридорами, в самом конце которых находились умывальные комнаты и общие кухни...

Моя пролетарская жизнь началась осенью, когда уже рано темнело, а утренний свет наступал поздно. Около шести утра громкий звон будильника поднимал меня и моих соседей по койкам, и я, поспешно сбегав на двор в классическую деревянную будку, а затем в умывалке поплескав холодной воды на лицо, приносил с кухни чайник с кипятком и «пил чай» – обжигаясь, глотал горячую воду с сахаром и съедал при этом кусок серого батона. Все эти

процедуры занимали минут двадцать после подъема, потом я одевался и выскакивал на темную еще улицу.

Там уже шаркали по асфальту сотни пролетарских ног, ото всех общежитских казарм тянулись темными цепочками косяки строителей новой Москвы, и утренние колонны молчаливых трудяг стекались к платформе железной дороги, где и скапливались в неподвижной молчаливой толпе, ждущей очередную электричку. Подходила, тонко посвистывая, электричка, останавливалась, и в тесной давке трудовой массы, устремленной к великим свершениям, я оказывался втянут в вагон поезда. Места там бывали все заняты, но, привыкнув со временем не завидовать сидящим, я почти не замечал их и сорок минут езды до Москвы мог продремать стоя, стиснутый со всех сторон народом, уткнувшись лбом в чью-нибудь спину.

В Москве, на Киевском вокзале, надо было бежать и нырять в метро, и снова брать штурмом вагон, барахтаться в потоках и водоворотах целеустремленной толпы – великой толпы трудового народа. Утренняя, семичасовая, в полном молчании движущаяся масса московских трудящихся, в основном рабочих, чьи смены начинались обычно в восемь часов, – это внушительное, захватывающее зрелище. Мое сердце начинало трепетать, как воробышек, когда я вдруг постигал всю безмерную мощь и живую мускульную силу этого всеобщего устремления. Очевидно, я нешуточно испытывал тогда волнение, называемое чувством единения с народом.

Потом я входил вместе с другими через широко распахнутые ворота на территорию стройки, шел к раздевалке своей бригады, где уже копошились рабочие, переодеваясь, разбирая испачканные в растворе спецовки и комбинезоны. Начиная переодеваться и я, торопясь и вздрагивая от холода, и тут уж покидало меня торжественное чувство единения с народом, испытанное совсем недавно. Густая известковая пыль поднималась над грязной рабочей одеждой, когда ее встряхивали, чтобы надеть. Тяжелый мат, уснащающий всякое речение, звучал слышнее всего среди будничных утренних разговоров строительных работяг... Мускулист, груб и слишком циничен, даже весело-похабен был этот строительный пролетариат – и уже никакого чувства слияния с ним не оставалось в моей душе.

В сущности, мои смутные первые вдохновения по тому поводу, что я ощущаю себя частью великого трудового народа, как раз явились выражением чего-то совершенно противоположного. И на работе, и в общежитии строителей в Кокошкине я как был с самого начала одинокой, отчужденной фигурой, так и оставался ею до конца пребывания там. В комплексной бригаде Бешменева, куда меня определили, были высокоразрядные плотники и каменщики, я же ничего не умел делать и плохо управлялся даже с простейшим инструментом – совковой лопатой.

В самый первый день я пришел на работу в своем парадном коричневом костюме, не зная даже, что мне положено получить рабочую одежду. Бригадир Бешменев, маленький, шустрый, худощавый человек, чем-то похожий на моего отца, только вздохнул, внимательно посмотрев на меня черными татарскими глазами. Он снял со своих плеч и надел на меня брезентовую спецовку, а потом послал вместе с каменщицей Катей в подвал, где я должен был помогать ей замазывать цементным раствором какие-то дыры в стене.

В дальнейшем бригадир определил меня подручным плотника к дяде Феде, пожилому добрейшему пьянице, который, показалось мне, почти не умел разговаривать. Вместо этого он что-то невразумительно мычал, хрипел, кашлял и смачно плевался, при этом сопровождая взглядом красных глаз далекий полет своего плевка. Объяснять мне что-нибудь или приказывать он не считал нужным – просто кивал головой и произносил: «Слышь-ка, Кима...» И я должен был сам догадаться, что делать: придержать ли за конец доску, которую он собирался перепилить, или принести бревнышко с другого этажа стройки... Если же я не догадывался, то плотник и без моей помощи преспокойно отпиливал доску. А однажды, когда понадобился столбик и я слишком долго ходил за ним, потому что по рассеянности, задумавшись о чем-то, протащил его на плече двумя этажами ниже и вынужден был потом возвращаться вверх, дядя Федя успел сам принести откуда-то столбушек и установить его на площадке. Увидев меня, согбенного под грузом, он ничего не выразил на своем красном морщинистом лице, только откашлялся, сплюнул и молвил кротко: «Брось, Кима, слышь-ка... Сядь покури...»

В зимние холода на этажах, в неотделанных еще квартирах, мы с дядей Федей жгли костры, чтобы погреться возле огня. На месте кострищ всегда оставались недогоревшие палки и куски древесного угля – это был превосходный материал для рисования. А серые бетонные стены или гипсовые перегородки, еще не оштукатуренные, оказались замечательными плоскостями для настенных рисунков. И вот в обеденные перерывы, быстренько наведавшись в столовую, я стал сразу же возвращаться на этажи и рисовать. Я сильно стосковался по рисованию, которым не

занимался с тех пор, как провалился на экзаменах в художественное училище. Неожиданное и столь необычное возвращение к любимому занятию взволновало меня, и я со страстью принялся мазать черным углем по серым стенам. Рисовать я стал почему-то одни лишь головки прекрасных девушек – и это были недурные рисунки, может быть, что-то в духе женских образов прерафаэлитов. Дядя Федя, приходя после обеденного перерыва, молча вылизывал красные глаза на настенный рисунок и ничего не говорил по своему обыкновению, а только отхаркивался и плевался. Но, уважая мое мастерство, наверное, старый плотник посылал плевков не в направлении рисунка, а чуть в сторону от него...

Моя работа заканчивалась на два часа раньше, чем у взрослых рабочих, и, переодевшись в раздевалке, я в одиночестве уходил со стройки и то гулял по Москве, знакомясь с древней русской столицей, то шел в кино, но чаще всего ехал в Библиотеку имени Ленина, брал там в публичном зале всякие интересные книги и читал допоздна.

В те годы это было возможно и вполне доступно – любому желающему, имеющему прописку в Москве, записаться в общий читальный зал. Туда в основном ходили заниматься студенты, но бывали в Ленинке, как я постепенно заметил, и какие-то постоянные читатели разного возраста и причудливого облика. Как оказалось, это был особый разряд московских библиотечных философов, книжников и мудрецов, которые большую часть своей жизни проводили именно в этой библиотеке. Завсегдатаи публичного зала хорошо знали самых выдающихся библиоманов и любили послушать их традиционные философские диспуты. Они происходили, как правило, в курительной комнате перед туалетом, и могли длиться часами...

В Москве-2

Не знаю, когда родилась известная крылатая фраза: «Москва слезам не верит», но полагаю, что это произошло все же не в нашем благословенном, быстро разменивающим последние свои годы двадцатом веке. Был создан кинофильм под таким названием, который стал знаменитым и обошел экраны всего мира, в этой кинокартине рассказывалось о судьбе московских «лимитчиков» – разумеется, с благополучным концом и с полным торжеством справедливости и человечности. Моя персональная московская история в чем-то сходна, конечно, с известной киноверсией, однако мне хотелось бы показать то, что в вышеозначенную картину не вошло и что дает мне основание сделать вовсе иные выводы, чем в популярном фильме.

Так что «сценарий», который я теперь разрабатываю, можно назвать и по-другому – и опять-таки по крылатому народному выражению: «Москва бьет с носка». О том, в какое время родилась эта фраза, звучащая почти каламбуром, я тоже не берусь судить, хотя мне что-то подсказывает, что это все же старинное выражение... И если в первой поговорке есть «слеза» и звучит некая обидчивая чувствительность, то во второй явно прослушивается торжествующая констатация предельной жесткости столичных нравов, когда «бьют» ногой всякого, кто падет в жизненной борьбе.

Расскажу о том, как впервые в Москве я начал постигать на собственном опыте главный конфликт человека и окружающего мира в нашем веке – а может быть, и во всех веках этой второй истории человечества (первая была, говорят, до Ноева потопа) – давление мира на человеческую отдельность, отчуждение личности, полное безразличие к ней со стороны тотальных структур, их бездушие по отношению к отдельному человеку...

Москва всегда предоставляла и предоставляет до сих пор прекрасные возможности для познания и усвоения на практике темной науки человеческого отчуждения.

Москва – очень жесткий, тяжелый для души город. Но коренной москвич гордится своим происхождением, и в характере московского жителя есть некое чувство превосходства над всеми остальными людьми на свете. Возможно, подобное самомнение свойственно вообще жителям всех мировых столиц, колоссальных супергородов, где скапливается огромное количество людей, которые больше потребляют, чем производят жизненных благ, и, чтобы жить так, надо создать некие особенные системы общественного существования. Москва и создавала и постоянно совершенствовала подобные системы, а москвичи быстрее других приспосабливались к ним – это и давало пищу для их самоуверенности и чувства собственного превосходства.

Москва – это не только столица бывшей советской империи и нынешней Российской Федерации, Москва – это отдельное государство в государстве. И москвичи – особенный народ, искусственная нация, подобная американской, состоящей из сотен различных по крови и цвету кожи национальностей. Однако, подобно тому, как американцы восточной части отличаются от

жителей американского Запада, а жители Севера – от аборигенов Юга, в московском народе тоже наличествуют весьма различные ментальные течения.

Только разделяются они здесь не фактором географии, по горизонтали, но прежде всего принадлежностью к тем или иным уровням социального бытования – по вертикали. А вертикаль эта определяет принадлежность каждого к своему уровню уже по фактору потребления.

В московской нации, к примеру, было самое большое количество генералов, адмиралов, маршалов – ни в одном народе мира не имелось такого высокого процента генералов на душу населения. То же самое можно сказать и о высших иерархиях науки и культуры. Нигде в мире не было такой многочисленной касты академиков, получивших высшие пожизненные привилегии и пайки, и высокопоставленных писателей, лауреатов главных государственных премий, как в столице. Генеральские и писательские дачи, дачи академиков – с гектарными участками огражденного высокими заборами леса – окружали самые живописные подступы к столице.

Но среди людей московской национальности наивысшее положение занимали все же не генералы, не академики, не лауреаты Ленинской и Государственной премий, а социальный слой, носивший в народе довольно неудобовыговариваемое название: цэкашники. Этот слой московской нации существовал в самоизоляции от остального народа – они имели свои территории для проживания и деятельности, свой ареал для получения пропитания, всегда закрытый для доступа тех, кто не из системы ЦК. И распределители земных благ для цэкашников были расположены в самых таинственных местах.

К этому скрытому потоку распределения благ и средств потребления примыкали и мощные колонны высших государственных чиновников Совмина и всяческих министерств, главков, управлений, то есть главных всесоюзных ведомств по отраслям. И так далее, и тому подобное... Невозможно досконально изучить и перечислить все существовавшие легально и другие, засекреченные, системы социального обеспечения московского народа в его высших элитных и полуэлитных структурах. Но, что бы там ни было, простой люд Москвы многое видел, чувствовал, о многом догадывался, и каждый на своем уровне старался как-нибудь повыгодней пристроиться к существующей системе государственного распределения материальных благ.

Если невозможно было пристроиться к выгодным структурам или были недостаточными, по мнению субъекта этой структуры, получаемые им блага, он мог брать их самовольно, то есть воровать. Где и кто только не воровал в Москве и по всей стране! Но это не называлось воровством. Появилось знаменитое слово «несун», которое по своему тончайшему стилистическому значению не имело ничего общего с понятиями кражи, воровства. Несун выносил за ворота фабрики, завода, любого другого государственного предприятия все то, что ему было нужно, не чувствуя при этом никаких угрызений совести. Несун считал, что он берет у государства, которому принадлежит завод или фабрика, небольшую часть того, что оно задолжало ему, недоплатив за его работу. И здесь соображение, хорошо ли ты работал или плохо, не имело значения. Несун видел в своей повседневной жизни огромное число сограждан, которые ловко пристроились где-нибудь «наверху», работали ничуть не больше его, а получали благ от государства и потребляли в тысячу раз больше. Чего только не несли! Колбасу, мясо, печенку, окорока – с мясокомбината. Масло, изюм, сахар, муку, яйца – из пекарни. Краски, олифу, алебастр, гвозди, паклю, клей, цемент, доски – со стройки. Белье, пуговицы, нитки, иголки, наперстки, куски тканей – из ателье и со швейных фабрик. Медь, алюминий, бронзу, вольфрам, никель и другие редкие металлы и изделия из них – с заводов. Радиодетали, детали телевизоров, запчасти автомобилей, бензин и солярку, масла смазочные, лаки, ацетон... Картошку, капусту, морковь, огурцы и всякие другие овощи... Шоколад, кофе, конфеты, лекарства, пластинки, часовые механизмы, канцелярские скрепки, школьные тетради, книги, боевые пистолеты, боеприпасы, солдатские сапоги... Всего не перечислить: все, из чего производилось и что производилось на государственных предприятиях, что лежало на складах и в хранилищах, выносилось за ворота несунами.

В государстве создавался грандиозный заговор воровства, воровали на всех уровнях – сверху и донизу. Наверху «несли» роскошные квартиры, автомобили, дачи и дачные участки, строительные материалы для них, высшее образование для своих детей, валютные лицензии на сафари в африканских странах. Курорты, лечение в сказочно оборудованных больницах... И для всего этого надо было создавать и всемерно укреплять хорошо налаженную систему тотального воровства. И самая лучшая, ни с чем не шедшая в сравнение система была создана в Москве. Здесь всем захребетникам и бюрократам было так удобно и столь хорошо, что можно было

сказать – для них-то уже создано идеальное общество. Вот уж действительно получилось по Гоголю: мошенник сидел на мошеннике и погонял мошенником!

Осознание этой реальной действительности произошло с годами, постепенно. А в те годы, когда я только появился в Москве и начал свою самостоятельную жизнь, я еще ничего не понимал, тыкался носом в разные темные углы, набивал себе шишки и болезненно переживал по разным поводам, не имевшим лично ко мне никакого отношения или же являвшимся результатом всеобщего неблагополучия. То есть начались мои первые столкновения с реально существующей системой нашего советского бытия.

Однажды на работе произошел такой случай. В субботу, когда у всех был укороченный рабочий день и я заканчивал вместе с остальными, сменный мастер Вера к самому завершению смены приказала мне выбросить в снег полную бадью свежего цементного раствора. Дело было в том, что заказанный раствор привезли поздно, незадолго до конца работы, и поэтому его не успели использовать. Оставлять же разведенный цемент на выходной день было нельзя, ибо он застыл бы и превратился в окаменевшую глыбу. Вот и повелела мне мастер Вера освободить огромную бадью и выбросить в снежный сугроб, наметанный во дворе стройки недавним бураном, почти два самосвала отличного бетонного раствора... Когда я отказался это приказание выполнить, как же презрительно смотрела на меня покрасневшая, сердитая, пухлая, некрасивая наша «мастерица», сама чуть постарше меня, и с каким недоумением взирали на меня мои коллеги из бригады!

Я еще не понимал того, что понимали они. Выбрасывать в снег добро нельзя было, разумеется, но выбросить государственное добро можно. Я еще был слишком молод и неопытен в жизни, чтобы осознавать свое положение как положение раба государства. Оно было полным хозяином над каждым рабочим-рабом, а раб, как известно, не бережет имущества своего хозяина. Если рабу ничто не грозит, то он даже потихоньку портит, уничтожает – или ворует – добро хозяина.

Нет, во мне еще слишком много было внутренней свободы, чистоты и природной честности по отношению к жизни. Мне было совестно делать заведомо нехорошее дело. В дальнейшем не раз возникнут ситуации, когда жизнь будет заставлять меня делать не по совести. И, может быть, не всегда мне удавалось вовремя разобраться, устоять и не оступиться. Но, что бы то ни было, ненависть и отвращение к бессовестному существованию и презрение ко всему, что заставляет человека поступать не так, как подсказывает ему изначальная совесть, стали во мне вполне осознанными основными позициями нравственности. Точно так же, как и у очень многих моих современников в нашей стране... Поэтому они и не поддержали режим, систему лжи, когда она зашаталась и рухнула.

На первых шагах в Москве я, маленький, легко краснеющий корейский паренек с Сахалина, дитя природы и любитель читать книги, не мог ничего понять в тех странных картинах трудной и некрасивой жизни, в которую я был брошен невидимой решительной рукой судьбы. Я лишь грустил иногда и думал, что мне просто не повезло и поэтому я попал не на тот участок жизни, где все хорошо, правильно, интересно, а на худший, где все так некрасиво, грубо и примитивно.

Я уже рассказывал, как рисовал угольными палочками на еще не оштукатуренных стенах будущих квартир женские головки, идеализированные и романтизированные образы в духе прерафаэлитов... И вот однажды перед началом рабочей смены мастер Вера, непонятно улыбаясь и отводя в сторону глаза, велела мне идти в контору строительного участка: вызывает, мол, сам начальник. Я был удивлен. Мне никогда еще не приходилось встречаться с ним и разговаривать. Это был еще нестарый человек, лысеющий блондин, высокого роста, в костюме и при галстук. Точно так же, как и мастер Вера, отводя и пряча глаза, начальник спросил у меня: не я ли разрисовал стены? Потупившись, чувствуя, что отчего-то краснею, ответил, что да, это я рисовал... И тогда уже строго, почти сердито, начальник приказал: «Все это безобразие немедленно стереть! И больше чтобы этого не было. Понятно?»

Ничего не понимая, я отправился в корпус и по пути размышлял: может быть, начальнику не понравились рисунки или по каким-то инструкциям на стенах стройки запрещено рисовать?.. Но, когда я пришел в корпус, мне все стало ясно.

Каждый мой настенный рисунок был старательно продолжен кем-то. И этот «соавтор» работал в стиле примитивизма, но того самого, который прочно утвердился на стенах общественных сортиров. К хорошеньким головкам моих «прерафаэлиток» были пририсованы тем же черным углем похабные и уродливые женские тела. Свесив совершенно чудовищные

сиськи и растопырив хилые рахитичные ножки, эти сортирные мадонны – особенно жуткие в своей порнографической выразительности из-за того, что лица у них были прекрасными, – демонстрировали свои утрированные, как на африканских скульптурах, мрачные половые органы. Таким образом мои старательные рисунки были изнасилованы и убиты, и тот злодей, чья рука поднялась на подобное дело, был скрыт в массе невидимого люда, имя которому – легион.

В общежитии строительных рабочих, где я прожил год, красоты тоже было маловато. Там вечерами после работы, в выходные дни или по праздникам мужики напивались, и тогда вспыхивали яростные, буйные драки... Помню самый первый день своего появления в общежитии. Я вселился в комнату о четырех койках уже к вечеру, там никого не было, люди еще не вернулись с работы, и, подавленный какой-то смутной тоской, я улегся на свою койку в темноте раннего осеннего вечера, даже не зажигая электрического света. Вдруг за дверью в коридоре раздались какие-то свирепые мужские голоса, топот ног, звуки тяжелой возни – дверь с треском распахнулась, и в комнату пал, спиной и затылком на пол, какой-то голый по пояс человек. Удар его тела о доски пола был столь полновесным и тяжким, что он, оглушенный, лежал несколько секунд на спине, едва ворочаясь. Но довольно быстро ожил, с внезапной резвостью вскочил на ноги и, грозно рыча, словно медведь, вновь выметнулся назад в коридор. Тогда я поднялся с койки и, прошлепав босыми ногами до двери, прикрыл ее и запер изнутри на защелку.

Вечерами холостая молодежь общежития порой устраивала танцы под радиолу, и это происходило зимою в обшарпанном вестибюле на первом этаже, а летом во дворе, на асфальтированном пятачке. Парни и девушки танцевали парами, обнявшись. Я тоже иногда танцевал, осмелившись пригласить какую-нибудь пахнущую дешевым одеколоном партнершу, но чаще всего стоял где-нибудь в сторонке и любовался издали.

Очень во многом наша жизнь общежитская была натуральной, как у диких племен, без особых правил морали. Но тогда получить возможность и для такого малоцивилизованного существования было, оказывается, не очень-то просто. Когда я прожил таким образом почти месяц, выяснилось, что местная милиция отказала мне в прописке. Я был принят на работу по протекции отца моей учительницы, меня устраивал в общежитие сам заместитель начальника треста Мотов, которому я лично передал рекомендательное письмо... Но я шел одиночкой, а не по линии организованного набора рабочей силы, и милиция сочла невозможным дать мне временную прописку. Я вновь поехал к Мотову, и он, седовато-серый, как матерый волк, чиновник с лысиной, сказал мне, потирая, по своему обыкновению, утомленные глаза рукою, что со своей стороны сделал все, о чем просил N.N. (отец моей учительницы), а в отношении милиции и прописки в паспорте он ничем помочь не может. И Мотов посоветовал мне обратиться в Главный паспортный стол Московской области.

Часть вторая

Начало

В августе 1963 года я ехал ночным поездом из Ростова-на-Дону в Москву. За оконным стеклом покачивалась громадная мгла, позади осталась тысяча дней службы в армии. Впереди ожидали другие тысячи дней жизни, которые я уже знал как потратить. Единственным, ради чего стоило жить, было писательское дело, все остальное стало для меня непривлекательным, чуждым и безразличным. В вагоне было темно, кондуктор уже выключил свет, пассажиры давно спали, забравшись на полки, лишь я один бодрствовал, сидя за боковым столиком, и сон бежал от глаз моих. Мне было так печально, как никогда раньше, и бесконечная мгла ночи баюкала эту печаль. Да, да – все дело было в том, что в той ночи, через которую я ехал, и в том завтрашнем дне, куда я устремлялся, мне не было места. Никто меня не ждал – вернее, я сам ни с кем не жаждал встречи. В двадцать четыре года я был как вырванное с корнями из земли молодое дерево. Порвались все мои связи с жизнью.

В полутемном проходе показался темный силуэт какой-то женщины. Она подошла ко мне, присела напротив и спросила, чего это я не сплю, о чем горюю, сидя тут один, куда еду и зачем. Тут неожиданно для себя я заговорил – торопясь и волнуясь, ничуть не заботясь о том, поймут меня или нет: о пропащей своей молодости, об утерянной радости жизни, о тошном своем нежелании возвращаться туда, где нужно заниматься такими же делами, как и все вокруг.

Помню, эта пожилая женщина с каким-то молодым жаром, взволнованно и задушевно стала возражать мне...

– Радуйся, – говорила она, – что все кончилось! Ты же домой едешь! Кто-нибудь тебя ждет, кто-нибудь встретит, поди.

– Никто не встретит, – отмахнулся я от нее.

– Не может быть! Ты вон, солдатик, какой хорошенький, – затараторила она, – тебя небось какая-нибудь девушка ждет! Обязательно ждет, а как же!

– Ну, может быть, одна и ждет... – нехотя обмолвился я.

– А ты сообщил ей, что едешь?

– Нет.

– Почему же?

– Не хочу...

– Ты дай мне адресок. Мне на следующей станции сходить, вот я и отправлю телеграмму.

– Не надо, – отказался я. – Если бы хотел, сам сообщил бы из Ростова...

– Ну все равно, черкани мне на бумажке адресок. Давай, солдатик! – не отступалась женщина. – Уже поздно, почта, поди, не работает, так что телеграмму вряд ли удастся отправить... Это я так, на всякий случай прошу... Ну что тебе стоит? Черкани только адрес и фамилию с именем – и больше от тебя ничего не требуется...

Настойчивость незнакомки была странной, необъяснимой. Но и отказывать ей в ее просьбе было бы странно... И я не стал больше упираться, вынул блокнотик, в котором обычно записывал стихи, на чистой странице «черкнул адресок», написал имя и фамилию девушки.

Вот так и случилось, что на следующее утро эта девушка встретила меня на Казанском вокзале – и вскоре, через месяц, стала моей женой.

Моя новая «философия жизни» не допускала возможности брака и семейного счастья. Я хотел писать стихи и прозу и уже предчувствовал, что это никому не будет нужно, никому, кроме меня одного. При таких обстоятельствах, готовясь к суровому и, может быть, мучительному отшельничеству безвестного поэта, я даже и в мыслях не мог позволить себе удела тихого семейного счастья.

Но, как и всегда, воля судьбы оказалась сильнее моей собственной. Пугающий меня, тревожный брак мой состоялся... Та незнакомая женщина в вагоне ночного поезда – какая все же это была посланница? Союзница ли моего жизненного проекта, или его враг? Потому что ничего более сокрушительного для осуществления этого проекта нельзя было представить, чем скоропалительная женитьба и последовавшее через десять месяцев рождение первого ребенка. В самом начале пути, не имея ни работы, ни жилья, ни каких-нибудь опубликованных работ, молодой писатель обзаводится женой, начинает свою семейную жизнь со скитаний по квартирнкам и комнатенкам, снимаемым в разных районах Москвы, зарабатывает какие-то гроши на случайных работах – то сторожем, то ночным истопником на стройке...

Уже была напечатана в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и ходили по рукам самиздатовские тексты «Ракового корпуса» и «В круге первом». Самиздат распространял рассказы, повести и куски романа «Чевенгур» Андрея Платонова. Было что почитать вернувшемуся из армии недоучке-студенту.

Я читал самиздат, переведенных на русский Фолкнера, Кафку, слушал песни бардов, но сам ничуть не приблизился к существующему миру поэзии и литературы. Мне неведомо было, где он находится.

Правда, еще на втором году службы в армии я однажды повстречался с ПВР – Писателем Веселовского Района. Произошла она в Ростовском парке культуры и отдыха, жарким и пыльным летом, во время моего воскресного увольнения. Я тогда потолкался в толпе гуляющих, издали присматриваясь к разного вида представительницам прекрасного пола, а затем, часа три спустя, охваченный чувством полной безнадежности, ушел в боковую аллею и присел там на пустую скамейку. И, как это нередко бывало, вдруг из пустоты и душевного отчаяния вылилась сверкающая струйка нового стиха. Я вынул записную книжку и записал его.

И тут на скамье придвинулся ко мне человек в соломенной шляпе, в синей тенниске, в тапочках на босу ногу, с сеткой-авоськой на коленях, в которой был какой-то рыхлый бумажный пакет. Человек со значительным видом посмотрел на меня и вдруг напрямик спросил:

– Стихи пишешь? – и миролюбиво продолжил: – Давно наблюдаю за тобой. Рисуешь и стихи пишешь. По тебе я сразу понял, что ты непростой человек. (Пауза). Я тоже пишу. Я Писатель Веселовского Района.

И тут он рассказал, что раньше печатал в газетах всякие материалы, а потом однажды поехал в Веселовский район, зашел в райком партии и предложил себя в качестве районного писателя. То есть он заявил, что будет писать книги о славной истории района, глубоко вкопается в местный исторический материал, вытащит его на свет повседневности и свяжет с современностью. Предложение было принято.

– Теперь живу в Веселовском районе... Мне там выстроили большой дом. Написал одну книгу, собираюсь написать другую. Чуешь, как здорово все придумано? Всем хорошо. И району слава, и у меня голова не болит, как издать книгу. Райком занимается этим.

– А нет ли там поблизости какого-нибудь свободного райкома? – спросил я у ПВР, стараясь наиграть голосом великую зависть. – Я после дембеля тоже хотел бы так... Прокормиться-то можно?

– Молод еще, ничего не знаешь... – снисходительно молвил ПВР. – На продукты по себестоимости, которые райком берет в сельской местности и между своими распределяет, хватит и твоей солдатской получки. Понял?

– Понял! – бодро отозвался я. – Где есть еще такой район? Дай, пожалуйста, адрес.

– Ишь ты, какой прыткий! Молодой да ранний! – вдруг рассердился и обиделся ПВР. – Ты сначала докажи, что можешь на это претендовать. Что талант имеешь, что человек серьезный. Думаешь, там в райкоме дураки сидят?

Так он и не указал района, где я мог бы пристроиться на дешевый прокорм. Рассердился за что-то на меня Писатель Веселовского Района, встал со скамейки и ушел, даже не попрощавшись.

Таков был первый живой советский писатель, которого мне пришлось встретить в этой жизни. Но, может быть, все это было «туфтой», как выражались зеки? Уж больно неподходящая была физиономия у этого ПВР... И в особенности вызывали сомнение его дешевые потрепанные тапочки, надетые на босу ногу, и какой-то потрепанный бумажный пакет, который он нес в сетке-авоське...

Спутники

Их было немало, они, наверное, преуспели в жизни, все эти подвальные поэты, художники, композиторы, с которыми я когда-то познакомился в самом начале своего пути, – дай-то Бог!

На меня произвели большое впечатление знакомство и дружба с одним песенным поэтом, который жил где-то в полуподвальном помещении в Столешниковом переулке, в эти темные катакомбы я и ходил на встречи с молодым, чуть постарше меня, бледнолицым поэтом-песенником Мишей. Он мне покровительствовал на первых порах моего литературного пути. Это был уже довольно преуспевающий профессионал, он кормился тем, что строчил детские стихи, писал тексты для телевидения, сочинял вместе с приятелем-композитором эстрадные песенки и куда-то продавал их рублей по восемьдесят за штуку. Миша был добрый малый и хороший семьянин, имел рыжеволосую кудрявую жену в очках, рыжего мордастого сына и такую же кудлатую, как и его жена, белесую собаку со злобным голосом, которая закатывалась на весь подвал, выскакивая прямо под ноги из каких-то темных закоулков. Миша содержал всю эту веселую семейку исключительно на свои гонорары, то есть нигде не служил. К тому же чуть не каждый вечер у него в подземелье устраивались попойки, на которые приходила разношерстная отчаянная богема с вином, дешевой колбасой и сигаретами, шумела, пела, спорила, танцевала.

На первых порах, как того и следовало ожидать, я попал на самые дальние задворки литературного мира, туда, где еще не существующий для большой литературы поэт Миша был уважаемым мэтром – для других еще более не существующих в литературе поэтов, прозаиков, драматургов. Авторитет Мишин поддерживался тем, что он уже кое-где напечатал детские стихи, издал картонную книжку-раскладушку в издательстве «Малыш» и, главное, постоянно сотрудничал с детской редакцией Центрального телевидения, писал стишки для популярной передачи «Спокойной ночи, малыши».

Допущенный к грандиозной московской литературной кухне, Миша приносил нам оттуда попробовать кое-какие лакомые кусочки... Меня он представил редакции «Спокойных ночей...», и я вскоре получил первый в своей жизни литературный заказ – сочинить какую-нибудь современную сказочку для детей. Так я на какое-то время стал внештатным сценаристом дошкольной детской редакции телевидения.

Никогда раньше я не представлял, что буду входить в литературный мир через задворки. Та величайшая значительность и грандиозный размах душевной работы, что были мною уже

испытаны и пройдены, никак не вязались с мелковатостью и грустным убожеством Мишиного «салона». Обычно там вечерние бдения задерживались допоздна, и почтенный хозяин где-то после полуночи бросал гостей и удалялся из общей комнаты в соседнюю – но не спать, а работать. Там у него стояла пишущая машинка «Оптима».

На другой день, если кому-нибудь из гостей дома приходилось по делу забежать в полуподвал до, скажем, часу дня, то он мог увидеть торчащий из машинки лист бумаги с новым Мишиным поэтическим произведением. О, Миша был замечательный профессионал!

Итак, мои прежние представления о том, как становятся писателем или поэтом, составленные по прочтении некоторых произведений Джека Лондона, Кнута Гамсуна или Чарльза Диккенса, не совпали с действительностью. И прежде всего несовпадение состояло в том, что литература существовала, оказывается, отнюдь не только великая, обозримая для всего мира, но и вполне мелкотравчатая, ни для кого не видимая – что-то вроде тех песенок, что сочиняли Миша и его друг композитор, маленький и вертлявый паренек, весьма похожий на смышленую дворняжку.

И вообще действительность искусства, состоящая не только из празднеств и торжественных дней, составленная не только из гениев и талантов, а размазанная по поверхности унылой действительности тонким слоем заурядного эстетического повидла, эта картина, открывшаяся в моей послеармейской Москве, явилась для меня еще одним потрясением.

Праздника никакого не было. Были скверные будни не карнавала, не фиесты, а самой оголтелой алчной ярмарки. Причем купля–продажа на этой ярмарке совершалась товарами самого низкого пошиба и по самой дешевой цене. За те безделушки, которые я должен был поставлять, телевидение мне платило столько рублей за штуку, сколько стоило тогда дешевое демисезонное пальто. Помню, зеленовато-болотного цвета, в мелкую клетку пальто было куплено на мой первый литературный гонорар...

В самом начале я пытался еще ходить по редакциям журналов. Помню, выбрав один какой-то журнал средней толщины (замахнуться на «толстый» не хватило смелости), я нашел его и, подойдя к зданию редакции... прошел мимо ворот, сделав вид, что никакого интереса к этому дому не испытываю. Не знаю, почему охватил меня сильнейший страх... Я завернул за угол, не спеша прогулялся вокруг всего квартала – и только со второго захода осмелился зайти в подъезд редакции. Но и там, на втором этаже перед дверью с табличкой, возле окна, где стояли и курили какие-то серьезные городские мужички в галстуках, я простоял битый час. Я выкурил несколько сигарет и только после того, как все мужички разошлись куда-то, осмелился осторожно приоткрыть дверь. Две невыразительные девицы сидели в приемной, о чем-то разговаривали. На меня, конечно, никакого внимания... Только после того, как одна из них ушла, оставшаяся обернулась ко мне с молчаливым вопросом в глазах. Я сдавленным, противным голосом молвил, что вот, принес свои стихи. Девица попросила оставить рукопись и велела написать на последнем листке, на оборотной стороне, полное мое имя, адрес и телефон. После этого редакционная девица впала в глубокую задумчивость. Все сделав, я потихоньку ушел. Никогда больше этих листков со стихами я не видел, никто по их поводу не отзывался ни письмом, ни звонком...

Вскоре я понимал уже, что писательское дело у нас в стране есть дело не частное, а государственное. И при таких обстоятельствах надо было решать, что писать, как писать и для чего писать.

Самым правильным на первый взгляд было бы решение вообще ничего не писать. Но этого я не мог. И тогда-то обнаружилась двусмысленность моего положения. Окружающая действительность была мне немила, поэтому я не мог вылезать, как некоторые, на ее утверждение и прославление. Равным образом я не мог оказаться и среди тех, кто творил свои тексты на цементе ненависти, отрицания и диссидентской вражды к этой действительности. Та ненависть и нетерпимость, что царили в жизни, в ответном чувстве не могли вызвать ничего иного, кроме той же самой опустошительной ненависти... а я не хотел бы бороться своей злобой против всеобщего зла.

Все это время я писал стихи и прозу, преимущественно рассказы, и ходил по редакциям журналов с этими рассказами, и получал отказы в лапидарной форме: «К сожалению, не подошли...», «Не в направлении нашего журнала...», «Возвращаем в связи с отрицательным мнением рецензента...».

И вот однажды я пришел к поэту Мише в его полуподвал и держал перед ним исповедь, хотя ему-то слышать мою исповедальную речь было ни к чему и не особенно интересно. Я сказал, что литература оказалась для меня малоприятным делом и человеку лучше не заниматься

ею, если только он может не заниматься. А если писать, то делать не телевизионные штучки на заказ, а что-то совершенно новое, свое, пусть и смертельно опасное для здоровья. Лицо Миши, бледное и черноглазое, исказила натянутая улыбка, и он сразу же коротко ответил:

– Не выйдет у тебя... Пропадешь.

Я рассмеялся. Очевидно, он свое положение в жизни не воспринимал как пропащее. Ему от всей души хотелось, чтобы и я тоже уцепился за край пирога, и вдруг я заявляю, что мне ничего этого не нужно! Было отчего рассердиться Мише и, может быть, холодно презирать меня. Я ответил примирительно:

– Может быть, и пропаду. Но дело в том, что мне в любом случае пропадать. Так что не страшно – надо попробовать.

– Ну, попробуй, – согласился со мною Миша.

Я ушел – и с тех пор мы больше никогда не встречались. Но я вспоминаю о нем с самыми добрыми чувствами.

Пустынник

Когда я отказался заниматься литературной поденщиной на телевидении, моя надежда перешла из нулевой отметки в минусовую. Если раньше я надеялся, что мои стихи и рассказы в конце концов напечатают в каком-нибудь журнале, то теперь, когда я уже достаточно походил по редакциям, мою душу застило крошечное облако – чувство, что меня никогда и нигде не напечатают. Это облако накрывало все дни первых лет моего писательства.

Но я решил продолжать то, что было уже начато и чему отдано столько отчаянных усилий. Иначе жить я не мог и не хотел. И хотя у меня уже была семья, родился ребенок, я вовсе не считал главным делом своей жизни подымать эту семью, обеспечивать благосостояние своего дома, держать очаг теплым, холить потомство и тому подобное. Не задумывался я и над тем, как бы мне исполнить долг перед родителями, отблагодарить их за все заботы и постараться дать им покой в старости. Также никакого чувства долга не испытывал я перед могучей державой и ее вождями.

Я начал с того, что ушел из художественного училища и устроился сторожем на стройку, к моему другу Валерию Костионову. Мое дежурство начиналось в четыре часа дня, когда строители заканчивали и уходили домой, и продолжалось до восьми часов следующего утра, когда они вновь приступали к работе.

Ночью я писал за конторским столом, в кабинете моего друга-прораба. Время от времени делал обход территории, огороженной забором. Выходил на кровлю отстроенного здания и, стоя в темноте, смотрел на пылающие огни ночного города.

Не помню уже, в каком районе Москвы находилась эта стройка. Утром я выходил за ворота и оказывался в пустынном переулке со старыми малоэтажными облупленными домами, шел к одной из больших улиц, где надо было садиться на трамвай и довольно долго ехать до какой-то станции метро. Одно лишь запомнилось хорошо: переулок, выходявший на большую улицу, упирался в квартал многоэтажных серых домов новой постройки.

Один из этих домов нависал над тем переулком, по которому я проходил, и угловой балкон на самом верхнем этаже был со всех сторон заколочен досками, как бы взят в глухой ящик. Я приостанавливался на минуту под этим домом и, задрав голову, пристально вглядывался вверх. Строители мне рассказали, что там раньше показывались двое собакоголовых детей. Они свешивались через перила и верещали, оклика и пугая прохожих. И вот, чтобы не будоражить народ, балкон был упрятан в ящик, и песьеголовые детки могли теперь сколь угодно бушевать, вопить и прыгать внутри него, шатавая деревянное сооружение... Однако мне никогда не удавалось ничего услышать или увидеть. Тихо было в ящике, который я осматривал, остановившись на тротуаре. Видимо, в восемь часов утра эти химерические существа еще не выпускались на прогулку...

Был ли это очередной городской миф, черный, зловещий, или что-либо другое, я не знаю. Однако этот сюжет говорит о многом. Тональность и окраска нашей жизни были мрачными, криминальными. Какой-то зловещий убийца разгуливал по Москве под видом слесаря Мосгаза и, проникая в убогие бедняцкие квартиры, убивал жалких старушек и сидевших дома за уроками детей – безжалостно пробивал им головы молотком. Он был неуловим и жесток, как дьявол, однако непонятно было все же: ради чего ему убивать беспомощных старух и малых детей? Монстр не совершал грабежей и не насиловал блондинок определенного телосложения... И мне

казалось, что подобные дела происходят от той великой, дичайшей скуки и тоскливости существования, которыми была охвачена вся наша действительность.

Еще в дни службы в армии я окончательно осознал, почему мне так хочется писать на бумаге слова. Тут я мог быть свободен, быть самим собой, полноценным, родным самому себе и тем персонажам, которых я выдумывал. В словесных сочинениях своих я, человек с утраченной прародиной, вечный чужак на той земле, где увидел свет, – там я обретал себе и родину, и приятное для себя существование. И если в реальной жизни я не получал большой любви к себе, в рассказах моих и повестях я буквально упивался ее живой кровью, словно хищник любви. И с этим жить было можно.

Таким образом, писать книги означало для меня не профессиональное дело, не социальное действие, но скорее способ истинного внутреннего существования. Видимое же внешнее существование в социуме было для меня таким малопривлекательным делом, что я с ним бы не справился, сошел на нет, если бы не эта открывшаяся возможность уходить и быть счастливым в ином существовании.

В те годы писательского пустынножительства в мою душевную жизнь вошел Лев Толстой, как входил он в жизнь тысяч людей разных поколений. Все это были люди, увидевшие скудость и лживость окружающей жизни, не желающие с этим примириться, пытающиеся понять истинные причины такого миропорядка, увидевшие их прежде всего внутри человеческой личности, а не только во внешнем пространстве общества.

Особенно убедительной была для меня та часть философских публицистических трактатов Льва Толстого, где осуждался скверный способ жить на свете, физически угнетая своего ближнего, заедаая чужой век. Не мог, не имел права никто из людей превращать жизнь другого человека в простое средство своего собственного существования. Но вся громада жизни вокруг и ныне и присно была устроена именно по такому порядку!

И всё же каждый человек, понимающий это, мог попытаться устроить хотя бы свою собственную жизнь по законам справедливости, открывшимся ему. Мое решение было таковым, что, желая заниматься литературным писанием, я должен был обеспечить это мое личное, бесполезное для других, умственное дело каким-нибудь посильным полезным физическим трудом.

И, поработав первую зиму своего опрощения сторожем, а затем и кочегаром на стройке, весной я поступил учиться на курсы крановщиков, по окончании коих стал дипломированным машинистом башенных кранов. В общей сложности крановщицкая моя карьера продлилась лет пять, и стоят сейчас где-то в Москве многоэтажные жилые дома, типовые больницы и школы, в монтаже которых я принимал самое непосредственное участие в годы своего писательского отшельничества.

Ибо как писатель я стал отшельником, и моя писательская жизнь проходила в полной изоляции от всякого мира литературы, подобно тому как духовный подвиг какого-нибудь пустытника совершался вдали от человеческих жилищ и храмов. Моей пустыней была вся огромная каменная Москва, зимой холодная, в серых льдах, а летом душная, в синем бензиновом чаду. Мое понимание писательства – не как общественного служения, а именно как формы мистического подвига или постоянной отшельнической молитвы – освобождало меня от удручающих переживаний по поводу отказов журналами печатать мои рассказы и стихи. Да я вскоре и перестал их носить по редакциям. Я писал, как говорится, «в стол». Чем и пополнил, не зная еще того, многотысячную популяцию графоманов, неудачников, шизофреников и непризнанных гениев, коих так много на Руси и которым никогда не грозит, чтобы их труды познали печатный станок.

Зачем все эти люди совершали свою безнадежную работу? Ведь не только по глупости или великому тщеславию. Представить только эти груды пожелтевшей от времени бумаги, на которых графоманы и непризнанные гении мира начертали свои сочинения! Просто оторопь берет... Я хотел бы сейчас пропеть реквием всем мертворожденным рукописям литературных неудачников всех времен. Они желали, наверное, так же, как и я, быть свободными в несвободном мире – и были свободными, уходя в свои медитации, зафиксированные на пожелтевших листах самой скверной бумаги. В этой короткой жизни, прежде чем закончить ее, они ничего плохого никому не сделали, в их помыслах и делах никакого зла не было.

Именно в этот период работы «в стол» я был, как бы это сказать – наиболее писателем, что ли. Никогда после не ощущал я такой радости от самого процесса работы. Где-нибудь в обшарпанной строительной конторе, на безвестной московской окраине, глухой ночью, сидя над

своими рукописями, я испытал всю полноту жизни и ее глубокое, истинное счастье. Подлинность моего писательства была в том, что мне ничего, кроме самой этой работы, стало не нужно.

Итак, после армии я скоропалительно женился, бросил училище на четвертом курсе, стал работать ночным сторожем, кочегаром, крановщиком на стройке... Последняя профессия меня привлекала тем, что, забравшись на высоту птичьего полета, в кабину крана, я оказывался в великолепной самоизоляции, столь необходимой для меня. Настоящая отшельническая келья! Одновременно я мог зарабатывать деньги для семьи. Работа была не трудна, а когда со временем я достиг некоторого мастерства, то начала приносить мне и настоящее удовлетворение. Замечательное было чувство, когда, поднимая со штабеля пятитонный железобетонный блок, удавалось снять его стрелой крана без рывка и раскачки, мягко и нежно, словно пушинку. Или, подавая на стропах широкую плиту перекрытия, опустить ее на приуроченное место, на раствор, столь аккуратно и точно, что монтажникам, стоявшим внизу наготове со своими ломиками в руках, уж и не надо было поправлять эту тяжеленную плиту, подсовывая кривой конец монтажки под край и сдвигая ее в ту или иную сторону.

Также было замечательно в паузах между монтажными операциями, когда кран был никому не нужен, развернуться окнами кабины на город и созерцать необъятную, теряющуюся в дымке далекого изломанного горизонта урбанистическую панораму. Огромное пространство в нагромождении бесчисленных домов дыбилось, ломалось острыми углами под небом, словно посылая туда молчаливые, тщетные, бессмысленные угрозы...

Кроме кабины башенного крана, вывешенной в поднебесье, и ночных прорабских контор на стройках, моими рабочими кабинетами в те годы были пустые комнаты в необитаемых домах, подлежащих сносу, и свободные, еще не заселенные комнаты в коммунальных квартирах новостроек, а также пустующие художественные мастерские под самыми крышами на Сиреневом бульваре. Так уж получилось, что писать на своей первой квартире, в пятиэтажной «хрущобе» у станции метро «Молодежная», на окраине Москвы, я никак не мог. Квартира была мала: две смежные комнаты, крохотная кухня. Кроме меня с женой и дочерью, в ней вскоре стали жить моя младшая сестра-студентка и парализованная матушка, которую перевезли с Дальнего Востока...

Словом, для моей писательской деятельности судьба предоставляла мне мало возможностей. Не только родственники – весь окружающий мир, казалось, с осуждением воспринимал это мое отчаянное решение. К тому же корейское происхождение как бы всегда оказывалось причиной тайного сомнения моей судьбы, которая начинала впадать в недоверие к самой себе, и точно так же вызывалась вопросительная мина на лицах у всех, кому становилось известно, что я собираюсь стать русским писателем. Нет, я не мог со всем этим справиться дома и спокойно писать. Постоянно надо было искать какое-нибудь уединенное место, убежище, где я мог бы без свидетелей разложить свои бумаги и надолго склониться над ними с карандашом в руке.

Но, побегав по разным московским углам и поработав год-другой крановщиком, я почувствовал, что во мне все меньше остается желания писать. Порой физически трудно становилось сесть за стол.

Через некоторое время мне стало ясно, что если я не буду публиковаться, если не обрету писательской профессии, а останусь навсегда крановщиком, то во мне рано или поздно исчезнет желание писать.

И тогда мне, понявшему, что с ходу вскочить в поезд не удастся, пришлось на ум поступать в Литературный институт имени Горького. Не для того, чтобы научиться сочинять, а чтобы получить доступ в существующий клан литераторов – Союз писателей. С самого начала я отдавал себе отчет, что Литинститут мне нужен лишь как стартовая площадка для литературной карьеры.

Тверской бульвар, 25

Пожалуй, это единственный существующий в мире университет литературы, где обучаются мастерству прозаики, поэты, драматурги, критики, литературоведы, художественные переводчики – считай, люди почти всех литературных профессий. Но я вовсе не уверен, что Литинститут совершенно необходим для отечественной и мировой литературы. Мои сомнения рождены непосредственной практикой, тем, что понял я, еще будучи студентом этого творческого вуза, а потом, годы спустя, преподавателем кафедры литературного мастерства.

Может быть, в смысле получения чисто филологического образования институт немало дает своим питомцам, и «литературный работник», как определяется в дипломе по графе «специальность», вполне может состояться после окончания Литинститута – редактор, переводчик,

журналист. Однако почему-то в дипломах не пишется прямо и открыто, что человек окончил определенный факультет и стал, допустим, прозаиком или драматургом, поэтом или критиком. Наверное, есть что-то сомнительное в том, чтобы называть сочинительство стихов или писание прозаических произведений специальностью подобно профессиям инженера или юриста.

Да, Литературный институт может подготовить литературных работников. Уникальных же художников там не воспитывают, да и такой задачи не может быть поставлено. То есть никогда и никоим образом институт не способен был взрастить в своих стенах гениального поэта или писателя. Таковое противоречило бы самой природе этого учебного заведения. Там постигалось литературное ремесло под эгидой определенной идеологии, институт официально назывался идеологическим учебным заведением. Главными предметами в его программе были история КПСС и марксистско-ленинская философия. А для нее самобытный гений, выходящий за рамки партийности, был явлением нежелательным.

Но коль скоро литературных талантов и раньше на Руси проявилось немало и все они как-то состоялись без Литературного института, то можно смело сделать вывод, что обучать поэтов и писателей их ремеслу в вузе вовсе не обязательно. Мало того – появлению высшего художественного таланта в институте обязательно сопутствовали бы некое неблагоприятное судьбы и неминуемый конфликт с действительностью. Ибо невозможным было совмещение свободы духа, что есть главное условие для самовыражения таланта, с идеологическими установками данного литературного университета.

Однако я шесть лет проучился в Литинституте, впоследствии пять лет проработал преподавателем и храню об этих годах отнюдь не только горестные воспоминания. Мне приятно вспоминать о художественном руководителе нашего семинара, старом писателе Владимире Германовиче Лидине, в особенности о встречах с ним вне институтских занятий (на которых, кажется, он и сам слегка скучал) – у него дома или на даче в Переделкине, или в музее Льва Толстого, где наш профессор был своим человеком. С удовольствием вспоминаю и о некоторых моментах семинарских занятий уже со своими студентами, которым я, памятуя о тоскливых часах собственных семинарских штудий, старался дать возможность больше говорить самим, чем слушать меня.

Но когда сейчас я думаю о том, что из всей дюжины моих талантливых семинаристов ни один так и не стал профессиональным писателем, то у меня сразу же портится настроение. Потому что определенно я чувствую на себе какую-то вину за их незавидную литературную судьбу.

В годы учебы я совсем не делал никаких попыток опубликоваться, хотя писал по-прежнему много и постоянно. В основном это были рассказы. Я уже чувствовал, что кое-что у меня начало получаться. Через рассказы мне открылось, что самое главное для пишущего художественные тексты, – это не тема, не выигрышный материал, даже не глубочайшая философская мысль. Главное – язык. Свой язык, соответствующий единственному духовному феномену – твоему. И этот язык я с настойчивостью искал осязая, полный неуверенности, тревоги, порою с обрушивающимся на душу чувством безнадежности и полной жизненной катастрофы. О, каким неосуществимым представлялось тогда это дело! Между тем житейская сторона, семья и дом мой пришли в самое плачевное состояние. Первая жена моя, кореянка, женщина послушная, нетребовательная, не проявляла никакой инициативы в крутой жизненной борьбе и только как бы молчаливо и выжидательно следила за моими действиями со стороны. Будучи по-своему стойкой и терпеливой женщиной, в классическом восточном варианте, она никогда не позволяла себе упрекнуть меня в чем-нибудь или хотя бы раз пожаловаться на жутчайшую нужду и убожество нашего семейного быта. Много лет она хозяйничала в двухкомнатной квартирке, где столик с тумбой, полки, скамейка – вся кухонная меблировка была изготовлена из древесно-стружечной плиты, которую мы с моим другом Валерием Костионовым унесли с ближайшей стройки. Дома мы разметили ее и, порезав на куски, сколотили необходимую кухонную мебель, книжную полку и письменный стол. Спали мы на пружинном матрасе, к которому я приделал самодельные деревянные ножки. От нашей бедности и тоски, наверное, в щелях деревянной части матраса завелись клопы, а на кухне забегали тараканы. О, эти твари немедленно заводятся там, где влачит свое существование беднота мира! Я вел свирепую борьбу с супостатами, но успехи у меня были переменные. Порой клопы доводили меня до отчаяния. Они искусывали ночью мою маленькую дочь так, что бедное тельце ее, ножки, ручки и даже лицо покрывались красными волдырями.

И вот наступило такое время, когда я вдруг почувствовал, что почти сломлен, продолжать дальше подобную жизнь, стараясь не замечать всей ее страшной и мелочной подлости, я не в

силах. Однажды на зачетах, собираясь уже идти отвечать профессору, я машинально полез в карман куртки достать носовой платок, хотел вытереть лоб – и вдруг увидел, что достал из кармана вовсе не платок, а красные штаны своей дочки-малышки. И вспомнил, что утром, отведя девочку в детский сад, я передел ее в сухое, а мокрое сунул в карман куртки и забыл об этом. Вечером в институте сие обнаружилось...

Мой друг Валерий Костионов в то время уехал из Москвы на заработки в далекую сибирскую страну Туву. Приехав оттуда зимой 70-го года по каким-то делам в Министерство строительства, он зашел к нам и увидел, до какой жизни я дошел, сидя на шее своей жены, которая зарабатывала в ателье портнихой совсем крохи, и мы иногда почти голодали. Я же, не обращая ни на что внимания, учился и писал про жаркий воздух и текучее волнистое марево Сальских степей... Валерий Костионов предложил мне поехать к нему в Туву, чтобы я там порабатал на башенном кране.

Доведенный до отчаяния, я был на все согласен. И вот в феврале, вскоре после визита к нам Валерия, я заработал немного денег, выпустив плакатик в медицинском издательском бюро, половину оставил жене, на другую половину купил билет на самолет и отправился в далекую страну Туву.

Путь в никуда

Никаких денег я не заработал на строительных участках моего друга-начальника в Туве. Уж больно было холодно на стройках, и друг пожалел меня, оставил у себя в теплом доме, где я начал работать над повестью «Луковое поле» – часть первая, – а также готовил обеды на всю его семью из замечательной телятины, замороженной целыми тушами, замороженной же рыбы-хариуса, придумывал соусы к мясу из заледеневших ягод облепихи. Этих экзотических продуктов заготовлено было у друга достаточно, ими была набита вся серебристая от инея веранда, которая в зимнее время использовалась как холодильник.

Друг дал мне заработать на обратную дорогу тем, что заказал для украшения строительного участка нарисовать гигантский портрет Ленина – шесть метров в высоту и четыре в ширину. И я такой портрет нарисовал на фанерных щитах и получил за это несколько сотен рублей – немалые деньги для того времени. А вернувшись в Москву после двухмесячного отсутствия, я узнал от жены, что скоро второй раз стану отцом.

С рождением второго ребенка стало совсем худо. Жена в роддоме застудила почки, и у нее начался туберкулезный процесс. Она стала подолгу пребывать в больницах, в специальных санаториях, а я оставался дома с двумя дочерьми, одна из которых только что пошла в школу, а вторая, младшая, едва научилась ходить. Но она гораздо увереннее чувствовала себя не в стоячем положении, а в ползучем, и часто бывало, что малышка моя вползала под письменный стол, за которым я работал, и там засыпала, обняв мою ногу и прижавшись к ней головой. А я в это время писал какие-то слова, которые почему-то имели для меня большее значение, чем радость простой жизни, покой семьи и здоровье скромной, терпеливой жены.

Я снова пытался заработать на телевидении, но как-то плохо это у меня получалось. «Больничных» денег жены было явно маловато для выживания нашей семейки. Однажды дошло до крайности – денег не оказалось даже на еду, и я срочно собрал все бутылки из-под вина, накопленные на балконе за несколько лет, набил ими рюкзак и понес в пункт приема стеклотары.

В ближайшем пункте оказался выходной, и я вынужден был поехать на троллейбусе к дальнему продовольственному магазину, где также принимали пустые бутылки. Никаких денег у меня в кармане не оказалось, так что пришлось ехать «зайцем». Когда я подъехал к магазину, то еще издали, от остановки, увидел, что у ларька приемки стеклотары хлопочет женщина в синем халате – закрывает деревянным щитом окно и навешивает висячий замок. Я понял, что опоздал, – приемный пункт закрывался, время уже было вечернее. Без какой-либо надежды подошел к двери и, движимый одним лишь отчаянием и крайним ожесточением (к себе, к одному только себе!), открыл ее и вошел внутрь помещения. Там было полутемно, горела голая электрическая лампочка под потолком, и приемщица, полная, не старая еще, склонившись над столом, что-то писала. Подняв голову, она с молчаливым вопросом в глазах уставилась на меня. И я неуверенным голосом, заикаясь, спросил, не может ли она принять у меня посуду. На что приемщица вполне спокойно предложила мне пройти в соседнее складское помещение и самому выложить на стол все мои бутылки... На вырученные деньги я смог купить в том же продовольственном магазине хлеба, молока и пачку черного китайского чая...

На другое утро я сидел на кухне один и смотрел в окно. Перед нашим длинным пятиэтажным домом находился такой же длинный «хрущевский дом». Картина, раскрывавшаяся перед глазами, была удручающе убогой и бездарной. На широкой плоской стене – одинаковые квадратные окна. В них кое-где видны какие-то люди... Но небо над прямой крышей соседнего дома было чудесной голубизны и бездонности, как и всегда! Где-то в комнатах звучали голоса моих домашних – девочки ссорились и пищали, мать увещевала их. Я вслушивался в эти привычные мирные звуки, смотрел в пустое голубое небо и загадывал. Если появятся в створе окна какие-нибудь птицы – вороны, голуби или воробьи – и пролетят справа налево, то принятое вчера решение ни к чему не приведет, и я все же погибну. А если в экране окна птицы пролетят слева направо, то все будет хорошо, я добьюсь своего и спасу мою маленькую семейку... И птицы, надо сказать, пролетели слева направо, слава Богу, – несколько молчаливых черных ворон самого будничного вида.

В один из дней, когда я сидел с детьми дома, а жена находилась в больнице, вдруг раздался телефонный звонок... Звонил мне грузин Ш., который заканчивал Литинститут. Я раньше видел его, но почти не был знаком, никогда с ним не общался – длинный белобрысый грузин с платиновыми зубами, про которого говорили, что его дядя – крупнейший правительственный деятель в Кремле. Ш. изложил мне по телефону деловое предложение: чтобы я по подстрочнику сделал художественный перевод его дипломной работы – повесть и рассказы... За что он обещал «лично из мой карман» заплатить мне по двести рублей за авторский лист... Тогда это были неслыханные деньги для меня. Я спокойным голосом, чтобы не спугнуть его, попросил приехать ко мне и привезти рукопись.

Так появился в моем доме этот плоский и длинный, как фитиль, Ш., мой первый литературный работодатель, благодетель и слегка жуликоватый, но вполне добрый ангел, в то самое драматическое для нас время выручивший меня. Возникнув на пороге, он торжественно протянул мне скатанную в трубочку рукопись. Но она оказалась написанной по-грузински! Я удивился: а где же русский подстрочный перевод? На что Ш. объявил мне, что подстрочник не понадобится, потому что: «Я сам буду читать по-грузински, говорить по-русски, а ты слушай и быстро-быстро переводи. На грузинском это великолепный текст, дорогой Анатолий! Слушай, я великий писатель Аджарии». Пришлось записывать за ним кое-как передаваемый на ломаном русском, порой едва понятный по смыслу «великолепный текст» великого писателя Аджарии. Я потом обрабатывал и, чего там скрывать, порой писал что-то от себя, потому что в произведениях Ш. было много несуразностей (или устный перевод был таким?), и я, чтобы добросовестно отработать деньги, исправлял как мог все эти места.

Правда, он не сразу хотел отдать честно заработанные мною деньги! Когда я сделал и передал ему свою работу, грузин Ш. стал бегать от меня, прятаться и хотел, видимо, как-нибудь увильнуть. Но я узнал его домашний адрес и послал ему длинную телеграмму, в которой пригрозил, что если он не соблаговолит мне заплатить, то я пойду на кафедру творчества, заберу свой перевод и таким образом не дам ему защитить дипломную работу. И буквально на следующий день Ш. принес мне домой деньги. Я тогда не стал их считать при нем, а он как раз и надул меня на сотню рублей – этот рыжий грузин никак не мог, очевидно, обойтись без того, чтобы не сжульничать.

Он мне рассказывал, что у него в Аджарии имеется двухэтажный дом и гектар мандариновой рощи, доход с которой каждый год составляет примерно два чемодана денег... Когда с моей помощью Ш. успешно защитил свою дипломную работу, то на радостях устроил банкет в дорогом ресторане «Минск», куда пригласил всех, кто только попался ему в Литинституте, – студентов, канцелярских работников, преподавателей, аспирантов, самого ректора института Пименова, руководителей семинаров. Дело происходило летом, было время каникул, и поэтому народу набралось на пиршество всего человек семьдесят. Кажется, Ш. был несколько огорчен этим обстоятельством. Потратил он на банкет столько, что этого хватило бы мне, наверное, года на три или даже четыре.

А затраты на мои переводы Ш. возместил с лихвой: он напечатал рассказы в еженедельнике «Литературная Россия» и в журнале «Огонек», повесть опубликовал в журнале «Молодая гвардия», затем издал ее миллионным тиражом в «Роман-газете». Очевидно, мои переводы и «редактура» не очень испортили их, раз они были напечатаны в таких престижных изданиях... А мои собственные рассказы и повести, увы, по-прежнему нигде не хотели печатать!

Постепенно мне стало представляться, что какие-то могущественные тайные силы стоят на моем пути и злонамеренно не допускают меня к публикациям в журналах. Я даже стал как будто

бы ощущать на себе чье-то пристальное незримое внимание, улавливать чью-то насмешливую ухмылку... Словом, я с тоски начал по-настоящему сходить с ума. Мне все труднее становилось просто зайти в какой-нибудь журнал или даже позвонить туда. Бедные редакторы и редактрисы! Если бы знали они, какие только проклятия не посылал я на их головы! Много лет спустя, когда меня стали печатать и я даже обрел какую-то известность, с этими же редакторами мне пришлось иметь дела, и с некоторыми из них я подружился. И узнал, что ничего сверхъестественно чудовищного, дьявольского нет в существе по имени «редактор», что он более обездолен, чем даже плохонький писателишка...

Выход из подполья

И все же что-то начало помаленьку изменяться в отношении меня со стороны внешнего мира. Как бы прошла его абсолютная глухота и неотзывчивость к моим литературным воплениям. В редакциях некоторых журналов, таких, как «Дружба народов» и «Москва», со мною стали разговаривать более внимательно, чем раньше. И рукописи стали возвращать не сразу – с полным и окончательным отказом, – а с некоторой нерешительной задержкой. Порой эти задержки длились по году. И в журналах стали просить, чтобы я приносил другие свои сочинения. Все это было для меня новым, обнадеживающим...

Однако и уверенность моя в собственные силы укреплялась. Я читал вслух свои рассказы на каких-то московских литературных вечеринках с чаем, легким вином, с дешевой колбасой на закуску и неизменно имел успех. Какие-то дамы появлялись, с умными глазами и приятными манерами, которые начинали внимательно расспрашивать меня и предлагать знакомства с некоторыми московскими мэтрами литературы. Я охотно шел на эти знакомства, хотя и убеждался каждый раз, насколько они докучливы для самих этих значительных лиц и бесполезны для меня. Мэтры смотрели в мою сторону с плохо скрываемой досадой, подозрительно, словно полагали, что я пришел к ним просить денег. Но я быстро разобрался, что к чему, и в посещениях подобного рода разгадал некое поведенческое проявление культурно-стадного инстинкта. Надо, надо было шастать за добычей по московским литературным саваннам и джунглям! И не в одиночку, но обязательно в свите какого-нибудь заметного льва. И если вожак бывал уже несколько облезлым, глуховатым или беззубым, это не имело большого значения. Лишь бы тебе оказаться в львином прайде. Ибо литературный ареал Москвы давно был поделен между стаями, и существование каждой шло почти независимо от других. Иногда могло получиться и так, что никогда не пересекались пути-дороги какой-нибудь Г-ской группировки с Е-ской, и литературные прихвостни, кормившиеся в каждом из этих прайдов, ухватывали свои куски в разных издательствах, в разных журналах, всю жизнь ни разу не сталкиваясь друг с другом.

Одиночек практически не было. Одиночки не выживали.

Десять лет я старался избегать участия в подобной охоте, но постепенно пришел к выводу, что в одиночку мне не добиться толку. На исходе десяти лет после того, как я начал заниматься литературой, исподволь накопилась в моей душе огромная усталость. Мое первоначальное желание, заставившее пойти по этому пути, за прошедшее время постепенно видоизменилось. И если прежде мне хотелось писать, чтобы уйти в мир слов от реального социума, то теперь пришло желание обязательно опубликовать в этом социуме то, что было мною написано. Я понял, что моя жестокая борьба за право и возможность писать плавно переходит в не менее жестокую борьбу за право и возможность печататься.

В нашем доме подобралась в основном жильцы среднего советского класса: инженеры, интеллигенты-гуманитарии, военные чиновники невысокого ранга. Я попал в этот дом потому, что отец дал мне денег на первый взнос в жилищный кооператив. Соседями по лестничной площадке оказались симпатичные старик со старухой, еврейская семья, муж был художником-акварелистом, жена – писательницей, писавшей на идиш. Совпадение по интересам оказалось двойным – я ведь был в какой-то мере художником, ну и писателем тоже... Одним словом, я и моя корейская семейка в скором времени подружались с соседями Горшманами.

На протяжении многих лет они могли наблюдать за моими драматическими коллизиями с действительностью. Люди отзывчивые и сами пережившие все неизбежные стадии художественной безвестности и неприкаянности, Горшманы как могли помогали мне в моей схватке с житейской рутинной, поддерживали во мне боевой дух.

Голубоглазая Ши́ра Григорьевна учила меня ухаживать за больными детьми, варить особенно питательную кашу из овсянки, выслушивала мое чтение – я читал ей кое-какие свои рассказы. Муж ее, тщедушный и болезненный старик, прекрасный акварелист Мендель Горшман,

также уделял мне много внимания, подбадривал и вселял в мою слабеющую душу всяческую надежду. Однажды он предоставил мне на целую зиму свою художественную мастерскую, расположенную на Сиреневом бульваре, и я мог там уединяться, чтобы вдали от семейных дразг творить свои бесполезные пока «нетленки». Не представлялось, что когда-нибудь они смогут принести хоть какую-нибудь пользу моим близким, моей маленькой семье, затерянной в огромной столице, и мне самому.

У этих добрых соседей оказался зятем самый, пожалуй, знаменитый артист того времени – Иннокентий Смоктуновский. Слава его была так велика, что в Киеве, в Ленинграде и Москве были созданы общества поклонников, которые время от времени устраивали конгрессы фанатов. Эти общества самозабвенных любителей Смоктуновского несколько иронично называли сами себя «сектой смоктунов». Они вели меж собою активную переписку, производили обмен культовыми ценностями: фотографиями артиста, открытками, автографами, пуговицами с его пиджака, оторванными во время одного из захватов фанатичками зазевавшегося кумира у подъезда его дома, статьями о нем во всей многообразной отечественной и зарубежной прессе и т.п.

Я сам очень любил этого артиста, считал его, пожалуй, единственным у нас, которому удалось быть абсолютно самобытным. В конформистском обществе все таланты должны были так или иначе принимать участие в создании всеобщего стереотипа. И только у Смоктуновского, игравшего те же пресловутые роли «наших» положительных или «наших» же отрицательных героев, получалось в высшей степени своеобразно, с неожиданными глубинами, хорошо и подлинно прочувствованными и переданными. Смоктуновский не играл своих героев, он перевоплощался в них.

Помню, впоследствии, время от времени встречаясь с ним, я часто совершенно не узнавал его. Ибо он весь менялся в связи с какой-нибудь новой ролью. Я впервые увидел его вживе на лестничной площадке перед дверью своей квартиры. Мой кумир стоял в унылой позе, положив руку на перила лестницы, глядя вниз – оказывается, пришел к своей теще, да не застал ее... Передо мной находился принц Гамлет с короткой прической русых волос, глубоко ушедший в себя, должно быть, в размышления о полной безнадежности человеческой природы. Драма отсутствия тещи Гамлета была не столь уж глубокой и значительной, но он все еще продолжал оставаться в образе, потому как съемки фильма «Гамлет» и премьеры прошли совсем недавно.

Впоследствии у той же его тещи я однажды увидел какого-то лысого, мясистого, с розовым голым лицом человека, которого я принял за одного из ее гостей. Довольно часто в квартире Горшманов появлялись эти господа из провинции. Раньше жившие в коммуналке, в одной комнате со взрослой дочерью, а потом и с зятем, старики с получением отдельной двухкомнатной квартиры почувствовали себя владельцами полумира (наверное, точно так же, как и я!) и стали чуть ли не зазывать к себе иногородних друзей и поселять их на столичное прожитие у себя. Налысо обритый, с блестящим черепом и сытым загривком новый гость моих соседей без особенного удивления посмотрел на меня, стоявшего посреди комнаты и разговаривавшего с маленьким хозяином в зеленом свитерке, молча кивнул мне и затем прошел на кухню. Я еще немного поговорил с хозяином, и вдруг в разговоре обнаружилось, что прошедший на кухню господин был вовсе не гость, а зять. Смоктуновский тогда снимался в кинофильме «Преступление и наказание» в роли следователя Порфирия Петровича, и он у актера почему-то выходил таким: обтекаемо-лысым, сытым, с плотоядными губами, с внимательным и в то же время ускользающим в сторону взглядом синих выпуклых глаз... Так бывало несколько раз. В те дни, когда он снимался в «Чайковском», я неудачно разминулся с ним на пешеходной дорожке у нашего дома, задел локтем и, извинившись, прошел дальше. Меня окликнули, я остановился и оглянулся. Бородатый человек с красивым одухотворенным лицом несколько болезненного вида – какой-то очень сосредоточенный, светло напряженный – смотрел на меня и окликал по имени. Это был он, милейший Иннокентий Михайлович. «Что же вы, Толя, не хотите поздороваться со мной? – усмехаясь, молвил он. – За что-нибудь обиделись на меня?..»

И все же самое яркое впечатление было при первом знакомстве со Смоктуновским-Гамлетом. Впоследствии, когда мы вроде бы подружились (у него, конечно, было очень много и других людей, называвших себя его друзьями) и он даже крестил меня вместе со своим двадцатипятилетним сыном Филиппом – мне же было тогда сорок лет, – много разных обликов и личин наблюдал я у этого гениального актера. И не знаю до сих пор, какая личина была его самая-самая настоящая и единственная. Мир праху его.

Он был крестным отцом мне не только по православной вере. Подлинным крестным оказался для меня Иннокентий Михайлович Смоктуновский и в литературе. В ту первую нашу встречу на лестничной площадке я осмелился предложить ему зайти ко мне и там подождать возвращения тещи. На что мой кумир довольно охотно согласился. И чудесный посланец судьбы переступил порог моего дома. Тогда еще проживала у меня одна из моих сестер, студентка химического института. Она чуть не сошла с ума, увидев перед собой столь знаменитого гостя. Иннокентий Михайлович посидел у нас совсем немного, вскоре вернулась его теща, и он перешел к ней. Прежде чем уйти, Смоктуновский открыл небольшую картонную коробочку, что держал в руке, – там оказалась золотистая копченая мойва. Это был гостинец теще, но в благорасположение к нам он выложил из коробки копченой рыбы, сколько могла захватить его рука с длинными ухватистыми пальцами, поросшими рыжими волосами. И эту рыбу сестра моя не желала отдавать на съедение, хотела сохранить навеки как бесценный раритет, однако я воспротивился, и вкусная рыбка была все же съедена. Тогда сестра собрала все рыбы хвостики и куда-то спрятала – может быть, и до сих пор держит их где-нибудь в семейном сундуке...

Через месяц после этой встречи Смоктуновский снова появился в моей квартире. В прошлый раз при знакомстве я кое-что рассказал о себе: чем занимаюсь, как живу. Но он сам прекрасно увидел, как живу. В крошечной моей квартире имелось всего три стула, два пружинных матраца с деревянными самодельными ножками, один самодельный письменный стол. У стены стояла детская кроватка, над нею на стене бурые следы от давленных клопов. Прошедший в молодости свирепую школу артистической божественной нищеты, Смоктуновский в одну секунду все понял, и мне не надо было пытаться скрыть что-то...

Он зашел к нам и попросил у меня рукописи каких-нибудь рассказов, которые, на мой взгляд, могут быть напечатанными. Он хотел их отнести в какой-то журнал. Я совершенно откровенно рассказал ему, что все бесполезно, что десять лет уже бегаю по редакциям и никто не хочет печатать меня. Тем не менее он настоял, и я отдал ему рукописи двух небольших новелл.

Не знаю, что заставило артиста прийти мне на помощь. Я ее уже ни от кого не ожидал – и не потому, что разуверился в людях, а просто считал, что в нашем деле никто никому помогать не должен. Да и невозможно это было. Ради такого дела, которое нужно только мне одному, откуда и какой же мне ждать помощи? Он отвез мои рукописи в Ленинград и там передал в редакцию журнала «Аврора». Не знаю, как он представлял меня, но всего через три месяца я уже держал в руках зеленый номер журнала с первыми напечатанными моими рассказами. Произошло это славное событие в январе 1973 года.

Очень скоро после этой публикации, в следующем месяце, появилась в «Литературной газете» обзорная статья за подписью ЛИТЕРАТОР (официозная редакционная рубрика), в которой среди нескольких журнальных удач начинающегося года первыми были названы мои два рассказа. Достоинством рассказов ЛИТЕРАТОР отметил их язык – «высокую культуру письма».

Колоссальный вздох облегчения изшел из моей многострадальной груди. Ведь я больше всего опасался того, что в моем физическом существе нет ни одной русской клеточки, и вся длинная генетическая цепочка, пока что завершенная моей невнятной персоной, не содержала в себе ни одного звена русской языковой природы. Я боялся, что при всех моих стараниях фатальным барьером предстанет для меня иноязычное мое происхождение. Родители мои, хотя и были школьными учителями, лишь наполовину, а то и намного меньше использовали в своей жизненной практике русский язык. Эта неуверенность и тревога – быть «уличенным» во вторичности языка, в некоем неисправимом «акценте» инородца – мучили меня все эти нелегкие годы литературного становления... И вот первое, что услышал я от критики, – слова о моей «культуре письма»... Было отчего вздохнуть с великим облегчением.

После дебюта потек тоненький ручеек моих журнальных публикаций. Пожалуй, с 1973 года до сих пор в разных русских и нерусских журналах страны ежегодно печатаются мои рассказы, повести, романы, пьесы, киносценарии. С 1976 года стали выходить книги. И в реке времени этот журнально-книжный поток течет уже более двадцати лет.

Я сейчас имею возможность посмотреть на этот поток со стороны, как бы стоя на берегу реки и обозревая ее извилистые повороты, сужения, широкие разливы. Эта река литературного творчества и есть река моей подлинной жизни на Земле. Она еще течет, и я еще живу. Мне удастся увидеть ее исток, также ясно вижу реку своей жизни в ее среднем течении, там, где проявились ее самые характерные признаки. И уже предощущаю где-то в недалеком пространстве бытия тот сверкающий вечный океан, в котором бесследно исчезают потоки

всякого жизненного творчества – все великие и малые земные реки. Я стою сейчас на берегу своей невидимой реки жизни и испытываю благоговейный душевный трепет перед высоким небом, что светится над грядущим океаном, собирателем всех творческих человеческих судеб. Надеюсь, что ничто не случайно в этом мире, изумительном шедевре высшего художественного творчества, и каждый поток обязательно дойдет до океана и сольется с ним.

Книги-1

Первая книга далась мне нелегко. Ее история полна драматических событий, приключений, интриг и даже тайных преступлений. Началось с того, что однажды мой бывший руководитель семинара в Литинституте, Владимир Германович Лидин, решительно заявил мне, что пора составлять книгу рассказов. И сердце мое тревожно замерло.

По окончании института мои отношения с мудрым, старым Лидиным продолжались. Он благоволил ко мне, время от времени приглашал в гости к себе, иногда и с семьей, с моими маленькими черноволосыми дочерьми и женой... Однажды, когда я дошел до края, мне почему-то пришлось в голову написать Лидину письмо (хотя я мог в любое время позвонить ему, встретиться и поговорить), где я признавался, что готов уже на все махнуть рукой, забыть о литературном занятии и подыскать какое-нибудь дело понадежнее. В ответ он немедленно отослал меня в Литературный фонд, где мне выдали сто рублей безвозмездной помощи, а затем последовало предложение составить книгу и отнести в издательство.

Но издать книгу в те времена простому смертному было невозможно. Советские издательства были все крупными, как линкоры и авианосцы нашего славного Военно-морского флота. Сходство советских издательств с военной машиной усугублялось еще и тем, что они были напрямую подчинены и поднадзорны неким людям с воинскими званиями. Эти люди, если хотели, могли появляться в издательстве и в своей военной форме с погонами КГБ – речь идет о цензорах. Называлась цензура почему-то ГЛАВЛИТ, и мне до сих пор неизвестно, что это обозначало: главная литература? глава литературы?

Однако за этой расплывчатой неопределенностью названия скрывалась самая жесткая и весьма определенная структура. Ни одна книга, журнал или газета не могли выйти без разрешения на то цензуры. Никакие литературные авторитеты, писатели или редакторы самого высокого ранга не могли обойти чиновников таинственного ГЛАВЛИТа. За все ошибки и недосмотры редакции, подавшей в ГЛАВЛИТ непроходимый материал, редакторы сурово наказывались. Поэтому работа приучала их к особой бдительности, которая у многих доходила до такого высокого уровня, что после иного редактора никакого цензора уже не понадобилось бы. Профессиональное мастерство советского редактора определялось в первую очередь умением безошибочно распознать «непроходимую» рукопись и «зарезать» ее сразу. И дело было не в природной подлости или трусости редактора – нет, он мог быть и вполне приличным человеком, однако правила игры были таковы, что не проявить трусости или, наоборот, проявить смелость ему просто было невозможно.

Один наблюдательный и весьма остроумный редактор издательства «Советский писатель» заметил, что у Кима походка типично китайская – как у китайских строителей дамб и плотин, которые носят землю в корзинах на коромысле, грациозно движутся на полусогнутых ногах. А ведь было замечено очень даже точно! Я действительно передвигался по редакциям на полусогнутых ногах. Но это не потому, что я привык таскать землю в корзинах, а потому лишь, что был совершенно подавлен и страшно стеснялся всех в этом жутковатом доме под названием «Советский писатель».

Одним словом, бесплодной оказалась бы эта самая первая попытка, если бы я сунулся в издательство самовольно. Но меня направил туда Лидин, сопроводив рукопись запискою, адресованной заведующей отделом прозы. И рукопись зацепилась в «Совписе».

Впоследствии я узнал многих достославных работников этого издательства, с некоторыми даже подружился. Но сейчас расскажу не о них, а о другой фигуре редакционного коллектива, весьма важной для всякого автора, в особенности для малоизвестного. Как правило, эта фигура всегда оставалась в тени, редко кто знал о ней – речь идет о так называемом «внутреннем рецензенте». Это к нему в первую очередь попадала принесенная в издательство или журнал рукопись, и от него зависело, будет ли она дальше рассматриваться или же ее с вежливым отказом вернут автору. За весьма скромную плату рецензент знакомился с рукописью и затем состряпывал небольшую рецензию с определенным резюме в конце: рекомендуется для издания или отвергается.

Работа эта была внештатная, журналы и издательства держали рецензентов в основном для заслона от так называемого «самотека», рукописей без рекомендаций, которые были обречены на то, чтобы угаснуть, наткнувшись на холодное, твердое сердце внутреннего рецензента. Ибо это сердце должно было быть таким же, как у врача, скажем, у адвоката, а точнее всего – у заплечных дел мастера, который по службе обязан рубить головы.

И ездил по Москве один здоровенный красивый молодой мужик на машине «Нива», назову его – Казак, член Союза писателей, бывший сибирский охотовед, который специализировался на внутренних рецензиях и превратил это дело в основной жанр своего литературного творчества. То есть повестей и рассказов о сибирской тайге и об охотниках он больше не писал, а на жизнь зарабатывал тем, что объезжал на своей машине издательства Москвы и набирал огромное количество рукописей для рецензий. На постоянном рецензировании выколачивал он достаточно денег, чтобы содержать дорогую «Ниву» и двух любовниц, одну из которых навещал с понедельника по среду, а другую – с четверга по воскресенье. Может быть, я уже подзабыл и неточно передаю расписание, о котором Казак мне сам поведал.

Можно себе представить, как этот малый рубил сплеча головы своим «самотечным» авторам, решительно и поспешно, потому что чикаться было некогда, ведь ему надо было зарабатывать много денег. И наш мастер достиг такого совершенства в своем деле, что со временем мог уже написать отзыв на самую объемистую рукопись, прочитав всего несколько страниц – в начале, в середине и в конце. В исключительных случаях он мог бы написать рецензию, даже не заглянув в рукопись. Казак был, наверное, самым продуктивным и виртуозным мастером своего цеха, во всем мире не нашлось бы второго такого маэстро внутренних рецензий.

...Раньше моим рукописям также пришлось пройти через руки подобных мастеров, и, как понимаю теперь, мне никогда не удалось бы напечататься в журналах и выпустить книгу, если бы судьба не послала мне крестного отца Смоктуновского и доброго профессора Лидина. Благодаря их вмешательству я смог проскочить роковой заслон внутренних рецензентов и обратить на себя внимание более доброжелательных работников редакций.

Но я не скажу всей правды, если умолчу о том, что впоследствии, когда я вступил в Союз писателей, мне тоже стали давать подрабатывать на внутреннем рецензировании. И я тоже резал немало слабых или «непроходных» рукописей. Не может быть оправданием для меня и то, что в нескольких случаях я написал положительные рецензии на вещи из самотека, которые были действительно хороши, но, увы, малопроеходимы. Редакторы сдержанно пожимали плечами, знакомясь с моими положительными отзывами, и ничего из рекомендуемого мною ни разу не напечатали.

Книги-2

Уже рассказано Михаилом Булгаковым в его незаконченном «Театральном романе», какими странными мистическими обстоятельствами сопровождается порой выход книги. Хочется и мне рассказать историю двух своих книг. Речь пойдет о первом моем сборнике «Голубой остров» и о романе «Белка». Между выпусками этих книг лежат восемь лет, первая вышла у меня, как я уже говорил, в 1976 году.

Когда я принес свою рукопись в «Советский писатель», меня представили заведующему отделом прозы, грандиозной даме В. М. В., к которой у меня было письмо от Владимира Германовича Лидина. Дама В. М. В. была грузная, черноволосая и разноглазая – никогда нельзя было понять, смотрит она на тебя или нет. Длинная пиратская прядь падала на тот глаз, которым она исподтишка рассматривала собеседника, а второй, широко открытый, равнодушно был уставлен куда-то в дальний угол кабинета.

– Ну что это рукописи приносят с какими-то рекомендациями, – пропела она замечательно нежным, совершенно неподходящим к пиратскому облику голосом. – А нельзя ли было принести без рекомендательного письма? – спросила она, быстро прочитав записку Лидина.

Я ничего не понял. Во-первых, был очень взволнован, а во-вторых, никак не мог уловить ее взгляда, по которому можно было бы судить, шутит она или и впрямь недовольна, что я пришел с письмом Лидина... Однако голос ее был щебечущим и льющимся, что ж, решил я, это она дает знать, что хоть и уважает известного мэтра, но будет рассматривать мою рукопись безо всяких скидок... В большой редакционной комнате стояло несколько столов, заваленных бумагами, и возле одного из них я обратил внимание на беседовавших – чернявую даму и молодого человека с залысинами, с румяными губами. Это и был, оказывается, мой будущий первый в жизни

редактор (которого назначит В. М. В. вести мою книгу) – досточтимый Николай Иванович Сарафанников. В последующие годы мне пришлось выпустить с ним в том же издательстве еще две книги и запустить в производство роман «Белку». Затем Сарафанников исчез из моей жизни... Но об этом чуть позже.

С первых же шагов на пути издания книги я усек, что надо шагать и действовать «по человекам». В издательстве, в редакциях нужно было точно определить и «отстрелять» тех работников, от которых зависела судьба рукописи. То есть необходимо было искать выход на них, затем вступать в контакт и в дальнейшем дело повести таким образом, чтобы необходимый работник редакции стал бы содействовать дальнейшему прохождению рукописи. Или не мешал бы этому, если писанина твоя ему не нравится, попросту не вмешивался бы в процесс. Необходим был момент интимного соприкосновения взаимных интересов просителя-автора и благодетеля-редактора. С редактором нужно было сблизиться во что бы то ни стало. С ним надо было подружиться и сделать ему что-нибудь приятное. Например, придумать какой-нибудь хороший подарок.

А что я мог подарить своему благодетелю при том, что уже многие годы балансировал на грани бедности и нищеты? Однажды мне приснился сон, что я обнаружил в себе необычное шестое чувство – и это было чувство отсутствия денег.

Я так и не научился как следует считать деньги, не умею их расходовать рационально и не способен быть бережливым. Проклятые деньги, как только появляются у меня в достаточном количестве, мучают мою душу и не приносят никакого успокоения. Мне хочется скорее истратить их на что-нибудь, и я строю всякие планы, иногда самые безрассудные. Так, я задумал, когда стал зарабатывать кое-что литературой, выстроить каменный дом в лесу, на берегу озера. По бездорожью я завез туда на нанятых тракторах и грузовиках многие тысячи кирпичей, тонны цемента...

Однако и в ту крутую пору, когда денег совсем не было, я вовсе не стремился их зарабатывать, об этом не думал. Угощать в ресторанах редакторов я не мог, делать дорогие подарки, как было уже сказано, было мне не по карману. Единственное, что я мог позволить себе в качестве подарка, – белые грибы, которые сам собрал в лесу и сушил своим способом, научившись у одной деревенской старушки.

Когда постепенно выяснилось, что с меня взять нечего и что я отношусь всего лишь к не очень влиятельному кругу старого Лидина (который лет двадцать назад был, может быть, весьма влиятельным), начались проволочки. Мне никак не давали договора, и книгу не включали в план издательства. А я уже чувствовал, что дошел до предела и нет никакого дальше резерва душевных сил. Мутным облаком застилала мне глаза тоска погибели.

С этим я и пошел на прием к В. М. В. Я плохо помню, что и как я говорил ей, неплохому, в сущности, редактору, но мне удалось убедить ее в том, чтобы она заключила со мной договор, выплатила аванс и поставила рукопись в план следующего года выпуска... Не помню, как все это решилось, помню только, что бедняжка В. М. В. страшно перепугалась, налила из графина воды и подала мне стакан, произнося тонким, дрожащим голосом: «Успокойся, Толя! Пожалуйста, успокойся! Ну зачем же так волноваться!» На что я ответил: «Если книга не выйдет, мы погибнем, я и моя семья... Вы теперь знаете об этом».

И книга сдвинулась с мертвой точки и пошла дальше. Начались встречи и беседы с редактором. Николай Сарафанников был человеком с неординарной судьбой, но об этом я узнал позже. А в том далеком семьдесят четвертом году я впервые увидел этого человека в старом здании «Советского писателя» в Гнезниковском переулке еще совсем заурядным, благопристойным, манерным юношей, с ясными, невинными глазами, с мягкой, интеллигентной улыбкой на румяных устах... Этими глазами и улыбкой он обращался к близко стоящей перед ним накрашенной даме. Руки при этом Николай Иванович держал сложенными вместе на своей груди, как оперный тенор, и это выглядело также весьма пристойно и благообразно...

Первый редактор – как первая любовь, и она не забывается. Коля Сарафанников был по образованию специалистом по датскому языку. Каким образом он стал редактором в «Совписе», мне неизвестно. Он познакомил меня с другим своим автором, будущим известным писателем Маканиным, с которым у меня сохранились добрые отношения до сих пор. Коля Сарафанников стал бывать у меня дома, приглашал я его и на первую в своей жизни дачу, которую снимал в подмосковной деревне.

Очень скоро отношения наши стали настолько доверительными, что он признался мне: редактора его не привлекает, он чувствует себя не очень уверенным на этой работе. «Ну какой я

редактор, Толя?» – это его слова. Тем не менее я считаю, что он-то и являлся хорошим редактором. Ни разу он не вмешался в мои тексты, не «улучшал» их, не навязывал свои вкусы. И впоследствии, когда я в том же издательстве запускал свою вторую книгу, Коля доверил мне написать положительную редакторскую рецензию на мою же собственную рукопись... Что было, разумеется, делом недопустимым. Однако он честно признался, что у него нет времени да и большого желания читать рукопись и сочинять редакторское заключение – пусть за него это сделаю я сам, он мне полностью доверяет. Первая же книга, несмотря на благополучно преодоленные препятствия, проходила в дальнейшем препятствия новые, не менее опасные. Об одном, беспрецедентном, расскажу сейчас. Книга была уже на стадии «сверки», второго типографского набора, когда к главному редактору издательства пришел донос, что они в «Совписе» собираются выпустить чуждую по идеологии книгу, то бишь мою. И главный редактор тотчас назначил так называемое «контрольное чтение». То есть в отделе «главной редакции» (еще одна инстанция, стоявшая надо всеми отделами издательства) был назначен редактор, чтобы он просмотрел всю книгу заново и сделал свое заключение.

Признаться, я снова заволновался. Кто мог донести на меня (до сих пор не знаю этого)? Позвонил и все рассказал Владимиру Германовичу Лидину. Он поначалу и верить не хотел: не бывало такого никогда. Но затем попросил меня узнать, кому конкретно поручено осуществить «контрольное чтение». Когда я узнал и сообщил Лидину, он обрадовался: мол, хорошо знает человека, это тонкий критик и литературовед. И мой старый профессор обещал позвонить ему. Через некоторое время раздался и у меня звонок – звонил мой «контролер». Он поздравил меня с хорошей первой книгой и добавил, что читал ее внимательно, с карандашом в руке, и нигде ни разу его редакторский карандаш не поднялся для исправления. Однако по содержанию самой большой моей вещи, повести «Собиратели трав», у него были сомнения: пройдет ли цензуру? Осторожности ради он предложил мне изъять повесть из сборника.

Но я ответил ему, что не вижу книги без повести. Она была самым лучшим, к чему я пришел к тому времени в прозе. Я сказал, что, если он позволит мне, я готов рискнуть и оставить в книге «Собирателей трав» без всяких изменений. На что критик, вздохнув и выдержав осторожную паузу, ответил: «Ну что же... Смотрите сами. Я подпишу книгу...»

Я рискнул – и книга вышла целиком. О, я помню, какое у меня было волнение, когда я получал на книжном складе издательства пачки с экземплярами первого моего сборника. Как потом вез их в такси домой и на радостях подарил таксисту книгу с первой в моей жизни авторской надписью на титульном листе...

Каждая книга – это приключение. Хочется рассказать еще об одном большом приключении – о моем первом романе «Белка», который переведен теперь на разные языки в пятнадцати странах.

Однажды Николай Сарафанников вдруг сказал мне нечто необычное: «Напиши, что тебе захочется. А я это сумею издать». Как раз к тому времени у меня уже вышли три книги, и последняя была толстенной книгой переизданий, вышедшей тиражом в 150 000 экземпляров. У меня были средства, чтобы рискнуть: можно было год писать, ничего не зарабатывая. И ровно год я писал «Белку». Когда я принес рукопись в издательство, мой редактор быстро и умело провел ее через все стадии внутреннего рецензирования, написал свое заключение, вставил в план, сдал в набор. Одного только он не сделал – не прочел рукописи. Вернее, он честно, как и всегда, признался мне, что прочитал примерно страниц сто, дальше времени не было... Что ж, я не стал обижаться, но мне было беспокойно. Потому как знал, что написал почти невозможную для издания книгу. Я полагал, что редактор увидит все сомнительные в цензурном отношении места и посоветует мне, как с ними быть. Я-то писал эти места только с одной целью, с одним желанием – хотел испытать себя на полную творческую свободу. Я старался писать без оглядки на будущую цензуру и посмотреть, на что я окажусь способным... Но вот незадача – редактор все пропустил, даже не прочитав рукопись до конца...

Причина подобного его поведения вскоре выяснилась. Коля задумал эмигрировать из Союза, женился на француженке – и вскоре оказался в Париже. Но перед этим он почти все исполнил так, как обещал. Однако, когда верстка пришла, мне назначили нового редактора. Он прочел, пришел в ужас и тотчас доложил начальству. В результате набор рассыпали.

Но я не хотел сдаваться и переработал роман. В нем уже не было явных цензурных «непроходимостей», однако и в этом виде «Белка» выглядела достаточно чужеродной, скажем, для отечественной романной прозы – и по форме, и по содержанию.

В то время главным редактором «Советского писателя» стал Игорь Бузылев, светлая ему память. Он умер молодым, вскоре после выхода моего первого романа. Бузылев был одним из редких редакторов в нашей системе книжного издательства, который имел свои личные убеждения и придерживался их в жизни. Будучи уже смертельно больным, он принимал меня в своем кабинете, в новом здании «Советского писателя» на улице Воровского, и перекрестил новый вариант рукописи «Белки», прежде чем подписать ее для набора.

Но и на этом приключения «Белки» не закончились. Кто-то опять донес на меня, и на этот раз не в главную редакцию, а сразу в Госкомитет по делам печати. Оттуда пришел запрос на рукопись, ее отправили, а потом вернули в издательство в сопровождении двух документов. Одним из них была весьма злая отрицательная рецензия на роман с предложением не издавать его, пока он не будет вновь переписан и исправлен. Второй документ был письмом заместителя председателя Госкомитета директору издательства «Советский писатель» с советом прислушаться к мнению рецензента и допустить рукопись к изданию только после всех соответствующих исправлений.

Но дело это происходило в летнее время, когда работники издательства уходили в отпуск, и папка с рукописью и с грозными документами не попала на стол к директору. Эта папка была вторым экземпляром – первый уже находился в типографии. Возвращенную из Госкомпечати папку секретарша издательства положила, даже не раскрыв, на полку рукописей второго экземпляра, откуда я ее забрал и унес домой... Я ничего не знал об этом контрольном чтении и был потрясен, увидев дома опасные для меня документы. Подумав немного, я решил не спешить с возвращением документов в дирекцию издательства. И, мне кажется, правильно решил: книга вышла, имела большой успех в стране, была потом переведена на многие языки мира.

Союз писателей

Надо было вступать в Союз писателей СССР, потому что свободная профессия в стране была немыслима вне профессиональных союзов. Не состоящие в них художники, композиторы, писатели и поэты считались безработными, а точнее, «нигде не работающими», и могли быть причислены к «тунеядцам» и даже преследоваться по закону, если на то была воля властей предрежащих. Итак, надо было собирать рекомендации от двух–трех членов СП, подавать заявление и ждать решения своей участи. И в 1979 году я был наконец принят туда, вся процедура длилась около двух лет. Отныне я мог: а) нигде на службе не состоять; б) пользоваться льготными путевками в дома творчества; в) встать на очередь для улучшения жилищных условий; г) встать на очередь для приобретения автомобиля; д) посещать Центральный дом литераторов в Москве. Словом, привилегий было много, и я не преминул ими воспользоваться. «Союзписательское» существование вывело мою жизнь на новый уровень и придало ей совершенно другой характер. Я перестал быть одиноким волком, приобщился к привычкам литературного социума своего времени. Я начал обретать вкус и стремление к благополучному существованию. Незаметным образом происходило в моей душе некое значительное изменение, суть и смысл которого откроется мне намного позднее – именно в эти дни, когда я пишу повесть о себе.

Я уже рассказывал, что в молодости под влиянием Льва Толстого задумал прожить свою жизнь, не заедаая чужого века, что подлинным трудом человеческим надо считать труд физический, а всякую умственную деятельность, в том числе и писательство, обеспечивать за счет именно подлинной работы. Меня привлекала возможность большей внутренней свободы при подобном подходе к писательской деятельности. Но чтобы писать в высшей степени внутренней свободы, нужно было принять одно условие: никогда не пытаться напечататься. Я не выдержал этого условия. Я захотел печататься и стал это делать – потерял ли я творческую свободу из-за этого? И наконец удалось ли мне в действительности написать такие книги, какие я хотел написать в одинокие годы своей молодости?

Бог весть. Иногда мне кажется, что я написал действительно хорошие, честные книги. А в другой раз холодею при мысли, что я слукавил, пойдя на компромисс с суровой действительностью. И самым правильным, может быть, было бы то, что когда-то порешил мой юношеский максимализм: писать только в стол, никогда не пытаться получить признания – и так до самой смерти. Когда же она приблизится, надежно захоронить рукописи или сжечь их на костре, развеяв пепел по ветру...

Примерно так и поступил, говорят, мой далекий предок Ким Си-Сып, великий поэт и прозаик средневековой Кореи. Он замуровал свои рукописи в стену дома, и лишь через сто лет

нашли их. И это были абсолютно свободные произведения. Но у меня ничего не вышло. Творческая свобода, которой я дорожил больше всего, была заменена осторожной мудростью. И, о чем бы я ни писал, какую бы привлекательную форму ни находил для своих писаний, я в них не достиг, очевидно, всей глубины творческой свободы. Наверное, такое произошло бы в случае, если бы душа моя сгорела во время работы и мозг мой умер от непомерного напряжения.

Однако я захотел соединить стремление жить, просто жить достойным образом, с желанием писать и издавать книги. Пройдя через искушение многих лет, мрачно освещенных тусклым светом одиночества, мой художнический экстремизм благополучно переродился во вполне легальную и приемлемую борьбу по правилам. Отшельник покинул свою пустыню. Он вступил в Союз писателей. Пожалуй, то было время полного расцвета этой государственной литературной корпорации, сиречь министерства, и главные фигуры СП, его функционирующие и почетные секретари, были всесильными литературными грандами, славными, богатыми, очень влиятельными в обществе. Они были малодоступны для рядовых членов писательского союза и вели совершенно обособленную жизнь, впрочем, как и все номенклатурные работники государственной системы. Для них существовали отдельные места отдыха, у них были дачи в Переделкине под Москвой и в разных курортных местах по всем республикам СССР. Мы могли лицезреть этих грандов только в дни съездов и пленумов, когда небожители величаво восседали за красным столом президиума.

Я так и не изучил всех градаций и структурных соединений этой колоссальной бюрократической машины, мне только стало ясным одно – Союз писателей в точности повторяет все те общественно-государственные механизмы, которыми обеспечивается жизнедеятельность величайшей имперской машины. И никакого положительного влияния на то сокровенное, хрупкое, сугубо индивидуальное начало, каким является художественное творчество, Союз писателей не имеет. Наоборот – если и влиял Союз на творческий процесс, то самым пагубным и тлетворным образом.

Молодой литератор, удостоенный быть принятым в эту организацию, получив вожделенную членскую книжечку красного цвета, сразу начинал с активного освоения тех социальных привилегий, которые давало членство. Он принимался азартно бегать по инстанциям канцелярий, добиваясь новой квартиры, постановки в очередь на машину, поездки в интересную командировку, получения путевки в Дом творчества в крымском Коктебеле или в прибалтийских Дубултах. Скажем, удавалось молодому литератору в курортный сезон попасть в Дом творчества на черноморском побережье. С волнением вступает он, таща в руке дорожный чемодан, под своды фешенебельного (или желающего выглядеть таковым) писательского пансионата. Вселяется в комнату. Идет на первый свой ужин в общую столовую. И видит блистательную ассамблею дам и господ в курортных нарядах. И все это, надо полагать, известные и даже очень известные писатели, поэты, критики, драматурги многонациональной советской литературы. Голова идет кругом у молодого и совсем еще малоизвестного писателя. Начинаются знакомства, приятные беседы за бутылкой местного вина, совместные выходы на пляж, купание, прогулки в горы. Вдруг какой-нибудь очень знаменитый поэт обращает на тебя свое благосклонное внимание, удостаивает беседой или даже приглашением в свой номер люкс на вечеринку. А то вдруг какая-нибудь поэтесса, не столь знаменитая, но весьма пикантная и еще не старая, предлагает совершить экскурсию в ближайший винный кабачок. И идет кругом голова, и экскурсии все множатся, и творчество, ради которого молодой литератор пересек полстраны, как-то не приходит на ум.

Зато он попал в респектабельную литературную среду, в которой отныне будет благополучно обкатываться, обкатываться – и примет наконец ту правильную округлую форму, которая поможет ему легко катиться по жизни. Появятся новые привычки, пристрастится он к вечерним посещениям ЦДЛ, где постоянно стоит дым коромыслом от табачного смрада, гул хмельных голосов, замечательные дружеские застолья с объятиями, пьяными поцелуями вперемежку с громогласным чтением стихов и внезапно возникающими драками.

Через всё это и я проходил, и моя жизнь в профессиональной среде не была и не могла быть иной. Как-то я читал у одного американского писателя, что существование нью-йоркской художественной богемы сравнимо с трагическим положением червей, заключенных в стеклянную банку, где им нечего есть и они должны питаться друг другом. Мне не хочется быть столь же беспощадным и жестким, однако, в сущности, мой американский коллега нарисовал похожую картину, какую мог наблюдать и я. Я никак не предполагал, что действительность за вратами рая, называемого Союзом писателей, окрашена в inferнальные тона и явно отдает

алкогольно-серным духом подпаленных грешников. Нигде я не видел столь масштабной картины многолюдного пьянства, как в буфетах и ресторане славного ЦДЛ где-нибудь после девяти часов вечера. Почему литераторы безобразно и откровенно напивались в своем клубе? Должно быть, от хорошей жизни. Слышал я, что раньше в ЦДЛ была совсем другая обстановка, царил респектабельный клубный порядок, и классики советской литературы не дебоширили в знаменитом дубовом зале ресторана. Но в мое время, когда и я стал захаживать туда, пьяный гул уже стоял до небес и картина вакханалии была постоянной. Почти непьющий человек, от природы робкий и незагульный, я поначалу чувствовал себя довольно неуютно. Но постепенно привык и время от времени стал посиживать за каким-нибудь бражным столом, а однажды и сам уснул в кругу незнакомых корреспондентов «Литературной газеты», привалившись к спинке стула и уронив голову на грудь. А когда проснулся, некий грузинский литератор произнес следующий тост: – А сейчас я хочу выпить за хорошего человека, за нашего дорогого гостя... Только очень хороший человек может так сладко спать за столом среди незнакомых людей...

Разумеется, не только пьянством занимались в Союзе писателей. Время от времени проводились писательские съезды и пленумы правлений писательских организаций. Меня довольно скоро включили в число членов как Всесоюзного правления, так и Российского и в правление Московской организации. То есть я был выделен из рядового уровня и вознесен на более высокую ступеньку союзной иерархии. И меня уже стали вносить в списки делегатов писательских съездов. Таким образом, мне даже пришлось бывать и в Кремле, где проводились в то время съезды СП СССР.

Так продолжалось у меня до последнего, кажется, VIII съезда писателей. В том году вышла «Белка», и, когда роман был уже оттиражирован и поступил в магазины, вдруг мне сообщили в издательстве, что Государственный комитет по печати назначил у себя ведомственное обсуждение моей книги, на которое вызываются редакторы издательства и автор. В редакции поднялась паника – ведь это означало, что в Госкомитете остались крайне недовольны изданием и предстояло судилище.

Но тут мне опять повезло. В том году предстоял юбилей Союза писателей, пятидесятилетие со дня его основания, и под это дело большое количество писателей, около трехсот человек, было награждено правительственными орденами разных степеней. В газетах обнародовали списки награжденных, среди них был назван и я, удостоенный ордена «Знак Почета». Это был самый «младший» из орденов, но награждение исходило от правительства – высшая государственная инстанция отметила меня. И обсуждение моего романа Госкомиздатом само собой отменилось. Вновь «Белке» удалось проскочить через опасное препятствие.

Но и на этом ее приключения не закончились. Подступил тот самый исторический VIII Съезд писателей СССР – потому исторический, что последний. Но об этом еще никто не подозревал, и торжественное собрание в Кремле открылось с той же помпезностью, что и всегда, и так же работал знаменитый, колоссальных размеров кремлевский буфет, и был торжественный банкет... И я там был, и мед пил... Но вот что произошло в самом начале съезда, когда Первый секретарь СП СССР товарищ Марков зачитывал свой доклад...

Вначале Марков говорил обычные казенные торжественные слова, благодарил партию и правительство. Потом стал говорить о выдающихся успехах многонациональной советской литературы и зачитал длинный список особо отличившихся писателей. Их было немало, оказывается! Справившись с этим, докладчик перешел к отдельным неудачам, имеющим место быть в общем стройном, правильном литературном процессе. Одной из первых неудач было названо произведение уважаемого Виктора Астафьева – речь шла о повести «Печальный детектив». Затем Марков глубоко вздохнул, помолчал и вдруг произнес мое имя и назвал роман «Белка»... Но что-то мешало ему говорить дальше, и докладчик опять замолчал. Были ясно слышны глубокие вздохи Первого секретаря. Но вот он вроде справился с собою и снова стал докладывать, опять назвал мое имя – и окончательно смолк. Тут к трибуне подбежали какие-то люди и бережно увели под руки внезапно заболевшего докладчика...

К трибуне выскочил В. Карпов, бывший разведчик, Герой Советского Союза, и, как говорится, подхватил знамя на лету – стал читать дальше доклад вместо выбывшего из строя командира. И уже без всяких затруднений Карпов решительно зачитал слова о том, что в «Белке» есть что-то чужое и наша действительность освещена в романе как-то не по-нашему...

Маркова увезли прямо со съезда в Кремлевскую больницу, а я еще во время чтения марковского доклада Карповым стал получать записки. Мои коллеги поздравляли меня с прекрасной рекламой, которую сделал мне на весь мир докладчик. А один шутник тут же пустил

по кругу шутку: мол, Киму показали желтую карточку, а Маркова унесли с поля. Надо сказать, что почти в те же дни проходил чемпионат мира по футболу и у всех на устах были общеизвестные футбольные словечки и выражения.

Но не только чемпионат по футболу был предметом мирового внимания.

Приближался тогда небывалый и неожиданный для всего мира и для нас самих процесс в стране, который назовут впоследствии «перестройкой». Затрещали скрепы и подпорки «русского коммунизма» – взошла к вершине власти странная и загадочная фигура Горбачева.

Деревня

Впервые о Михаиле Горбачеве я задумался глубокой осенью восемьдесят какого-то года, уже во второй половине десятилетия – и вот при каких обстоятельствах. Я к тому времени уже давно освоил жизнь в русской деревне – осенью 1976 года купил избушку в Мещерском краю, темную заколоченную развалюху, и с годами постепенно довел ее до ума.

Все свои книги, кроме первой – «Голубой остров», – я написал там, в маленькой деревушке Немятово. Как сейчас понимаю, это было самое благополучное и счастливое время моей творческой жизни. Я со своим корейским семейством впервые появился в тех лесных рязанских краях представителем чуждального племени, какого еще не видывали местные люди. Когда я однажды зашел в магазин, ко мне подошла маленькая сухонькая старушка, делегированная толпою других старушек, и спросила: «Парень, а парень, ты яврей, что ли?» Я отвечал, что я кореец, – о таковых старушка, очевидно, ничего не слыхала, это было видно по ее глазам, светлым, выцветшим, с детским, безмятежным выражением...

Однако глубокой осенью во время своей очередной добровольной отсидки в деревне я зашел по какому-то делу к старухе Матрене. Это была довольно крупная, равномерно округлая и морщинистая, словно моржиха, деревенская бабка, обычно молчаливая и угрюмая, но иногда и шумная, оравшая зычным трубным голосом. В этот вечер, еще ранний по времени, но уже совершенно темный – ночь наступала где-то часов в пять – Матрена сидела одна за маленьким кухонным столиком у окошка, завешенного белой занавеской. Приземистая, сутулая – голова ушла в широкие плечи, бледное лицо обращено ко входящему в дом, темные блестящие глаза с неожиданным живым и ласковым выражением смотрят на него – старая женщина как будто ждала моего прихода. Но ничего подобного быть не могло, мы не договаривались о встрече. И вот я смотрю – на простенке между окнами прямо к темному бревнышку сруба прикреплен портрет, вырезанный из какой-то газеты. На портрете – Михаил Сергеевич. Это было время, когда Горбачев только-только стал генсеком.⁴⁵

Я был весьма удивлен: с чего это Матреша повесила в своей пустой, убогой избе портрет Горбачева? У нее погиб взрослый сын – пьяным утонул в реке. Муж давным-давно погиб на войне. Дочь, такая же угрюмая и полнотелая, как мать, ушла от мужа с двумя детьми и жила в казенной квартире при совхозной почте (эта несчастная дочь впоследствии, уже много времени спустя после смерти матери, покончит с собой, повесится в пустом материнском доме). А старая Матрена сидела возле портрета Горбачева и с живой улыбкой в черных глазах смотрела на меня. И взгляд ее был весьма похож на знаменитый улыбчивый взгляд великого российского реформатора-разрушителя.

– Зачем ты прилепила его, Матрена Михайловна? – спросил я, показывая на портрет.

– А уж больно мне понравился, – тотчас ответила Матрена, будто ждала, когда придут и спросят именно об этом.

– Чем же понравился?

– Очень хороший человек.

– Почему хороший?

– Такой молодой, симпатичный...

Более веских доводов я от Матрены не дождался. Но все же ясно ощутил, что в душе этой бедной старухи поселилось мистическое любопытство к новому царю-батюшке. Да я и сам думал, что пришел к власти некто необычный и можно ожидать каких-то невиданных перемен. А может быть, все эти ощущения и предчувствия в связи с приходом Горбачева были не чем иным, как отчаянным всплеском надежды на то, что в нашей разлагающейся от всенародной лжи и государственного сволочизма стране может появиться нечто спасительное – надежда на чудо... Уже около десяти лет я просидел в этой деревне, правда, больше в летнее и осеннее время года –

⁴⁵ В.Э.: Горбачев стал генеральным секретарем КПСС 11 марта 1985 года.

жил здесь для того, чтобы писать, работать вдали от всякой городской суеты, в стороне от чудовищной несурaziцы общественной жизни. Как раз было время правления кремлевских старцев – зловещая чехарда смертей престарелых генсеков.

Народу советскому тошно стало от частых смертей своих вождей, поэтому он так и обрадовался, когда появился на нашем траурном небосклоне молодой Горбачев. Мишка-меченый, как мгновенно прозвали его в народе.

И вот старая Матрена, у которой отняли все ее человеческое достоинство и само упование на счастье в жизни, взамен оставив ей непреходящее горе, бедность и скотскую униженность существования, – несчастная крестьянка вострепнулась в призрачной надежде и обратила взор на вырезанный из газетного листа портрет нового царя-батюшки.

Историкам еще предстоит разобраться в феномене этой личности. Что его сподвигло, каким образом появился на исторической арене этот человек, с именем которого связано разрушение мировой коммунистической системы? Лично меня также интересовал этот человек – и прежде всего тем, что у него было нормальное человеческое лицо с живыми, блестящими глазами. Вот уж действительно – социализм с человеческим лицом! Впервые облик верховной власти имел такой вид – вспомнить только, насколько жуткими, словно маски для зловещих фарсов, были физиономии кремлевских тиранозавров.

Мне не пришлось принимать участия ни в перестроечных общественно-государственных кампаниях, ни в других, более поздних, так называемых процессах демократических преобразований. Многие из писателей, очень известных и популярных, с головой окунулись в нахлынувшие мутные волны новой демагогии, стали политиками регионального значения или даже постепенно закрутились в самой воронке государственной власти. Власть приближала к себе знаменитых, чтобы перед лицом всего народа они поддерживали ее. И знаменитости наши охотно шли на призыв.

Сам же я все эти годы перестройки большей частью просидел в глухой мещерской деревне. Наступило в моей жизни время самой продуктивной работы. В деревне я написал все свои романы, новые повести и рассказы, пьесы и киносценарии. Меня печатали самые престижные толстые журналы, ежегодно выходили за границей мои книги в переводах. И весь этот личный мой успех и процветание происходили на тоскливом фоне умирания старой русской деревни, где я писал эти книги.

Как-то так случилось в моей жизни, что я хорошо узнал и полюбил то, что уже умирало и как бы смиренно укладывалось, собрав остатки сил, в тишину последнего покоя. Русская деревня явила мне истинное сердце народа, и я навеки восхитился им и ужаснулся безмерно. Все умные книги, все русские философы и писатели, сам Лев Толстой или Достоевский – ничто и никто не открыли мне столько, сколько открыла жизнь в маленькой деревушке в лесной рязанской глуши. И именно в деревне произошло мое подлинное рождение в русском языке – там начало моего существования как русского писателя. Универсальный закон Вселенной – чтобы родилось существо, необходима любовь, а чтобы полюбить, необходимо узнать предмет любви. Я хорошо рассмотрел и узнал душу русской деревни, полюбил ее самым отчаянным образом, и от этой любви родилось полноценное дитя моего художественного слова. Но великая печаль была изначально в этой любви.

Когда я впервые появился в Нямятове, там было еще шесть смешных и милых девчонок от десяти до пятнадцати лет – последних деревенских детишек. В самую первую мою осеннюю отсидку девчонки повадились заходить ко мне, отнюдь не дожидаясь моего приглашения, приходили всем скопом, устраивались кто где может и с любопытством таращились на меня. Немного освоившись в этой ситуации, я попросил их приходить ко мне в гости после четырех, когда я заканчиваю работу. Предложение мое было принято, и ровно в четыре на старом крыльце моей избышки раздавался жизнерадостный топот множества ног. Девчонки приносили молоко, соленые грибы, я угощал их бутербродами, кофейком. Они затапливали старую русскую печь, пекли картошку, пытались печь блины. Однако блины почему-то не получались у них, разваливались... Натешившись хозяйствованием, разогревшись едой, девчонки скидывали валенки и лезли на печь, отпихивая друг дружку и давясь от смеха. На печи была совсем маленькая лежанка, где можно было с трудом устроиться одному-двум. Даже сидеть там было невозможно – голова упиралась в темные доски потолка, ее нужно было низко клонить, чтобы не стукнуться о балку. Мои гости напихивались туда всей компанией и как бы дышали и хихикали единым телом, надувались беспричинным весельем. И вдруг это тело распадалось, летело с печи по одному кусочку, махая тонкими руками-ногами. Обычно самыми первыми слетали на пол

тощие легковесы Лидка Комарова или Ольга, а последними оставались на лежанке или Ленка, самая упитанная и нахальная, или Марина, самая старшая, или Лида Кузнецова, самая рослая...

Через несколько лет немятовские девочки одна за другой исчезли из деревни. Кто уехал в Москву или в Рязань учиться, кто – замуж в соседнюю деревню. А Лида Кузнецова погибла где-то вдали от дома, говорят, бросилась под поезд. Но, еще учась в школе, в старшем классе, она совершила попытку самоубийства – прыгнула в колодец. Там оказалось мало воды... Что за страшный рок висел над этой несчастной девочкой, что за проклятие? Рыжеватая, зеленоглазая, статная и женственная не по возрасту, Лида была так привлекательна... И вскоре деревня осталась совсем без детей. Летом внуки из городов еще жили у своих бабушек, а на зиму родители увозили их домой. В деревне уже никого не было, кто оказался бы способен произвести детишек. Зимовать оставались одни старики и старухи, да несколько семейных пар более молодого, пенсионного или предпенсионного возраста, да ненормальный бобыль Леонид со своей ненормальной сестрой Зиной, оба инвалиды на государственном обеспечении.

У меня сложились неплохие отношения с некоторыми деревенскими старухами. Очевидно, взаимное бескорыстие в смысле пола и чистое любопытство в смысле души придали нашим отношениям некую неизъяснимую прелесть. Я оставался в деревне до глубокой осени, иногда и до зимы. В окаянную пору, когда ночная темень наваливалась уже в пятом часу дня, одиноким старухам в своих избах я представлялся, наверное, кем-то вроде посредника между смертной мглой, постепенно поглощающей их, и слепящим миллионами электрических вспышек светом цивилизованной жизни, куда уже никогда, конечно, им не выбраться, – всем этим Настям, Марфам, Матренам, Пелагеям и Маринам, Липам, Надежкам и Нюрам, Зинкам, Дуськам и Верочкам...

Все они остались без мужей еще с войны, тогда им было около тридцати лет, с тех пор прошло еще лет сорок... И за все это время еще ни разу не было такого, чтобы в деревне оставался на зиму одинокий мужик да еще и столь экзотической наружности.

Словом, было о чем подумать старухам, когда они в раннюю темень ноября заваливались в свои одинокие, словно могилы, привычные вдовьи постели. И я тоже думал о них, когда после работы и раннего ужина – он же сразу и поздний обед – залезал на теплую печку. Ибо не может быть такого, чтобы одинокие женщины и одинокие мужчины в забытой Богом деревне не думали друг о друге в осеннюю темную ночь. Когда никак не спится, потому что еще очень рано для сна, и за окном где-то в темной утробе ночи воет собака и дождь шуршит по стеклу. Не знаю, каковы были думы старух, но мои были такого рода, что почти каждую из них я мог бы полюбить за чудесную привлекательность, чистоту и прелесть их женских натур. С каждой из них я смог бы, наверное, разделить продуктивное время своей жизни, если бы, к сожалению, оно не началось лет на тридцать после их продуктивного времени.

Днем деревенские соседки иногда навещали меня – то Настя принесет молока или кусок гусятины в рукаве, то Марина притащит банку тернового варенья, то глухая Полечка придет и поставит на крыльцо миску с белыми куриными яйцами... И я их навещал, когда мне не работалось.

Обходя старушечьи избы, я вдруг стал понимать, что удивительным образом вид жилища и в особенности его внутреннее убранство соответствовали характеру каждой из деревенских дам и хорошо выражали затаенные упования и заветные идеалы. У одной вдруг обнаруживал я на ее старинной деревянной кровати превосходные лоскутные одеяла самых радостных расцветок, сшитые ею самой, у другой на чисто вымытом некрашеном полу красовались полосатые самотканые дорожки – такого вида и качества, что душа радовалась. У третьей все стены были обклеены картинками русских и нерусских художников, всех времен и всех направлений, вырезанными из журнала «Крестьянка». У этой же любительницы изобразительного искусства на самом видном месте, в простенке между окнами, был прибит большой китайский плакат с нежнорумяной красавицей-феей, которая взмахивала веером и пристально, загадочным китайским взглядом смотрела тебе в самые глаза. Но, несмотря на разницу вкусов, порой даже очень существенную, интерьеры жилищ моих деревенских подруг единила одна общая, у всех одинаковая и бесконечно грустная бедность.

А вскоре деревенские мои подружки стали одна за другою умирать. Не мор или эпидемия нашли – нет, наступал для каждой ее час. Первой при мне ушла Настя, та, что приносила кусок гусятины в рукаве, – я его запек с яблоками в русской печке, о, какой чудный аромат стоял у меня в избе в тот раз! С Настей мне удалось попрощаться и даже проводить до кладбища – она умерла в те дни, когда я еще был в деревне. За нею ушла Надежка Жукова, соседка, потом

Матрена, потом Марина Самарина, самая близкая из моих подруг. На несколько лет дольше прожила Поля-пищуха, самая горькая из горемык.

Так умирали не просто старые деревенские старухи – так умирала деревенская Россия, главная Россия, родительница и хранительница великих нравственных ценностей нации.

Небесная степь

В записках этих деревне отводится так много места потому, что десять лет самого продуктивного трудового возраста я проработал там, в маленькой избушке, сидя за колченогим некрашеным столом, оставленным в доме старой хозяйкой. Это было мое писательское убежище, скромное, бедное и, как теперь понимаю, самое прекрасное и счастливое для меня. Там были завершены мои повести «Луковое поле», «Лотос», там же были написаны рассказы, вошедшие в сборник «Вкус терна на рассвете». В маленькой избе, которую я купил у старухи Верочки, были начаты и закончены мои первые романы: «Белка» и «Отец-лес».

Можно сказать, Верочкина изба оказалась моей художественной кельей, а деревня Немятово – писательской академией.

Душа моя с детства тяготела к жизни в деревне, и это прежде всего связано с тем, что мое ощущение жизни вблизи растений, животных и на свободной, не закатанной асфальтом земле было радостным... А жизнь в городе непременно загоняла меня в тоску, пробуждала в душе некое темное предчувствие грядущей катастрофы. И потому естественным и непринужденным был для меня творческий настрой в деревне, а в городе творчество подступало через преодоление чего-то тяжелого и гнетущего.

Самым трудным испытанием в деревенском отшельничестве осенью–зимой было испытание одиночеством. К осени деревня как бы совсем пустела и по вечерам погружалась в огромную единую тьму, над которой только в ясную ночь сверкали крупнозернистые огненные звезды или в одиночестве светила бессонная луна. Я выходил после рабочего дня на улицу, чтобы принести дров из сарая или воды из колодца. Оглядывая темную деревню, в которой иногда мелькало несколько случайных огоньков, я испытывал безмерную тяжесть одиночества. Вверху надо мною мерцали неисчислимыми огоньками черная бездна и бесконечность – необъятная небесная степь. Она была моей душой, и во всей звездной совокупности Вселенной вопияла гласом моего одиночества. И мне хотелось побежать к любому из светившихся огоньков этой ночи – постучаться в дверь любой избы, где находится кто угодно, лишь бы такое же, как и я, человеческое существо.

Одиночество скрашивали мои вечерние посещения дома учителя Николая Васильевича Федина, куда я ходил, стараясь делать это не каждый день, чтобы не надоедать людям. Жена хозяина, Тамара Михайловна, тоже была учительницей, но уже на пенсии, у них жил-поживал внучок Пашка, которого подбросила им старшая разведенная дочь. Учителя жили вполне деревенски, крестьянским двором, держали скотину, птицу, откармливали поросенка, хозяин увлекался еще разведением кроликов и нутрий, которых в деревне называли «внутриями». Сад и огород у Федина были всегда в образцовом порядке, яблони плодоносили, садовая малина, крыжовник, смородина были «усыпанными», то есть усыпанными ягодами, картошки по осени накапывал он полный погреб. Учителя и их три дочери, которые все уехали и жили в Москве, были большие любители леса, грибники и ягодники, так что у Фединых всегда были на зиму большие припасы вкусных солений и варений.

Я ходил к Фединым в основном по вечерам, чтобы посмотреть программу «Время», которую смотрел и хозяин, и старался особенно долго не засиживаться, потому что они по-деревенски ложились спать рано. Тамара Михайловна уходила за перегородку и затихала там еще до окончания «Времени». Мы с Николаем Васильевичем посиживали перед горящей печкой, разговаривали кое о чем, потом я прощался и уходил. До моего дома надо было идти метров триста, не более, но в ночной темноте путь этот казался бесконечным и, главное, не очень желанным – возвращаться надо было в пустое и невеселое одиночество. Работа писателя оказалась для меня неожиданно трудной в связи с преодолением именно этого противоречия: необходимости уединения для благотворной сосредоточенности и моей душевной нерасположенности к одиночеству.

Но шли годы, и постепенно я стал привыкать к своему положению. Золотая цепочка моего творческого счастья благополучно продолжала коваться: деревня – лес – работа – новая книга. Дети мои росли, полюбили деревню, каждое лето были там со мною, и деревенская детвора приняла их как своих. У меня также сложились добрые отношения с деревенскими жителями. Я

стал известным человеком в округе, мое деревенское прозвище было вначале Кореец, затем – Писатель. Появились надежные друзья. Но не всегда было так.

На втором году летом я впервые привез свою семейку в деревню... По приезду обнаружилось, что в доме нет такой необходимой вещи, как уборная. Надо было в срочном порядке соорудить нужник, и я по совету соседей созвал так называемую «помочь». То есть пригласил деревенских мужиков, чтобы они по-быстрому сообща сделали мне то, что было необходимо, а за это я должен был к окончанию работы выставить щедрое угощение. И вот пришли с топорами и пилами человек пять–шесть и за пару часов подняли на краю огорода классическое деревянное сооружение. Яму под него я предварительно вырыл сам. Все произошло, на мой взгляд, славно и благополучно, водки я выставил в достаточном количестве, от пуза, мужики расходились по домам пошатываясь, с песнями. Но одному из них, Бурмистрову Ивану, угощение показалось недостаточным, и, уходя, он предупредил меня, что это не окончательный расчет и что я должен пригласить его еще. Мне такое заявление не понравилось, и я не стал его приглашать. Чем и нажил в нем врага.

Мужик он был дурной, с густыми чернухими бровями, с тяжелым, разбойничьим взглядом, жилистый, сутулый, как старый лось. По фронтовой инвалидности рот у него был страшным образом скошен на сторону, за что и прозвище деревенское было у него – Косоротый. Напиваясь, он устраивал в доме жуткие скандалы с мордобоем и хриплый ор на всю деревню. Люди деревенские боялись его и, когда он пьяным попадался навстречу, обходили стороной.

И вот сей молодец стал всякий раз, возвращаясь из магазина домой, останавливаться возле моей избушки и выкрикивать какие-то невнятные претензии и угрозы. Все бы ничего, если бы он не ругался страшно матом. Несмотря на дефект речи из-за инвалидности, матюгался пьяный Иван Степанович вполне внятно. А девочки мои были еще маленькими, и вместе с ними возле нашего дома всегда возилось много соседских детей. Я однажды разъярился и восстал, как говорится, на него – короче говоря, мы с ним чуть не подрались... Пришлось по телефону, который имелся в доме Федина, пожаловаться властям, и Бурмистрова вызвали в районную милицию. А у меня власти попросили письменного заявления, чтобы можно было хулигана отдать под суд.

Вся деревня молча следила за нашим конфликтом, не становясь открыто ни на чью сторону. Бурмистрова люди боялись, к тому же он был своим, а я пока что был непонятной фигурой – нерусский, черный, вся семья такая же, к тому же с начальством имеет хорошие отношения, из района к нему приезжают разные уважаемые люди. Начальство я или нет, барин я или не барин?

Статус свободного художника, независимого от начальства и существующего сам по себе, был неизвестен этим людям. Мое положение в социальной иерархии оставалось для них невыясненным. Бояться меня или не надо бояться?

Никакого заявления в письменном виде я не стал подавать, и Бурмистрова, кажется, просто оштрафовали на некоторую сумму. С тех пор мы жили в деревне, как бы не замечая друг друга, и он больше не останавливался возле моего дома и не орал. Прошло года два – и вдруг Иван Степанович заболел и стал умирать. У него обнаружился рак. Умирал он зимою, долго и мучительно, весь высох, говорят, и стал легким, как ребенок, жена на руках переносила его по дому. Перед смертью он стал посылать жену то за одним, то за другим – к тем, кого обидел, – приглашал к себе домой и просил у них прощения. Вспомнил и обо мне, но так как я находился далеко, то велел принести какую-нибудь мою книгу. Полистал, говорят, ее...

Не знаю, о чем он думал при этом, но знаю, что он простил мне и, может быть, в чем-то попросил и у меня прощения. Когда следующей весной я вновь приехал в деревню, люди рассказали мне про смерть Бурмистрова. И по тем чувствам умиленности и распахнутой доброты, которые они невольно проявили в разговоре, мне стало ясно, что я принят деревней, что я для них уже свой. И это было чрезвычайно дорого мне.

Слово

Пора настала определиться, чей же я писатель – русский или корейский. То есть мне хочется по-настоящему разобраться в самом себе, не имея в виду тех нелестных для моего самолюбия, порою весьма обидных высказываний некоторых литераторов, как русских, так и корейских, которые отказывались признавать меня за своего.

Да, и такое бывало! Один русский писатель, который смело может быть причислен к направлению «деревенщиков», так определил меня. Я отношусь к так называемым «русскоязычным» писателям и в этом виде навсегда останусь среди второстепенных, неродных.

Да что там деревенщик... Когда в 1989 году осенью я впервые попал на родину своих предков, в газете была опубликована моя беседа с одним маститым южнокорейским литературоведом, и он в лицо мне заявил, что Анатолий Ким никакого отношения не имеет к корейской культуре. Я и сам знал, разумеется, что пишу на русском языке, не на корейском, поэтому мои произведения относятся именно к русской литературе, и это великая честь – принадлежать к одной из самых значительных литератур мира. Однако царапнуло меня нечто тайное – по самому сердцу, и я что-то ответил своему собеседнику... Теперь уже совершенно неважно, как я там отвечал, однако стало ясным одно: меня и в России некоторые господа не признают за своего, и на исторической родине дают понять, что я чужой, посторонний... Так куда же мне деваться?

Смею уверенно предположить, что не только некоторые русские деревенщики и корейские литературоведы, но и все прочие «русскоязычные» литераторы могли бы назвать меня посторонним и на то имели бы убедительные аргументы. И вот я сам спешу привести их, чтобы освободить интеллигентные сердца от некоторых возможных уколов совести.

Я писатель не традиционный – и в смысле русской литературной традиции, и в отношении ориентального эстетического подхода. В своих произведениях я не старался выразить духовную сущность или русского человека, или корейского человека, или какого-нибудь другого «национала», хотя персонажами моих книг бывали и русские люди, и корейские, и немецкие, и американские, и японские, и так далее. Признаюсь, что, рассказывая о человеке, я никогда не ставил главной целью изобразить его национальную или социальную ментальность. Так что же такое в человеке я отмечал, чтобы выразить это словами?

В начале было Слово... Я выражал то в человеке, что было в нем посеяно и выращено через изначальное Слово. Имеется в виду слово не как фонетическая конструкция, принадлежность того или иного языка, а Слово в первоначальном, библейском, смысле.

В этом смысле Слово – не звуковой набор, понятный и привычный для русского или корейского уха, скорее что-то совершенно беззвучное. Слово такого порядка есть понятийный символ, который может быть выражен человеком даже через жест или пластическое изображение – иероглиф, а то и внушен взглядом. Глухонемой человек, не слыша звуков, прекрасно различает и воспринимает слова через систему знаков, по этой же системе он и «говорит». Одни и те же предметы, явления мира, понятия звучат на разных языках по-разному. Но изначальные слова, обозначающие это же самое, для всех одни и те же – и они никак не окрашены, не озвучены.

Язык незвучащих изначальных слов известен и принадлежит всему человеческому роду и не является прерогативой какого-либо отдельного национального образования. Независимое от фонетической оболочки, изначальное слово доступно для каждого. Им владеет всякий: и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Здесь языкового барьера не существует для тех, кто смог овладеть этим незвучащим изначальным Словом. Я говорю о языке человеческой души, который для всех одинаков. На этом языке каждая из живших на Земле душ выражала те чувства своего сердца, которые могут быть названы добрыми.

Изначальное незвучащее Слово, Неслышимый Язык, является первичной духовной основой всех на свете прекрасных книг, всех стихов. А прекрасное не может быть злым, оно выражается только на языке добра. И художественное сочинение – метафизически – появляется вначале на этом языке, а потом как бы формируется на тот или иной национальный язык. Этот процесс происходит в душевной тишине, в глубине и тайне каждой творческой личности.

У каждой такой личности – как и у любого человека на свете – есть в его душевных качествах то, что содержит все главные выразительные признаки национального характера. Разумеется, каждый китаец несет в себе довольно много китайского, каждый еврей – еврейского, во всяком русском достаточно вовек неистребимых русских черт. Кроме характерных национальных признаков, у каждого человека имеются еще и социальные черты и метины, присущие общему психосознанию данного исторического и политического момента. Помимо всего перечисленного, личность может принадлежать и к какой-нибудь политической партии, например, к коммунистам, или к религиозной общине, скажем, к Свидетелям Иеговы – тогда непременно прибавятся к этнопсихологическим свойствам натуры еще и признаки партийного ригоризма, и налет сектантского эзотеризма.

Но у любого русского, еврея, корейца или у коммуниста, свидетеля Иеговы – у каждого из нас, кем бы мы ни были, есть в физическом теле и в невидимой душе что-то такое, чего нет ни у

кого другого на всем белом свете. Нигде, ни в ком, никогда не повторяющееся нечто. Существующее во веки веков только раз, один-единственный раз – в каждом из нас содержащееся, вместе с каждым из нас и уходящее из этого мира.

Всего один раз... В единственном экземпляре...

Вот это единственное и неповторимое, содержащееся в каждом из живущих на Земле, является причиной и предметом печали – главной печали бытия для всякого человеческого существования. Наверное, когда Бог замыслил сотворение человека, сей печальный компонент уже присутствовал с самого начала – называется это абсолютной уникальностью человеческой личности, которая никогда не повторяется.

Что это? Благо или проклятие? Может быть, когда в Библии говорится о том, что Господь создал человека по образу Своему и подобию, имелась в виду эта мучительно осознаваемая уникальность, это абсолютное одиночество, которое властвует над судьбою человека с того дня, когда он вкусил от плодов древа познания добра и зла?

Эта экзистенциальная отчаянная печаль и является тем источником, тем незвучащим Словом для всей человеческой цивилизации, который понятен каждому. И я овладел этим Словом прежде, чем впитал в себя русское художественное слово.

Русский ли язык или любой другой – для меня он прежде всего был необходим как способ перевода на него с языка изначального.

Тон моих произведений окрашен печалью вселенского одиночества. И это не потому, что я отщепенец мира сего, а потому, что каждый из людей есть вселенский отщепенец. И я пишу об этом – это и есть, видимо, моя судьба. Если у меня спрашивают, о чем мои книги, я честно отвечаю, что в них главным содержанием является все то, что происходит во мне и только во мне – и больше никогда ни в ком и нигде не повторится. И я ловлю вопрошающие взгляды моих собеседников: а кому будет интересно все то, что происходит с тобой и только с тобой? Ну кто ты такой и что в тебе такого уж интересного и поучительного?

Ничего во мне особенно такого уж интересного и поучительного нет. Ни о чем таком я не написал в своих книгах, чего бы мой читатель сам не знал и не видел. Просто в самом начале своего литературного пути я сделал следующее открытие: ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСЕН. Он несет в себе тайну своего сотворения. В нем содержится и тайна его уникальных переживаний. Далеко не все в них подчинено ментальному стереотипу – есть море жизненных ощущений и переживаний, которые становятся известными только данному человеческому субъекту, который приходит и уходит всего один раз. Я открыл, что следить за уникальными, единственными в своем роде переживаниями, впечатлениями, мимолетными реакциями и фиксациями душевных уколов человека захватывающе интересно. Как и всякий художник, я стал сочинять, придерживаясь правдоподобия, использовал поэтическое воображение, но только сочинительство мое активнее всего действовало в пределах воображаемых переживаний моих персонажей. Я сочинял для них ярчайшие впечатления, невольно делая своих героев приверженцами эстетической школы импрессионизма.

Я старался угадывать и в литературной форме запечатлевать все то, что приходит вместе с отдельным человеком, вместе с ним и уходит – и никогда больше не повторится. Я хотел разгадать закон неповторимости.

Моей целью стало выражение уникального, а не отражение типического. Все мои герои похожи только на самих себя и никоим образом не приближаются к «собирательным образам» или «типическим персонажам в типической обстановке». И я могу наконец обрести окончательное самоопределение. Я писатель человеческой уникальности. В эстетике меня влечет не яркий символ вечного, а трепетный нюанс мимолетного.

Ибо я нашел, что национальность у человечества одна, и она называется – человек. И я стал его национальным писателем. Моим письменным и звучащим языком стал русский, на нем осуществлены все оригиналы моих книг. Моим дописьменным незвучащим языком стал всеобщий язык человеческого сердца, известный и понятный каждому, кто когда-нибудь появлялся жить на этом свете. И этот каждый, брат мой и товарищ по мгновению существования, читает мои книги на нашем общем родном языке.

Путешествия

Эта правдивая повесть о моей писательской судьбе будет неполной, если я не расскажу о своих путешествиях по стране и по миру.

По натуре я не путешественник, а домосед, для которого спокойное и подробное созерцание малой родины милее экзотических впечатлений далеких путешествий. Однако я был рожден, очевидно, скитаться по земле и должен был повидать многие края нашей большой страны, а также разные континенты и страны. Я всюду побывал в бывшем СССР: от Камчатки до Белоруссии, от Мурманска до Киргизии, в Сибири и Средней Азии, в Крыму и на Кавказе.

В зарубежных поездках повидать я Америку и Японию, был во многих странах Европы, съездил в далекое Марокко на севере Африки.

Я особенно ценил в этих поездках совершенно свободное от программы и протокола время, когда мне выпадала счастливая возможность одному бродить по незнакомым местам, улицам и площадям городов, где никогда раньше не ступала моя нога – да и не только моя, но и всех моих предков. Особенное чувство, густое и хмельное, охватывало мою душу, когда я не спеша прогуливался по родине, где еще ни разу не приходилось мне бывать. Ибо откровение, великое, волнительное, было в том, что вся планета есть моя родина, что всюду я иду по родной земле, где бы я ни оказывался: в Европе ли, в Африке или в Японии...

Впервые это чувство, что я у себя дома, находясь Бог весть в какой дали от отмеченной в паспорте родины, – чувство всемирности, планетарного космополитизма, обдающее сердце жаром безнадежной любви ко всему человеческому миру, ко всем джунглям, сахарам и европам, охватило меня в Финляндии, на том безвестном мосту в Хельсинки, через который я перешел и углубился в незнакомый город. Я переходил через мост с тяжестью величайшей печали, навалившейся мне на сердце, ибо я-то этот мир узнал, почувствовал и полюбил, но он-то меня и знать не хотел. Встречная финская девушка, белокурая, голубоглазая, в пестрой вязаной шапочке-колпаке, даже и глазом не повела в мою сторону, проходя мимо, и это было не наигранным чувством полного безразличия с ее стороны.

Был серый вечер, смеркающийся, весенний, с черными корявыми силуэтами дубов бульвара, вставшего на моем пути. Шли навстречу еще какие-то финны, они также миновали меня, как и блондинка на мосту, и воистину им никакого дела не было до того, что я в их туманной стране узрел еще один лик нашей общей родины, а в них вдруг ощутил свою тягучую тоску по какому-то искрящемуся и многоцветному, как радуга, счастью, которого нет и не может быть среди угрюмых финских лесов и болот...

А в каком-то городе, ближе к Полярному кругу, меня встретил один писатель из местного Союза финских писателей, парень этак лет тридцати пяти на вид, жилистый, веснушчатый, с невыразительным мужицким лицом. Был ли он молчалив или разговорчив, я не знаю, потому что мы с ним совсем не разговаривали – ни он по-русски, ни я по-фински не понимали. Но вместе ходили и ездили по разным местам, обедали, пили пиво, и мне было легко и приятно с ним... Так вот, слияние моей души с его медлительной северной душой было настолько убедительным, что я совершенно не запомнил себя в той нашей встрече. Я эту встречу увидел его глазами и запомнил его памятью.

О, как скучно ему было утром с похмелья подниматься и переться в отель, чтобы везти меня, российского гостя, на машине в далекий лесной дом знаменитого финского художника-отшельника. Но когда мы приехали к этому дому, вернее, подъехали к незаметному съезду с асфальтированной дороги на узкий лесной проселок, там оставили машину и долго шли лесом, затем через дикое поле и наконец подошли к великолепному новому бревенчатому дворцу, который был, оказывается, возведен на месте старой хижины, где жил и творил когда-то художник – в моем веснушчатом бесцветном спутнике произошли разительные перемены.

Я почти перестал узнавать его! Вернее, я уже не видел его – я ощущал и видел себя в этом человеке. Наши чувства слились, а сердца застучали в едином ритме от волнения, восторга, зависти и внезапно навалившейся пронзительной тоски. Ибо мой вожатый, финский писатель из провинциального городка, и я, приехавший из России писатель, вдруг в одно и то же время сильно разволновались по одной и той же причине. Быстро переглянувшись, мы понимающе и сочувственно улыбнулись друг другу.

Мне стало ясно там, что величайшее счастье человека-художника заключается в том, чтобы жить и работать в лесу, в таком великолепном большом и красивом дворце со всеми удобствами, с отлакированным белым полом... И чтобы можно было такой дом построить на те деньги, которые удастся заработать своими руками, – кистью ли, карандашом или пером... Но я понимаю, как для меня это труднодостижимо, если я всего лишь провинциальный писатель местного значения и живу на стипендию, которую назначил мне Союз финских писателей нашего территориального округа. Скорее всего мне никогда не построить подобного дома и не жить в

лесу в таком комфортабельном отшельничестве. И я переглядываюсь с этим симпатичным гостем из России, с Анатолием Кимом, и вижу в его глазах, что и он не прочь бы занять такой дом в лесу.

Любил я ходить один по чужой стране, свободно шагать куда глаза глядят, раздвигая таинственные завесы незнакомого мира. И что же? В причудливой череде самых неожиданных картин, ландшафтов и жанровых сцен не было ничего, ничего такого, что не отзывалось бы родством и знакомством в ответном чувстве моего сердца.

Я однажды целый месяц разъезжал по Западной Германии, следуя из одного университета в другой с лекциями на тему: «Особенности моего литературного творчества». Сколько же раз я встречался тогда с самим собой, причудливым образом запрятанным в немцах – вмонтированным, так сказать, в самых разных представителей этой расы. И то, что я по истинному своему рождению кореец, ничуть не мешало тому, что моя душевная суть самым замечательным образом проявлялась в каком-нибудь пруссаке, который горд тем, что ни разу в жизни не нарушил общепринятых правил и законов, честно держал данное слово и на все сто процентов выполнял свои обещания.

Я ехал на теплоходике по Рейну, забрался на верхнюю палубу, сел за столик и заказал себе «цвай вюрстен унд айн бир». Был замечательный летний голубой день на реке, по скалистым берегам которой величаво высились средневековые замки, и я чувствовал себя совершенно удовлетворенным жизнью, и самим собой, и своими замечательными человеческими качествами. Тем более что мог непосредственно обозревать это за соседним столиком – в виде лысоватого, рыжеватого немецкого дядьки лет сорока. Он был одет в светлый бежевый костюм, при галстукке, который уютно лежал на его белой рубашке, в точности повторяя конфигурацию небольшого бюргерского живота.

Я пил немецкое пиво, закусывал горячими сосисками, сочными, также вполне немецкими, и чувствовал себя благонадежным, неплохо устроившимся в жизни немцем, который заслужил все то, что он сейчас имеет: фатер Рейн, пиво, сосиски, замечательное чувство собственного достоинства и довольства, застывшее благодушной маской на моем гладком, бритом лице.

Подобную свою маску я видел много раз и в других странах, где мне приходилось бывать, и всюду ловил себя на том, что «выдаю», оказывается, заведомо фальшивое выражение на этой маске! Не могло быть такого, чтобы то самое малое, единственное, первое человеческое Я выражало на физиономии своей сияющее самодовольство, потому что это первое Я всегда подспудно помнило о своей смерти и постоянно, до обморока, боялось внезапной потери имущества, или роковой болезни, или попросту одинокого голодного существования в старости.

Значит, сияющее самодовольство, спокойное и уверенное веселие, бестрепетный оптимизм, выражаемый масками узнаваемых мною моих двойников в разных странах, исходили не от первого человеческого Я, а от второго. Маска благополучия и беспечного самодовольства, словно ты никогда не умрешь, присуща, таким образом, нашему второму Я, тому самому, которое ищет Бога, видит себя только рядом с Ним и в оценках собственного своего существования на Земле исходит из чувства вечности, а не смертности, из ощущения полного вселенского благополучия, а не ожидания всемирной катастрофы.

Но мои глубокие симпатии принадлежат первому моему сиротливому чувству Я. В королевстве Марокко как-то среди дня я наконец-то остался один.

Воспользовавшись этим, я вышел из гостиницы и не спеша отправился на прогулку, прошел сначала к реке, спустился к набережной мимо высокой красной стены, окружавшей помпезные здания королевского дворцового ансамбля. У входа на территорию дворца высились на верховых верблюдах нарядные кавалеристы охраны – черноусые красавцы в чалмах, с громадными саблями на бедрах. Нет, эти парни из королевской стражи не показались мне моими двойниками, и я никак не мог представить себя на месте кого-нибудь из них, сидящим верхом на дромадере. Так же не мог представить, что марокканскому стражнику из верблюжьей кавалерии дано осознать себя Анатолием Кимом, русским писателем корейского происхождения.

Но когда я обогнул угол дворцовой стены и направился вдоль нее, то на совершенно пустынной набережной увидел сидящую на земле женщину. Она замерла с протянутой рукой, склонив ничем не покрытую растрепанную голову, а рядом с нею, чуть позади, лежал на каменной мостовой совершенно голый младенец. Он покоился на боку, протянув по земле свою тощую ручонку, голова его была наполовину укрыта платком, видимо, материнским. Нет, ребенок не был мертв, он спал или находился в знойном забытии на этом беспощадном африканском пекле, точно так же угнетенный им, как и я, бредущий по раскаленному бетону

набережной иностранец. И этот ребенок был мною. Он первым догадался об этом, и, когда я проходил совсем близко, младенец приоткрыл глаза и очень внимательно, со значением, посмотрел из-под платка на меня.

Ах, Боже мой, сколько же было этих открытий, когда в какой-нибудь новой стране я снова и снова обнаруживал самого себя в ее жителях! И речь сейчас идет не о том, как я сошел с ума, находя свою душу в других людях, – нет, я говорю о том, что в моей душе помещается множество других душ.

Если бы я чувствовал в себе только одну мучительную душу свою, свое первое Я, суетное, несправедливое и грешное, тогда я действительно был бы сумасшедшим. Ведь любая форма душевной болезни имеет причиной только одно: полную сосредоточенность на себе одном, невозможность сойти с одного и того же замкнутого круга... Но именно в далеких путешествиях я научился избавляться от этой своей стихийной склонности к солипсизму и, наблюдая совершенно незнакомые народы, наконец-то постиг, что на свете существует огромное число людей, совсем таких, как я, и разница наших тел, лиц, национальностей и степени приобщенности к современной цивилизации ничего не значат.

Поначалу я так увлекся этим открытием, был столь вдохновлен обнаруженным в моей малой единичной сущности качеством всемирности, что не заметил одной большой опасности... Пусть будет так: одна звезда – это все звезды, один человек – это все люди, но что же делать, если подобное понимание мира вдруг в какой-то момент откроет тебе всю бессмысленность, смехотворность и ничтожность твоих личных устремлений? Лишит всякого смысла существование твоего первого, маленького Я?

Это было в Америке, в штате Нью-Мексико, в городе Санта-Фе. Там я побывал в доме американского скульптора-авангардиста и доме одного русского живописца, Фешина, выстроенном им в глуши американского Техаса...

По архитектуре это были очень похожие сооружения в стиле старинных мексикано-индейских построек: за глухой глиняной стеной глинобитная коробка дома с плоской крышей, с выступающими из торцовых стен могучими деревянными балками, с узкими и высокими, как бойницы, окнами. Но какая разница была в том, что было внутри этих художнических убежищ, разница не только в начинке вещами, но и в планировке.

Американец, скульптор современного направления, названия которого я не знаю, творил свои произведения из списанных и рассекреченных деталей ракетного оборудования, которыми пользовались в недалеком от Санта-Фе космическом центре. Из всяких колес, сверкающих сфер, колпаков и могучих металлических штанг скульптор собирал что-то вроде тех фигурок, которыми увлекаются дети, любящие всякие игрушечные наборы типа «Конструктор». Американец лепил из бросовых деталей белого металла что-то такое, напоминающее роботов, допотопных чудовищ, но давал им всякие интересные символические названия, скажем, «Экстаз» или «Взгляд в ничто».

Фешин был русским эмигрантом, я никак не мог предположить, что он окажется в Америке, под Санта-Фе... Это был один из самых любимых мною русских художников, со студенческих лет я больше всего ценил живопись Константина Коровина и угольные рисунки Фешина. И вот встреча в его доме, штат Нью-Мексико... Маленькая, кругленькая, уютная русская барыня, престарелая дочь художника Ия... Фешин занимался, кроме живописи, еще и резьбой по дереву: двери и настенные панели, мебель, большие шкафы и сундуки были им украшены собственноручно. Было много русских фольклорных мотивов в его деревянных композициях. На стенах дома висели чудесные, роскошные по живописи фешинские шедевры...

У американца дом также находился в лесу, но в таком, какой бывает только в Техасе, зоне гористых полупустынь, – редкие отдельно стоящие деревья, то ли раскидистые сосны, то ли темно-зеленые кущи туй небольших размеров. Эти деревья не желали сливаться в единый массив, и леса как такового вокруг не было – лишь независимые друг от друга зеленые деревца, заполнявшие собой все размашистые склоны окрестных гор. И среди этих деревьев находился дом скульптора. Внутри это был современный дворец, на трех или даже четырех уровнях, отделанный с немыслимой роскошью, с мраморными колоннами, широкими серебристыми лестницами... И жил в этом дворце хозяин-скульптор, который рассказывал, что за каждое свое произведение, за очередного робота или громадного динозавра, слепленного газосваркой из труб, колес, шестеренок и ракетных охвостов, он получает от ста тысяч до миллиона долларов.

Я вспоминаю бронзоволицых индейцев, что продавали изделия из бирюзы там, на улицах Санта-Фе, и о том, как в одном из них я снова увидел самого себя. Он сидел на обтянутой кожей

скамейке, накрывшись широкополой шляпой, и дремал, закрыв свои старые, окруженные сетью морщин глаза...

И художник Фешин, построивший в Нью-Мексико индейский дом с русской начинкой, был во мне – со всей своей судьбой русского эмигранта первой волны, который и в далекой Америке не пропал – Бог дал раскрыться его искусству... И когда-то – не знаю даты смерти⁴⁶ – я умер в Фешине, вместе с ним, тоскуя по зеленым просторам родной приволжской равнины.

И богатый американский авангардист, широкоплечий малый с окладистой седой бородой, также был во мне, и я в нем – в его неистовом устремлении к успеху, к большим деньгам, которые и позволили человеку построить такую чудовищную домину в пустынной долине штата Нью-Мексико...

Мне вспоминается профессор славистики из Нью-Йорка, с которым по моей просьбе мы прокатились в подземке, и в том, как, смущенно улыбаясь, профессор признавался, что никогда не ездит в метро, потому что боится темнокожих бандитов, для которых подземка – место работы, – я узнал самого себя... В Японии другой профессор-русист, усатый, черный, густобровый, словно какой-нибудь азербайджанец, с грустным видом говорил мне, что современный японский интеллигент получает образование, затем старательно трудится всю жизнь, словно муравей, только с одной целью: заработать достаточно денег на место в богадельне, в каком-нибудь приличном пансионате для стариков.

На Гавайских островах, в Гонолулу, я шел от своего отеля к морю и впереди увидел голого по пояс стройного парня в джинсах, босого, с кудрявыми, длинно отросшими волосами. Он вдруг остановился возле мусорной урны, опустил на колени и запустил туда руки. Выудив из урны банку из-под кока-колы, помотал ею, прислушиваясь, не осталось ли чего там внутри, потом запрокинул голову и выпил остатки...

Это был также я. И его превосходительство господин президент Португалии, и сказочного роста, стройная, как бригаantina, пышноволосая дочь самого богатого человека Америки, за банкетный стол которой я был приглашен и сидел напротив хозяйки, между двумя лауреатами Нобелевской премии – Бродским и Милошем... И когда на парижском бульваре у «Мулен Руж» я жестами и мимикой, словно глухонемой, пытался побеседовать с проституткой, которая оказалась гомосексуалистом, одетым в женское платье, – во всех случаях, не вступая ни в какие разговоры, лишь обменявшись взглядами или улыбками, я в других, совершенно неизвестных мне и космически удаленных по земному бытию людях почему-то уверенно угадывал самого себя.

Каждый человек – это все люди. У каждого есть две судьбы. Одна та, что принадлежит его малому Я и заключается в даты рождения–смерти. Другая связана с судьбой человеческого рода и потому содержит в себе все отпущенное человеческой истории время.

Также исподволь мне стало понятным, что после открытия двузначности жизни и судьбы человеку больше незачем устремляться на другой край Земли, чтобы удостовериться в том. Но для того, чтобы прийти к этому, мне обязательно надо было сначала пройти земные пути.

И когда стало ясно, что уже нет у меня мучительного любопытства к людям иных культур, стран, наций и рас, религиозных убеждений, цивилизаций, когда во всех встречах на путях земных я узнавал себя, а каждого ощутил в себе, то уже не захотелось мне больше разъезжать по миру.

Мне вспомнились слова, приписываемые древнему китайскому мудрецу, которые звучат примерно так: «Век живи в своей деревне, слушай крик петухов из соседней деревни – и никогда не ходи туда в гости». И мне действительно хочется забраться куда-нибудь в деревню и жить так, как советовал древний китаец. Может, я постарел, поэтому не привлекают меня экзотика, развлечения, роскошь и удовольствия мира, а может быть, удовлетворив свое самое сильное, мучительное, страстное любопытство в том, что такое я и что такое остальные люди, я успокоился и больше не желаю суетливо перемещаться по миру. Мне хорошо сейчас там, где я нахожусь, и мне дорог покой, которого я достиг.

⁴⁶ В.Э.: Николай Иванович Фешин (родился 1881 в Казани) умер 5 октября 1955 года в Санта-Монике (Калифорния).

Векордия (VEcordia) представляет собой электронный литературный дневник Валдиса Эгле, в котором он цитировал также множество текстов других авторов. Векордия основана 30 июля 2006 года и первоначально состояла из линейно пронумерованных томов, каждый объемом приблизительно 250 страниц в формате A4, но позже главной формой существования издания стали «извлечения». «Извлечение Векордии» – это файл, в котором повторяется текст одного или нескольких участков Векордии без линейной нумерации и без заранее заданного объема. Извлечение обычно воспроизводит какую-нибудь книгу или брошюру Валдиса Эгле или другого автора. В названии файла извлечения первая буква «L» означает, что основной текст книги дан на латышском языке, буква «E», что на английском, буква «R», что на русском, а буква «M», что текст смешанный. Буква «S» означает, что файл является заготовкой, подлежащей еще существенному изменению, а буква «X» обозначает факсимилы. Файлы оригинала дневника Векордия и файлы извлечений из нее Вы **имеете право** копировать, пересылать по электронной почте, помещать на серверы WWW, распечатывать и передавать другим лицам бесплатно в информативных, эстетических или дискуссионных целях. Но, основываясь на латвийские и международные авторские права, **запрещено** любое коммерческое использование их без письменного разрешения автора Дневника, и **запрещена** любая модификация этих файлов. Если в отношении данного текста кроме авторских прав автора настоящего Дневника действуют еще и другие авторские права, то Вы должны соблюдать также и их.

В момент выпуска настоящего тома (обозначенный словом «Версия:» на титульном листе) главными представительствами Векордии в Интернете были сайты: для русских книг – <http://vecordija.blogspot.com/>; для латышских книг – <http://vekordija.blogspot.com/>.

Оглавление

VEcordia	1
Извлечение R-DARBI1	1
Сборник.....	1
ТРУДЫ – I	1
Предисловие	2
1. Уильям Оккам. Отрывки	3
[Виды знания]	3
[Первичность познания единичных вещей]	5
Об универсалиях	5
Универсалия не есть нечто внешнее	6
Мнение Скота об универсалиях и его опровержение.....	6
[Универсалия – это мысленный предмет]	6
[О терминах]	7
[О термине в строгом смысле слова]	9
[О познаваемости Бога]	9
2. Сергей Аксаков. «Аленький цветочек»	12
Сказка ключницы Пелагеи	12
Аленький цветочек	12
3. Эрнст Гофман. «Золотой горшок»	23
Вигилия первая.....	23
Вигилия вторая.....	25
Вигилия третья	29
Вигилия четвертая	31
Вигилия пятая.....	34
Вигилия шестая	38
Вигилия седьмая	42
Вигилия восьмая	44
Вигилия девятая	48
Вигилия десятая	52
Вигилия одиннадцатая.....	55
Вигилия двенадцатая	57
4. Эрнст Теодор Амадей Гофман.....	60
5. Толстой Л.Н. «Крейцера соната».....	64

I	64
II	66
III	68
IV	69
V	70
VI	71
VII	72
VIII	72
IX	73
X	73
XI	74
XII	76
XIII	77
XIV	78
XV	79
XVI	80
XVII	82
XVIII	83
XIX	83
XX	85
XXI	86
XXII	88
XXIII	90
XXIV	91
XXV	92
XXVI	93
XXVII	95
XXVIII	97
6. Аким Арутюнов. «Мое прошлое»	99
Часть первая	99
Желтые холмы Казахстана	99
На Дальний Восток	102
За счастьем на край света	105
Болезнь	107
Алексей	109
Роскошь	112
Женьшень	114
Сахалин-1	117
Сахалин-2	120
В Москве-1	126
В Москве-2	128
Часть вторая	131
Начало	131
Спутники	133
Пустынник	135
Тверской бульвар, 25	137
Путь в никуда	139
Выход из подполья	141
Книги-1	144
Книги-2	145
Союз писателей	148
Деревня	151
Небесная степь	154
Слово	155
Путешествия	157
Оглавление	162